

КАРЛЕЙЛЬ



Дж. Салтонс

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга Джулиана Саймонса, известного английского писателя, дает объективный портрет Томаса Карлейля, выдающегося мыслителя, историка, философа и публициста, под влиянием которого развивалась литература и философия всего XIX столетия.

- [Карлейль](#)
 - [Томас Карлейль, его прозрения и ошибки](#)
 - [Глава первая. Омраченный триумф](#)
 - [Глава вторая. Истоки идеи](#)
 - [Глава третья. Учитель](#)
 - [Глава четвертая. Эдинбург](#)
 - [Глава пятая. От Джейн Бейли Уэлш...](#)
 - [Глава шестая. ...к Джейн Карлейль](#)
 - [Глава седьмая. Комли Бэнк](#)
 - [Глава восьмая. Крэггенпутток](#)
 - [Глава девятая. Работа над «Сартором»](#)
 - [Глава десятая. История французской революции](#)
 - [Глава одиннадцатая. Признание](#)
 - [Глава двенадцатая. Дома и в пути](#)
 - [Глава тринадцатая. Новая аристократия](#)
 - [Глава четырнадцатая. Поворотный момент](#)
 - [Глава пятнадцатая. 1848 год и после](#)
 - [Глава шестнадцатая. Звуконепроницаемая комната](#)
 - [Глава семнадцатая. Век старости](#)
 - [Глава восемнадцатая. Конец Джейн](#)
 - [Глава девятнадцатая. Вновь переживая прожитое](#)
 - [Глава двадцатая. Долгое умирание](#)
 - [Глава двадцать первая. Судьба пророка](#)
 - [Комментарий Е. Сквайре](#)
 - [Основные даты жизни и творчества Т. Карлейля](#)
 - [Краткая библиография](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)



Карлейль

Taken: , 1

Томас Карлейль, его прозрения и ошибки

Томасу Карлейлю принадлежит та заслуга, что он выступил в литературе против буржуазии в то время, когда ее представления, вкусы и идеи полностью подчинили себе всю официальную английскую литературу; причем выступления его носили иногда даже революционный характер. К. Маркс и Ф. Энгельс. Томас Карлейль. «Современные памфлеты».

Биография Томаса Карлейля, написанная Джулианом Саймонсом, известным английским литератором, – это образцовая биография в английском духе: описание личности, жизни во всех деталях, а деятельность прочерчивается только самой общей канвой. Нам, естественно, нужно познакомиться пошире с деятельностью Карлейля, чтобы попятить значение его личности.

Выдающийся английский мыслитель Томас Карлейль (1795 – 1881) подсказал путь, по которому пошла мысль многих представителей науки, искусства и литературы. Как достойного собеседника – хотя и молодого – его рассматривал Гете. Он был другом и вдохновителем Диккенса. Его воздействие испытал Толстой. Герцен, находясь в Лондоне, связан был фактически только с двумя действительно крупными представителями британского мира – с патриархом социалистической мысли Робертом Оуэном и Карлейлем. «Война и мир» и «Былое и думы» несут на себе следы чтения Карлейля. Положение Карлейля о том, что в мире чистогана продается все, вошло в «Коммунистический манифест».

Вместе с тем Уолт Уитмен, заочный ученик Карлейля, выдвинул такой парадокс. Он сказал, что его век – XIX столетие – невозможно понять без Карлейля, однако людям будущего будет трудно понять, чем же объяснялось столь мощное влияние этого человека. Замечание это обращено прямо к нам, ибо мы в таком положении по отношению к Томасу Карлейлю и находимся. Как такое положение могло сложиться?

Причина прежде всего в характере деятельности Карлейля. В примечаниях, из которых мы сегодня узнаем о Карлейле, его называют иногда философом, иногда писателем, на самом же деле Карлейля и определить трудно, потому что ни писателем, ни философом, собственно, он не был. Сам себя он считал литератором – человеком, выступающим в печати. А в какой печати, в каких формах – это уже и несущественно. Он излагал то, что думал, в той форме, какая ему в данный момент подходила:

иногда исторического исследования, вроде бы «исторического», и поэтому его называют еще и «историком», хотя он и не совсем историк; иногда – интеллектуального романа, но романистом его назвать даже с оговорками невозможно. Прежде всего он мыслитель, и для выражения своей мысли использует различные формы, подчас весьма сложные. Однако Карлейля всегда понимали, ибо понимали направление его мысли.

Направление и есть, собственно, основное, что внес своим словом Карлейль. Поменял местами «прошлое» и «настоящее», пошел против общего потока, увлекаая за собой и других, но поток сомкнулся – следа не осталось. Он выступил сильнейшим критиком буржуазного прогресса, он показал обратную сторону первых и, безусловно, значительных достижений предпринимательства в ту пору, когда «третье сословие», или «средний класс», завоевало ведущее историческое положение. Он усомнился в успехах буржуазной цивилизации, которые были, так сказать, несомненны. Томас Карлейль по-своему понял диалектику приобретений и утрат, сопутствующих развитию человечества. Его ведущий тезис – о бездушии буржуазной цивилизации, о том, что богатство материальное не гарантирует богатства духовного, о том, что достижения и прогресс оказываются, с другой стороны, одичанием. Еще раз подчеркнем: Карлейль заговорил об этом тогда, когда требовалась истинно историческая, или, как выражаются англичане, в частности автор этой книги, пророческая пронизательность, чтобы увидеть утраты – при самоочевидных успехах – деяческого преуспевания. Когда издержки прогресса кажутся слишком велики, а чувство исторической перспективы изменяет, вот тут и возникает импульс: назад! «Душа убывает!» – с этими опасениями к прогрессу обращались и Дж. Ст. Милль, и Герцен, и Толстой, и Томас Карлейль.

Ни один английский мыслитель-современник так не будил, «провоцировал» мысль, как это делал Карлейль.

Враждебное неприятие всей общественной и духовной жизни своего времени и оригинальность и резкость мнений ставили Карлейля в исключительное положение среди современников. Герцен не случайно называл его парадоксалистом: острота и неожиданность оценок Карлейля зачастую направляли мысль современников в неожиданное русло.

Жизнь Томаса Карлейля охватывает почти весь XIX век. Наследие Карлейля велико. Оно включает 30 томов критических, исторических и публицистических трудов. Взгляды его сложились рано, еще в 20-е годы, а после 1866 года Карлейль не создал ни одного значительного произведения. Период наибольшей творческой активности Карлейля – это 30-е – 50-е годы. Однако была в его пути и некая наклонная регресса, которая

заставила Энгельса сказать о позднем Карлейле следующее:

«... Справедливый гнев против филистеров сменился у него ядовитым филистерским брюзжанием на историческую волну, выбросившую его на берег»¹.

Небольшая книжка о Карлейле входила в старую, самую первую, еще павленковскую серию «Жизнь замечательных людей». Читателем серии была наша демократическая интеллигенция. Ей считали нужным рассказать и о Карлейле – наряду со всеми теми, кого на возвышенном языке называли «светочами человечества». У нас в свое время переведены были все основные произведения Карлейля – «Прошлое и настоящее», «Герои и героическое в истории», «Sartor Resartus». Книги эти давно не переиздавались и являются библиографической редкостью.

Читают ли англичане Карлейля сейчас? Да, читают. Карлейль – ото классика, хотя, надо сказать, что чтение уже первых произведений Карлейля потребовало и от современников определенного усилия: слишком неожиданным, усложненным и странным был язык. Проходило время, и становилось все более ясно, что Карлейль пишет сложно не только потому, что мысль сложна или не выявлена, но и потому, что он хочет оживить застывшие языковые формы. Любопытно, однако, что самые парадоксальные суждения Карлейль выражал подчеркнуто ясным и безупречным слогом.

В своей книге Саймонс почти не пишет о социальных и религиозно-философских воззрениях Карлейля, но, как мы уже говорили, это и не могло входить в его задачу. Постараемся восполнить этот пробел. Постараемся также представить отдельные, самые характерные места из лучших произведений Карлейля, которые у нас мало известны.

Уже в раннем очерке «Знаменья времени», опубликованном в 1829 году «Эдинбургским обозрением», были впервые сформулированы отдельные положения социальной доктрины Карлейля, которые он разовьет в своих многочисленных более поздних произведениях. «Если бы нас попросили охарактеризовать современный век с помощью одного эпитета, – писал Карлейль, – у нас было бы сильное искушение назвать его не героическим, религиозным, философским или моральным веком, но прежде всего Веком Механическим. Это век машин в широком и узком смысле этого слова».

Так уже в ранней работе определился основной критический пафос Карлейля – против буржуазного прогресса. Первым произведением, содержащим развернутую программу Карлейля, был роман «Sartor Resartus» – «Заштопаный портной» (1833—1834). Саймонс пишет о

биографической подоплеке романа, обратимся к его идейной стороне.

Ироническое, пародийно-научное и тяжеловесное повествование вобрало в себя «все», о чем размышлял Карлейль в те годы. В форме шуточного рассказа и писания некоего немецкого профессора Карлейль предлагает серьезную критику современного состояния политики, религии, искусства и общественной жизни.

Развивая мысли, высказанные еще в очерке «Знамения времени», Карлейль пишет о страшном «механическом» давлении на человека: «В одну эпоху человека душат домовые, преследуют ведьмы; в следующую его угнетают жрецы, его дурачат, во все эпохи им помыкают. А теперь его душит, хуже всякого кошмара, Гений Механизма, так что из него уже почти вытрясена душа и только некоторого рода пищеварительная, механическая жизнь еще остается в нем. На земле и на небе он не может видеть ничего, кроме Механизма; он ничего другого не боится, ни на что другое не надеется».

В иносказательной форме Карлейль пишет далее о нищете и роскоши, бедности и богатстве – двух полюсах английской действительности.

Представляя корпорацию аристократов-богачей, или денди, Карлейль подробно описывает роскошный кабинет молодого человека того времени. («Все, чем по прихоти обильной торгует Лондон щепетильный...» – описание Карлейля оказывается для нас удивительно знакомым.) Денди противопоставлена другая корпорация – «секта бедняков», существующая, как пишет Карлейль, под многочисленными наименованиями: «Горемык», «Белых негров», «Нищих оборванцев» и проч. Отношения их далеки от того, чтобы быть «успокоительными»: «Денди до сих пор делает вид, что смотрит свысока на чернорабочего, но, может быть, час испытания, когда практически выяснится, на кого следует смотреть сверху вниз и на кого – снизу вверх, не так уж далек?» Поставив этот вопрос, Карлейль чуть далее предупреждает, что секты эти заряжены противоположными зарядами, и потому надо ждать взрыва. «До сих пор вы видите только частичные переходящие искры и треск; по погодите немного, пока вся нация не окажется в электрическом состоянии, пока все ваше жизненное электричество, уже более не нейтральное, как в здоровом состоянии, не разделится на две изолированные части положительного и отрицательного (денег и голода) и не будет закупорено в две мировые батареи! Движение пальца ребенка соединяет их вместе, и тогда – что тогда? Земля просто-напросто рассыпается в неосязаемый дым в этом громовом ударе Страшного Суда; Солнце теряет в пространстве одну из своих планет, – и впредь не будет затмений Луны».

Карлейль вновь и вновь возвращается к возможности «общественного пожара», но, приписывая эти мысли своему герою, предпочитает не высказываться прямо.

«Таким образом, Тейфельсдрек доволен, что старое, больное общество будет обдуманно сожжено (увы! совершенно иным топливом, чем благовонные деревья), веруя, что оно есть Феникс и что новое, рожденное в небесах, молодое общество восстанет из его пепла? Мы сами, ограниченные обязанностью фиксировать факты, воздержимся от комментариев». Обратим внимание, что в эти годы Карлейль уже пишет свою «Историю Французской революции», где проводится недвусмысленная параллель между предреволюционной «наэлектризованной» Францией и Англией 30-х годов.

Книга «Sartor Resartus» интересна нам еще и тем, что уже в ней были высказаны самые дорогие для Карлейля мысли о значении биографии великих людей: «Биография по природе своей наиболее полезная и приятная из вещей, – пишет Карлейль, – в особенности биография выдающихся личностей». (Напомним, что к этому времени Карлейлем уже была написана его первая биография – «Жизнь Шиллера», 1823—1824.) Поговорив о значении биографий замечательных людей, Карлейль вводит понятие «поклонение героям», этот «краеугольный камень жизненного утеса, на котором могут стоять безопасно все государственные устройства, до самого отдаленного времени». Так впервые формулируется центральное положение общественной философии Карлейля. Он не пишет о нем здесь подробно, хотя и замечает, что в современной жизни, полностью лишенной героического, есть один человек, которому «открылось вечное в его низких и высоких формах». «Я знаю его и называю его – это Гете».

Среди множества вопросов общественных и религиозно-философских Карлейль затронул в романе и вопросы филологические. Интереснейшие рассуждения его о природе языка навеяны трудами немецких лингвистов начала века (вообще немецкие влияния в книге значительны, и Джулиан Саймонс пишет об этом). «Язык называют платьем мысли, – говорит Карлейль – хотя скорее следовало бы сказать: язык есть тело мысли... Что он есть такое, как не метафоры, все еще развивающиеся и цветущие или уже окаменевшие и бесцветные?» Содержательны рассуждения о природе и значении символа, при том, что язык и вся терминология заимствованы Карлейлем опять-таки у немецкого идеализма.

«В символе заключается скрытность, но также и откровение: таким образом здесь, с помощью молчанья и с помощью речи, действующих совместно, получается двойное значение... Так во многих нарисованных

девизах или простых эмблемах на печатях самая обыкновенная истина приобретает новую выразительность». И далее: «Собственно в символе, в том, что мы можем назвать символом, заключается всегда, более или менее ясно и прямо, некоторое воплощение и откровение Бесконечного. Бесконечное с помощью его сливается с конечным, является видимым и, так сказать, достигаемым».

Мы знаем, что, с точки зрения материализма, в символе заключается не «бесконечное» и «конечное», но «абстрактное» и «конкретное», существенно, однако, само по себе указание, сделанное Карлейлем, на диалектику символа.

Влияние классического немецкого идеализма было в книге поистине сквозным, но особенно сказывалось в остроумных рассуждениях Карлейля о непознаваемости мира, природы. «Для самого мудрого человека, – писал Карлейль, – как бы ни было обширно его поле зрения, Природа остается совершенно бесконечно глубокой, бесконечно обширной, и весь опыт над ней ограничивается немногими отсчитанными веками и отмеренными квадратными милями... Это – книга, написанная небесными иероглифами, истинно священными письменами, из коих даже пророки счастливы разобрать строчку здесь и строчку там. Что же до ваших Институтов и Академий наук, то они бодро подвизаются и с помощью ловких комбинаций выхватывают из середины плотно сбитого, нераспутываемо-сплетенного иероглифического письма кое-какие буквы и составляют из них тот или другой экономический рецепт, имеющий великое значение в практическом применении».

Вычурные образы, неправильные формы, многочисленные намеки и аллюзии, длинные, путаные периоды и множество немецких понятий и слов – все это затрудняло современникам прочтение книги. По ходу повествования Карлейль сам иронически оценивал свой текст. Мало этого, он приложил к книге довольно резкие (и частично справедливые) отзывы из английской и американской периодики тех лет. («Отчего бы автору не отказаться от своего недостатка и не писать так, чтобы сделаться понятным для всех? Прочитываем в качестве курьеза сентенцию из „Sartor Resartus“, которая может быть прочитана как с начала, так и с юнца, потому что одинаково непонятна с любой стороны; мы даже думаем, что читателю действительно легче догадаться о ее значении, если начать с конца и постепенно пробраться к началу...»)

«Sartor Resartus» – не лучшее произведение Карлейля. Мы подробно остановились на нем потому, что в нем, как в зародыше, содержалось все последующее творчество Карлейля, подобно тому как можно сказать, что

«Пикквик» включил всего Диккенса.

Произведение, с которым прежде всего ассоциируется имя Томаса Карлейля, – это, конечно, «История Французской революции» (1837). Влияние французской революции и ее последствия на всю общественно-политическую атмосферу Европы начала XIX века было огромно, и Карлейль говорил и писал об этом. Он не мог также пройти мимо символического совпадения своего рождения с датой поражения революции – Карлейль заканчивает рассказ событиями октября 1795 года.

С фактологической точки зрения, «История Французской революции» была почти безупречна при том, что Карлейль плохо знал французский язык и не видел сражений и кровопролитий. Однако «История Французской революции» не была «историей» в точном смысле слова. Недаром в самом конце книги Карлейль, обращаясь к читателю, пишет, что он был для читателя всего лишь голосом. Действительно, читатель ни на минуту не перестает слышать этот голос – в риторических вопросах и восклицаниях, отступлениях и иронических и серьезных обращениях, которые постоянно напоминают ему, что он не читает историческое исследование, а беседует с блестящим собеседником.

Отрицая важность общих, объективных причин в историческом развитии человечества, «навязывание» истории общих законов, Карлейль ставит в центр «Истории Французской революции» личность, вернее, личности. Живость портретов (в особенности Мирабо, Лафайета и Дантона) и центральных эпизодов искупила некоторую невразумительность и напыщенность книги. Воскрешением из мертвых называли современники эту способность Карлейля одушевлять «подрисованные» лица. Причем портреты, созданные Карлейлем, как оказалось, обладают силой обратного воздействия – искусства на действительность: после выхода «Французской революции» трудно было отвлечься от созданных Карлейлем образов ее вождей.

Джулиан Саймонс пишет о том успехе, который имела эта книга. Действительно, надо себе реально представить положение Англии 30-х годов, переживающей подъем чартизма и все трудности промышленной революции, чтобы по достоинству оценить то поистине революционизирующее значение, которое имела книга Карлейля.

Восстанавливая атмосферу Франции, Карлейль реально описал то, что марксизм назовет «революционной ситуацией»: неизбежность свержения монархии, неспособной управлять народом, который не желает жить по-старому. В результате многие современники Карлейля проводили вслед за ним «опасные параллели» между положением Франции в конце XVIII века

и Англии в середине 30-х годов.

Книга Карлейля быстро приобрела статус классического исследования, влияние которого сказывается обычно на протяжении длительного времени. Диккенсовская «Повесть о двух городах» была написана более чем через 20 лет после выхода в свет «Французской революции» и под ее очевидным воздействием. Отличием позиции Карлейля и Диккенса оказался, как ни странно, больший исторический оптимизм Карлейля, его большая объективность. Во «Французской революции» автор возмущается, иронизирует, осуждает, но вместе с читателем переживает революцию как историческую неизбежность. Диккенс – почти искусственная беспристрастность. Диккенс видит в революции «возмездие» – и в этом смысле идет вслед за Карлейлем, но у Диккенса «кровавая кара» – это мрачный и вечный символ.

«История Французской революции» Карлейля была первым развернутым оправданием революции, написанным тогда, когда революция была еще в живой памяти современников, в этом непреходящее значение книги.

Помимо «Истории Французской революции», огромный общественный резонанс имели лекции Карлейля о героях и героическом, прочитанные им в 1840 году. И впоследствии именно эти лекции среди всех других произведений Карлейля вызывали наибольшие споры.

Карлейль выразил в них свой взгляд на историю, на роль личности в развитии человечества.

«Всемирная история, – пишет Карлейль, – история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, были вождями человечества, образователями, образцами и, в широком смысле, творцами всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть; все содеянное в этом мире представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в этот мир».

Многие суждения и мысли Карлейля буржуазной историографией эксплуатировались именно потому, что их удавалось вначале упростить или просто исказить. И это относится больше всего к карлейлевскому понятию героя. Отметим в этой связи, что герой, по Карлейлю, – это прежде всего человек высшей нравственности, обладающий исключительной «искренностью», «оригинальностью» и «деятельностью». Придавая труду высшее, почти религиозное значение. Карлейль видит в подлинном герое

человека постоянно трудящегося и деятельного. (Еще раньше в книге «Sartor Resartus» Карлейль говорил о «бессмысленности этого невозможного предписания „познай самого себя“, если только не переводить его в другое предписание, до некоторой степени возможное: „познай, что ты можешь сделать“.) Чрезвычайно важна также искренность. („Кто высказывает то, что подлинно в нем заключается, – писал Карлейль в книге „Прошлое и настоящее“, – тот всегда найдет людей, чтобы слушать его, несмотря ни на какие затруднения“.) Карлейль недвусмысленно говорит об общенациональном, народном значении подлинного героя, гения. „Великое дело для народа – обладать явственным голосом, обладать человеком, который мелодичным языком высказывает то, что чувствует народ в своем сердце. Италия, например, бедная Италия, лежит раздробленная на части, рассеянная; нет такого документа или договора, в котором она фигурировала бы как нечто иное; и однако благородная Италия – на самом деле единая Италия: она породила своего Данте, она может говорить!.. Народ, у которого есть Данте, объединен лучше и крепче, чем многие другие безгласные народы, хотя бы они и жили во внешнем политическом единстве“.

В карлейлевской концепции героя в том виде, в каком она была разъяснена им в его лекциях, «нравственное», «духовное» и «деятельное» начала нерасторжимы. Это следует помнить, учитывая снижение понятия о герое и героическом, его практическую девальвацию в более поздних произведениях самого Карлейля.

Помимо пророков, вождей и «духовных пастырей», Карлейль причислил к сонму героев писателей и поэтов.

В принципе идея эта не была нова. Взгляд Карлейля на миссию поэта существенно совпадал с высказываниями Фихте (Карлейль и сам говорит об этом). Английские романтики за 30 лет до Карлейля писали «об исключительной восприимчивости поэта», его особой «подверженности чувству» (в предисловии к «Лирическим балладам», 1800). Но Карлейль поставил поэта, художника рядом с пророками и героями. Важным было также утверждение героической миссии писателя, не только поэта – уточнение, но видимости, незначительное, однако на самом деле существенный сдвиг в сторону от романтической позиции. Героизация писательской деятельности, высшей духовной миссии писателя производилась в противовес буржуазно-потребительскому взгляду на искусство, но в основе ее лежал идеалистический взгляд на искусство.

Альфа и омега героизма, по Карлейлю, способность героя «сквозь внешность вещей проникать в их суть», «видеть в каждом предмете его

божественную красоту, видеть, насколько каждый предмет представляет поистине окно, через которое мы можем заглянуть в бесконечность». Назначение героя и состоит в том, чтобы «сделать истину более понятной для обычных людей». Отметим, что разграничение герои – негерои производится здесь не по социальному, а по духовному признаку. В этом смысле позиция позднего Карлейля, причислившего к героям «деятельного буржуа», была более социально-конкретна и более реакционна.

*

Список замечательных людей, с которыми на протяжении почти 70 лет общался Карлейль, включает десятки имен.

Книга богато населена современниками Карлейля, теми, с кем связан он был идейно, по литературным делам и чисто дружески. Прежде всего это Диккенс, Гете, «американский Карлейль» – Эмерсон и многие другие хрестоматийно известные лица. В книге нет Герцена, но есть люди его круга – Маццини, Джон Стюарт Милль.

Среди разнообразных влияний и веяний, сказавшихся на центральном произведении Герцена «Былое и думы», Томас Карлейль сыграл особую роль. В годы, когда окончательно складывается замысел «Былого и дум», знакомство с Карлейлем, автором работ, свободно сочетающих историю, философию и беллетристику, научное изложение с поэтическим жаром, оказалось своевременным. Занимавшие Герцена еще в 30-е годы поиски особой формы, соответствующие складу его творческой личности, вылились у него тогда же в мучащий его вопрос: «Можно ли в форме повести перемешать науку, карикатуру, философию, религию, жизнь реальную, мистицизм?» В ранних литературных опытах Герцена еще ощущалась изначальная разнородность элементов, целостность формы была найдена только в «Былом и думах».

Герцен познакомился с Карлейлем в 1853 году в Лондоне. Он увидел в нем «человека таланта громадного, но чересчур парадоксального».

У Карлейля и Герцена много общих литературных вкусов; у них оставшаяся от юности общая любовь к немецким романтикам, преклонение перед Гете и критика его «олимпийства», у них все вопросы «сочленены с социальным вопросом» (выражение Герцена).

Мысль о социальном вырождении Европы, растущий пессимизм Герцена в отношении будущего Европы созвучны настроениям Карлейля в те же годы.

Герцен, обличающий «скуку» буржуазного общества, где материальные интересы вытесняют духовные устремления, нашел в Карлейле сочувственного слушателя. В отношении к буржуазному мещанству – «этой стоголовой гидре» (Герцен), к буржуазному обществу в целом они действительно мыслят одинаково.

«Искусству не по себе в чопорном, слишком прибранном, расчетливом доме мещанина... искусство чувствует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки; мешает – прогонят, захотят послушать – дадут грош, и квит» – это слова Герцена. Но разве не напоминают они о Карлейле? Точно так же по множеству признаков герценовские наблюдения над жизнью буржуазной Англии близки к наблюдениям Карлейля. Иное дело – «положительная программа» или взгляды на взаимодействие личности и истории.

Проблема «личность и общество» лишь в ранних работах Герцена решалась в плане романтического противопоставления «героя» и «толпы». В более поздние годы диалектика личного и исторического была тщательно продумана Герценом на примере собственной судьбы, она жизненный центр «Былого и дум». В 1866 году во вступлении к «Былому и думам» Герцен писал, что произведение его «не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Герценовское понимание отношений между исторической личностью и эпохой было намного полнее и глубже, чем ответы, которые давал на эти вопросы Карлейль.

В эти годы герценовский идеал тоже обращен назад, но герой отличен от героев Карлейля 50-х годов, он, можно сказать, идеализированный персонаж Карлейля – автора «Истории Французской революции». В годы, последовавшие за крушением революции 1848 года, Герцен создает образ «Дон-Кихота революции», то есть участника французской революции 1789 года, «доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан». Дон-Кихоты революции «мрачно и одинаково стоят полстолетия, бессильные изменить, все ожидающие пришествия республики на земле». Именно в эти годы Герцен пишет о потенциальной революционности народа: «Их (то есть городских работников. – С. Б.) революционером поставила сама судьба; нужда и развитие сделали их практическими социалистами; оттого-то их дума реальнее, решимость – тверже».

А Карлейль? Вышедшие в 1850 году «Современные памфлеты» обнаружили усугубление его собственной политической реакционности.

Влияние идей Карлейля было, как мы уже говорили, огромно.

Особенно заметно повлиял он на развивающуюся американскую философию и литературную критику, в особенности на Эмерсона, Торо, Лонгфелло. Многие идеи европейского романтизма, не принадлежавшие собственно Карлейлю, стали известны в Америке через Карлейля. Называя Карлейля учеником Гете, Торо в своем очерке 1847 года пишет о «замечательном немецком правиле соотносить автора с его собственными мерками». Но таков был общеромантический принцип литературной критики, нашедший развернутое оправдание у английских романтиков старшего поколения, в частности, у Кольриджа. В России Пушкин сформулировал этот принцип как необходимость судить поэта по законам, им самим над собой признанным. У Карлейля этот принцип был особенно силен, ибо опирался на неизменно сочувственную трактовку личности, биографии великого человека, писателя. То же самое в известной мере относится и к идее «органики». В Англии первым интерпретатором идей немецкого романтизма об органической природе искусства стал Кольридж, а вслед за ним Шелли. Однако для американской критической мысли первостепенное значение наряду с «Литературной биографией» Кольриджа имели труды Карлейля.

*

Из всех многочисленных отзывов о Карлейле, данных его современниками, особый интерес для нас, несомненно, представляет критика Карлейля Марксом и Энгельсом.

В феврале 1844 года в «Немецко-французском ежегоднике» был опубликован отзыв Энгельса о книге Томаса Карлейля «Прошлое и настоящее» (1843): «Среди множества толстых книг и тоненьких брошюр, появившихся в прошлом году в Англии на предмет развлечения и поучения „образованного общества“, – писал Энгельс, – вышеназванное сочинение является единственным, которое стоит прочитать»². Энгельс напоминал, что в течение многих лет Карлейль изучает социальное положение Англии – «среди образованных людей своей страны он единственный, кто занимается этим вопросом!».

Перед тем как перейти к анализу новой работы Карлейля. Энгельс делает следующее замечание: «Я не могу противостоять искушению перевести наилучшие из удивительно ярких мест, часто встречающихся в этой книге». И далее Энгельс внимательнейшим образом «прочитывает» всю книгу, иллюстрируя каждое наблюдение подробными цитатами. Он

суммирует эту часть статьи следующим выводом, представляющим в максимально сжатой форме содержание книги Карлейля:

«Таково положение Англии по Карлейлю. Тунеядствующая землевладельческая аристократия, „не научившаяся даже сидеть смиренно и по крайней мере не творить зла“; деловая аристократия, погрязшая в служении маммоне и представляющая собой лишь банду промышленных разбойников и пиратов, вместо того, чтобы быть собранием руководителей труда, „военачальниками промышленности“; парламент, избранный посредством подкупа; житейская философия простого созерцания и бездействия, политика *laissez faire*³; подточенная, разлагающаяся религия, полный распад всех общечеловеческих интересов, всеобщее разочарование в истине и в человечестве и, вследствие этого, всеобщее распадение людей па изолированные, «грубо обособленные единицы», хаотическое, дикое смешение всех жизненных отношений, война всех против всех, всеобщая духовная смерть, недостаток «души», т. е. истинно человеческого сознания; несоразмерно многочисленный рабочий класс, находящийся в невыносимом угнетении и нищете, охваченный яростным недовольством и возмущением против старого социального порядка, и вследствие этого грозная, непреодолимо продвигающаяся вперед демократия; повсеместный хаос, беспорядок, анархия, распад старых связей общества, всюду духовная пустота, безыдейность и упадок сил, – таково положение Англии. Если отвлечься от некоторых выражений, связанных с особой точкой зрения Карлейля, мы должны будем с ним вполне согласиться. Он, единственный из всего «респектабельного» класса, по крайней мере не закрывал глаза на факты...»⁴.

Факты, которые приводил Карлейль, были поистине чудовищными: в 1842 году в Англии и Уэльсе насчитывалось 1 миллион 430 тысяч пауперов, в Ирландии их было почти два с половиной миллиона, «среди пышного изобилия народ умирает с голоду».

Эта основная, критическая часть книги Карлейля получает высочайшую оценку Энгельса. Энгельс цитирует Карлейля целыми страницами, отдавая должное блестящей форме, в которой Карлейль описывает бедственное положение «процветающей» Англии. Энгельс отмечает все самые «колкие» и, по видимости, убедительные места книги. «Но что такое, в конце концов, демократия?» – вслед за Карлейлем восклицает он и приводит длинное «разъяснение» Карлейля, открывающееся его знаменитым ответом на этот вопрос: «Не что иное, как недостаток в людях, которые могли бы управлять вамп, и примирение с

этим неизбежным недостатком, попытка обойтись без таких людей». Особое внимание обращает Энгельс на сетование Карлейля по поводу утраты религии и образовавшейся вследствие этого «пустоты». («... Небо сделалось для нас астрономическим хронометром, полем охоты для гершелевского телескопа, где гоняются за научными результатами и за пищей для чувств; на нашем языке и на языке старого Бена Джонсона это значит: человек утратил свою душу и начинает теперь замечать ее отсутствие».) В ответ на это Энгельс пишет: «Собственная сущность человека много величественнее и возвышеннее, чем воображаемая сущность всех возможных „богов“, которые ведь представляют собой лишь более или менее неясное и искаженное отображение самого человека. Если поэтому Карлейль повторяет вслед за Беном Джонсоном, что человек утратил свою душу и начинает теперь замечать ее отсутствие, то правильнее было бы сказать: человек утрачивал в религии свою собственную сущность, отчуждал от себя свою человечность, и теперь, когда с прогрессом истории религия поколеблена, он замечает свою пустоту и неустойчивость. Но для него нет иного спасения, он может снова обрести свою человечность, свою сущность не иначе, как преодолев коренным образом все религиозные представления и решительно, чистосердечно вернувшись не к „богу“, а к себе самому»⁵.

Карлейль снова выдвигает идею труда как «спасения» человека, он во многом повторяет здесь то, о чем говорил уже в своих лекциях о героях. Он пишет о «священном пламени труда», о его «бесконечном значении». Приведем отрывок из текста, цитируемого Энгельсом. «О человек, разве в глубине твоего сердца не заложен дух деятельности, сила труда, которая горит, как еле тлеющий огонь, и не дает покоя, пока ты не разовьешь ее, пока ты не запечатлеешь ее кругом себя в деяниях? Все, что беспорядочно, не возделано, ты должен упорядочить, урегулировать, сделать годным для обработки, покорным себе и плодородным. Всюду, где ты находишь беспорядок, там твой исконный враг; быстро напади на него, покори его, вырви его из власти хаоса, подчини его своей власти – власти разума и божественного начала! Но мой совет: прежде всего нападай на невежество, глупость, озверение; где бы ты ни нашел их, рази их, неустанно, разумно, не успокаивайся, пока ты живешь и пока они живы, рази, рази, во имя бога рази! Действуй, пока еще день; придет ночь, и никто уже не сможет работать...»⁶

Однако и труд в буржуазном обществе, как замечает Энгельс, вовлечен в дикий водоворот беспорядка и хаоса. Карлейль требует поэтому

«установления истинной аристократии культа героев для организации труда», то есть снова обращается к своей «стойкой» идее о значении героической личности в истории.

Энгельс указывает на «односторонность» Карлейля, полную неприменимость всех его рецептов. («Человечество проходит через демократию, конечно, не затем, чтобы в конце концов снова вернуться к своему исходному пункту»), но отмечает в книге замечательные достоинства и настойчиво советует перевести ее на немецкий язык. «Но да не прикоснутся к ней руки наших переводчиков-ремесленников!»⁷ – предостерегает он.

В 1850 году Марксом и Энгельсом была написана статья о «Современных памфлетах» Карлейля (1850). Этот обширный отзыв Маркса и Энгельса был резким – в меру того регресса, который наметился в позиции Карлейля к началу 50-х годов.

«Антиисторический апофеоз средневековья», который содержался уже в «Прошлом и настоящем», был сохранен в «Современных памфлетах», но основное внимание Карлейля обращено на практическое разрешение острейших общественных проблем. Маркс и Энгельс подчеркивают тут непоследовательность и путаность позиции Карлейля, который буквально не может свести концы с концами. «... Карлейль смешивает и отождествляет уничтожение традиционно еще сохранившихся остатков феодализма, сведение государства к строго необходимому и наиболее дешевому, полное осуществление буржуазией свободной конкуренции с устранением именно этих буржуазных отношений, с уничтожением противоположности между капиталом и наемным трудом, с ниспровержением буржуазии пролетариатом. Замечательное возвращение к „ночи абсолюта“, когда все кошки серы! Вот оно, это глубокое знание „знающего“, который не знает даже азбуки того, что происходит вокруг него!»

«Неприкрытой низостью» называют Маркс и Энгельс рассуждения Карлейля о «зачатках новой, реальной, а не воображаемой аристократии», о «капитанах промышленности», то есть промышленных буржуа⁸.

Ратуя за организацию труда, Карлейль восклицает (Маркс и Энгельс цитируют и эти строки): «Запишитесь в мои ирландские, в мои шотландские, в мои английские полки новой эры, вы, бедные, бродячие бандиты, повинуйтесь, трудитесь, терпите, поститесь, как все мы должны были это делать... Вам нужны командиры промышленности, фабричные мастера, надсмотрщики, господа над вашей жизнью и смертью,

справедливые, как Радаман⁹, и столь же непреклонные, как он, и они найдутся для вас, лишь только вы окажетесь в рамках военного устава... Я скажу тогда каждому из вас: вот работа для вас; примитесь бодро за нее с солдатским мужественным послушанием и твердостью духа и подчинитесь методам, которые я диктую здесь – и тогда вам будет легко получить плату». В ответ на эту «сентенцию» Маркс и Энгельс иронически замечают: «Таким образом, „новая эра“, в которой господствует гений, отличается от старой эры главным образом тем, что плеть воображает себя гениальной»¹⁰.

Парадокс судьбы Карлейля заключается в том, что в своей яростной критике буржуазии в поздние годы он приходит, действительно не замечая этого, к «героизации» ее роли.

Сила и слабость Карлейля были по достоинству оценены марксизмом. Именно Энгельсом был дан детальный ответ на вопрос об истоках и содержании всей религиозно-философской и общественной позиции Карлейля, актуальность этого ответа подтверждается современными английскими исследователями наследия Карлейля. «Весь его образ мыслей, – пишет Энгельс, – по существу пантеистический, и притом немецко-пантеистический. Англичанам совершенно чужд пантеизм, они признают лишь скептицизм; результатом всей английской философской мысли является разочарование в силе разума, отрицание за ним способности разрешить те противоречия, в которые в конце концов впали; отсюда, с одной стороны, возврат к вере, с другой – приверженность к чистой практике без малейшего интереса к метафизике и т. д. Поэтому Карлейль со своим пантеизмом, ведущим свое происхождение от немецкой литературы, является тоже „феноменом“ в Англии, и притом довольно-таки непонятым феноменом для практических и скептических англичан. Они смотрят на него с изумлением, говорят о „немецком мистицизме“, об исковерканном английском языке; иные утверждают, что, в конце концов, тут что-нибудь да скрывается; его английский язык, правда, не обычен, но все же он красив; Карлейль – пророк и т. п., но никто толком не знает, какое всему этому можно найти применение.

Для нас, немцев, знающих предпосылки карлейлевской точки зрения, дело довольно ясно. Остатки торийской романтики и заимствованные у Гете гуманистические воззрения, с одной стороны, скептически-эмпирическая Англия, с другой, – этих факторов достаточно, чтобы вывести из них все мировоззрение Карлейля. Как и все пантеисты, Карлейль еще не освободился от противоречия, дуализм у Карлейля

усугубляется тем, что он, хотя и знает немецкую литературу, но не знает ее необходимого дополнения – немецкой философии, и потому-то все его воззрения непосредственны, интуитивны, больше в духе Шеллинга, чем Гегеля»¹¹. Историческая заслуга Карлейля была в его критике буржуазной Англии, «бесконечно опередившей взгляды массы образованных англичан»¹².

Если хотим мы соответствовать ленинскому принципу усвоения культурного наследия как совокупности знаний, накопленных человечеством, и творческой переработки этого наследия, то мы, безусловно, не можем пропустить среди возможных «героев» серии такую личность, как Томас Карлейль. Мы должны знать, что пользуемся подчас понятиями, взятыми из его словаря, следом за ним ставим вопрос о диалектике прошлого и настоящего, о различии между культурой и цивилизацией, о подлинных и мнимых ценностях. В известном смысле можно также сказать, что Карлейль причастен и к этой серии, в которой сейчас выходит книга о нем. Под непосредственным влиянием биографий великих людей Карлейля Эмерсон писал свой труд «Представители человечества», и именно по этим моделям издатель-демократ Павленков составлял серию ЖЗЛ, предшественницу нынешней, горьковской.

Автор этой книги Джулиан Саймонс – потомственный английский литератор. Его отец также был биографом. Книга Саймонса о Карлейле выпущена прогрессивным английским издательством «Виктор Голланц».

Святослав Бэлза

Taken: , 1

Глава первая. Омраченный триумф

Людам будущего трудно будет объяснить себе, по одним книгам, личным симпатиям и антипатиям, почему этот мыслитель обрел такую власть над нашей эпохой, каким образом он придал свой особый колорит и нашим идеям, и нашему стилю мышления. Во всяком случае, я не берусь определить его влияние на меня. Но невозможно нарисовать хотя бы и неполной картины середины и конца девятнадцатого столетия без того, чтобы Томас Карлейль не занял в ней заметного места. Уолт Уитмен. Карлейль с американской точки зрения

Когда в ноябре 1865 года Томас Карлейль был избран ректором Эдинбургского университета, то и пресса, и критики, и близкие друзья отметили, что значение этого события выходит далеко за рамки местной, эдинбургской, жизни. Примечательно было уже то, что Шотландия впервые официально признала одного из самых знаменитых своих литераторов, но еще важнее был политический и социальный резонанс этого избрания. Предшественником Карлейля на посту ректора был Гладстон, а его соперником – Дизраэли, и поэтому, когда были объявлены результаты голосования:

Томас Карлейль – 657

Бенджамин Дизраэли – 310,

они были восприняты как символ триумфа политического идеализма над практицизмом Дизраэли, которого Карлейль в разные времена называл то сыном сатаны, то лжецом, то мошенником, то фальшивомонетчиком или старьевщиком 1. Впрочем, новый ректор столь же резко отзывался и о Гладстоне, которого считал человеком, не лишенным способностей, но чересчур нудным и многословным 2.

Триумф, таким образом, был одержан сторонниками Карлейля. Но кто были эти сторонники и какие идеи они проповедовали? Несомненно только одно: от консерватора Дизраэли и либерала Гладстона их отделяла, по словам самого Карлейля, «бездонная пропасть и неизмеримости». Карлейль, всю жизнь посвятивший общественному движению, тем не менее настойчиво сторонился каких-либо политических групп и партий. То, что эта одинокая фигура сменила лидера либералов и нанесла столь решительное поражение лидеру консерваторов, удивительным образом подтвердило смутное, но тем не менее широко распространенное ощущение, что человек этот играет особую роль в своей, викторианской,

эпохе. Впрочем, признание пришло далеко не сразу. Когда одиннадцатью годами ранее несколько студентов университета Глазго выставили кандидатуру Карлейля на пост ректора, пресса буквально смешала его с грязью, а в помещении, где собирались его сторонники, были переломаны все скамьи. В конце концов Карлейль сам снял свою кандидатуру.

Из всех людей, с нетерпением ждавших исхода этих выборов, меньше всех волновался сам Карлейль. Годом раньше он отказался выставить свою кандидатуру против Гладстона на том основании, что он слишком занят книгой о Фридрихе Великом. Теперь, после тринадцати с лишним лет работы, книга была закончена; однако оставались другие сложности, как он сказал явившемуся к нему делегату от студентов: ему уже почти семьдесят лет, и он, как и всегда, страдал, по его словам, несварением желудка. «Слаб, как воробышек, – писал он брату, врачу Джону Карлейлю, – печень и нервы никуда не годятся». Но главное препятствие было в ином: на церемонии вступления в должность полагалось произнести речь, а это, заявил он, положительно свыше его сил. Делегат поспешил уверить, что можно будет обойтись и без речи. На том и порешили.

После выборов, однако, стало ясно, что придется выступить хотя бы с коротким обращением. Госпожа Карлейль заверяла друзей, что раз нужно, значит, речь будет. Сам же Карлейль говорил, что вся эта затея – неприятность, которую придется снести терпеливо, раз уж столько добрых друзей об этом хлопочет. Оказалось, правда, что написать себе речь заранее, как это делают обычно, Карлейль просто не способен. Поэтому тревожная неопределенность сохранялась до самого дня выступления и еще усиливала страх перед опасностями предстоящего путешествия, которые и без того всегда принимали в глазах Карлейля чудовищные размеры. Чтобы по возможности облегчить себе предстоящие муки, Карлейль договорился по дороге в Эдинбург ненадолго остановиться у лорда Хотона, во Фристоне, в графстве Йоркшир; из своих эдинбургских знакомых он выбрал одного старого друга Томаса Эрскина: до его дома, надеялся Карлейль, не долетают паровозные гудки. По мере того как приближалось время отъезда, Карлейль все больше начинал беспокоиться, что не выдержит церемонии. Мысль, что больному старику в случае чего, конечно же, будет оказано снисхождение, мало его утешала. Госпоже Карлейль все хуже удавались ее попытки приободрить мужа: сама она слишком боялась, как бы с ним не случилось какого-нибудь приступа или он не упал бы замертво от волнения. Ехать с ним нечего было и думать: не позволяло здоровье. Чего доброго, сама упадет там в обморок! «Получилось бы очень неловко», – спокойно рассуждала она. Поэтому

оставалось приготовить для него все, что может пригодиться в дороге. Когда он в прошлый раз читал лекции, а это было лет двадцать пять тому назад, ему очень помогало изредка глотнуть бренди; и теперь она дала ему свою дорожную фляжку, куда налила одну рюмку бренди: разбавить и выпить перед самым выступлением.

29 марта 1866 года в маленький дом Карлейлей на улице Чейн Роу пришел физик Джон Тиндаль. Тиндаль, Т. Г. Гексли и гостивший у Карлейля Томас Эрскин должны были получить почетную докторскую степень перед церемонией вступления нового ректора в должность, и Тиндаль согласился опекать Карлейля во время путешествия. Старый философ был готов точно в условленное время. Выпил рюмку налитого рукой миссис Карлейль старого темного бренди, запил содовой. Поцелуй на прощание. У самой двери наказ: «Ради бога, как только все кончится – телеграмму!» – и уехали.

Джону Тиндалю, который, словно нежный сын, опекал Карлейля, было тогда уже сорок пять лет, и он сам был знаменитым человеком. Сын ирландца-сапожника, Тиндаль работал сначала инспектором на железной дороге, пока не нашел своим талантам более подходящего применения, став ученым-экспериментатором. Таланты эти впервые обнаружили, когда он был назначен преподавателем математики и топографии в Куинвуде, этой колыбели раннего социализма. С и М – начальные буквы английских слов «Начало Тысячелетия» – были выложены кирпичами в кладке этой экспериментальной школы; здесь впервые в Англии применяли практическую и лабораторную работу в преподавании прикладных наук. Из Куинвуда Тиндаль перешел на плохо оплачиваемую, но весьма влиятельную должность профессора естественной философии в Королевский Институт. Соратник Фарадея и близкий друг Гексли, Тиндаль обладал и удивительной практичностью, и глубиной понимания при огромной широте интересов и способностей – сочетание качеств, отличавшее многие научные дарования, расцветшие в ту, викторианскую, эпоху. Он делал эксперименты над магнетизмом, светом, теплотой и электричеством, изучал строение скал, исследовал атмосферу как среду распространения звука; он был страстным альпинистом и писателем, удивительно увлекательным, чьи эссе о столь разнообразных предметах, как радуга или обыкновенная вода, до сих пор читаются с интересом.

Тиндаль, как и большинство викторианских ученых и физиков его поколения, по складу ума стремился рационалистически объяснять природные явления; Карлейль же был известным противником всякого рационализма, верящим, что жизнь останется «вечно ускользающей

тайной». Тиндаль, если и не был атеистом, то все же весьма сомневался в идее божественного сотворения мира; Карлейля ничто не могло рассердить больше, чем сомнение в существовании творца. Услыхав выражение Гексли «вначале был водород», он заметил: «Любого, кто стал бы говорить так в моем присутствии, я попросил бы замолчать: „При мне ни слова об этом, сэр. Если вы не перестанете, я использую все средства, какие имеются в моей власти, чтобы немедленно расстаться с вами“ С первого взгляда трудно понять, что общего мог иметь такой человек, как Тиндаль, с таким человеком, как Карлейль. Но, удивляясь тому, что Тиндаль оказался среди сторонников Карлейля, мы забываем, какую притягательную силу имеет для сомневающегося человека убежденность другого. Ученые, физики и философы-рационалисты викторианской эпохи часто сами пугались бездны сомнения и душевной неуверенности, в которую их повергали их же собственные открытия и теории: многие, подобно Тиндалю, грелись возле пламенной веры Карлейля. Даже и в области науки эти люди уважали в других уверенность, которой не хватало им самим. Первая прослушанная Тиндалем лекция Фарадея произвела на него мощное впечатление – тем, что этот великий человек говорил убежденно, со страстью, а не как простой истолкователь фактов, и „можно было ощущать, как его могучий дух, отражаясь в каждой фразе, придавал ей глубину и звучность“. То же почтение скорее к высшей мудрости, чем к высшему знанию, он испытывал, впервые читая Карлейля. Тиндаль был совсем молодым человеком и жил в индустриальном Престоне, когда ему в руки попала книга Карлейля «Прошлое и настоящее, первый яростный протест против преклонения перед буржуазным преуспеянием и прогрессом.

«Положение Англии по справедливости считается одним из самых угрожающих и вообще самых необычных, какие когда-либо видел свет. Англия изобилует всякого рода богатствами, и все же Англия умирает от голода... Эта цветущая промышленность со своим изобилием богатства до сих пор никого еще не обогатила; это заколдованное богатство, и оно не принадлежит никому... Так для кого же это богатство, богатство Англии? Кому оно дает благословение, кого делает счастливее, красивее, умнее, лучше? Пока – никого. Наша преуспевающая промышленность до сих пор ни в чем не преуспела; среди пышного изобилия народ умирает с голоду; меж золотых стен и полных житниц никто не чувствует себя обеспеченным и удовлетворенным...»¹³

Страстный призыв автора ко всем филантропам: обратить внимание на бедственное положение несчастных английских рабочих, вместо того чтобы устраивать образцовые фермы в Африке, – отозвался эхом в сердце

молодого человека, видевшего вокруг себя тех самых «заморенных голодом, бледных, желтых» ткачей, о которых писал Карлейль. Тиндаль обнаружил в книге «мощь словесных описаний», «радость электризирующих вспышек», а главное – «мораль столь справедливую, радикализм такого высокого порядка, настолько разумный и человечный, что стало ясно: можно быть радикалом, не раболепствуя перед толпой».

Длинноносый, живой, с бахромой бакенбардов, Тиндаль в ту пору походил, как рассказывали, на хорошо сложенного, высокого, сильного плотника. Он прекрасно осознавал важность взятой на себя задачи: доставить философа в Эдинбург по возможности в таком состоянии, чтобы он мог произнести речь. И хотя внешне Тиндаль сохранил невозмутимое спокойствие, он, конечно, пал духом, увидев плачевный итог первой ночи во Фристоне. Лорд и леди Хотон приняли гостей ласково, но обед был подан поздно, во время и после него долго разговаривали, и к тому же Тиндаль с тревогой заметил, что железная дорога зловещим кольцом оплетала Фристон. Гудки паровозов не прекращались всю ночь. Когда наутро Тиндаль пошел проведать Карлейля, его худшие опасения оправдались: тот не спал всю ночь и был вне себя: «Я не могу больше оставаться во Фристоне. Еще одна такая ночь меня доконает». Верный долгу Тиндаль передал эти слова лорду Хотону, который, хотя и огорчился, тем не менее тоже счел, что путешественникам лучше всего немедленно уехать.

Выпив крепкого чаю с молоком и взбитым яйцом, Карлейль, однако, уже раскаялся в своей неблагодарности и с готовностью откликнулся на предложение Тиндаля взять лошадей и покататься верхом по окрестностям. Пять часов скакали они по проселкам, полям, вдоль больших дорог, мимо дорожных застав, где Тиндаль платил за обоих подорожную, и это странное лекарство восстановило здоровье Карлейля. Возвратившись, он надел шлепанцы и свой серый халат, набил длинную трубку и, к изумлению слуг, уселся на ковре в зале у камина, пуская дым в дымоход, как он привык это делать дома. В обычное для него время он съел простой обед, а когда начался спор, Тиндаль быстро прекратил его словами «не будем повторять вчерашнего». Уходя к себе в комнату, в которой было сделано все возможное, чтобы исключить свет и звук, Карлейль сказал Тиндалю, что вряд ли заснет и в семь утра зайдет за ним в его комнату.

Однако в семь утра не Карлейль стоял у дверей Тиндаля, а, наоборот, бдительный Тиндаль с облегчением прислушивался к тишине в комнате Карлейля. Он приходил еще раз в восемь, затем в девять часов и застал Карлейля за одеванием, счастливого, с сияющим лицом. «Мой дорогой

друг, – сказал он, – я родился заново. Я проспал девять часов и ни разу не проснулся».

*

Пока все шло благополучно. Но после первой ночи, проведенной в Эдинбурге – ужасной, по его словам, – Карлейль опять почувствовал, что не сможет говорить. Его отчаяние разделял патрон университета, сэр Дэвид Брюстер, с ужасом узнавший, что Карлейль, в отличие от предыдущих ректоров, не сделал даже наброска своей речи. Другие ректоры не только заранее писали эти речи, но их даже успевали до церемонии отпечатать в типографии. Вполне возможно, Брюстера мучили не только опасения, что Карлейль не выдержит процедуры, но и страх, что, импровизируя на научные и социальные темы, этот крайний радикал наговорит много неподходящего для ушей его юных слушателей.

Музыкальный зал, где должна была состояться церемония, был в то время самой вместительной аудиторией Эдинбурга. Толпа осаждала его двери задолго до назначенного часа, а к тому времени, когда Карлейль (не забыв выпить приготовленный женою бренди) и другие собрались в соседней комнате, в зале было уже больше двух тысяч человек. Терпеливый Тиндаль опекал Карлейля до самой последней минуты. Перед началом церемонии он подошел к нему и спросил: «Как вы себя чувствуете?» Карлейль только покачал головой. Тиндаль внушительно возразил: «Сегодня вы должны делом доказать то, что проповедовали всю жизнь, и показать себя героем». Карлейль опять покачал головой. Наконец торжественная процессия прошла в зал, Карлейль занял место ректора, и церемония началась. Присуждение почетных степеней прошло гладко. Вот Карлейль провозглашен ректором. Он встал, сбросив с плеч ректорскую мантию, и остался в аккуратно вычищенном старомодном коричневом сюртуке.

Среди тех, кто специально приехал в Эдинбург, чтобы услышать вступительное слово Карлейля, был один американский священник, оставивший нам словесный портрет Карлейля в этот переломный момент его жизни: «Величественная, хотя худая и сутулая, фигура производила впечатление собранной силы; голова, прекрасно вылепленная, продолговатая, лишь изредка двигалась из стороны в сторону, и то медленно; руки и ноги спокойно неподвижны, словно причудливые архитектурные опоры, поддерживают корпус и мощную голову: все ото

сразу привлекало внимание. Но постепенно выступали другие, более тонкие, черты в лице и всей фигуре – черты, которые время и судьба, мысль и жизненный опыт добавили к облику, данному природой. Изборожденный морщинами лоб, осененный серебром волос, носил следы долгих лет раздумий и духовной скорби; тонко обрисованный рот, даже в насмешке выражающий сострадание, никогда не кривящийся в сарказме; бледное лицо с играющей на нем краской воодушевления и большие, лучистые глаза – вот каким внешне представился нам Карлейль».

Таково было слегка идеализированное общее впечатление. Другие очевидцы замечали иные подробности: низкий, грустный голос, поначалу утонувший в громе рукоплесканий, но затем, набрав силу, зазвучавший привычно сильно, с заметным акцентом его родного Аннандэля; и неуверенность первых минут, уступившую место замечательной свободе и естественности речи; его привычку, заканчивая мысль, поднимать левую руку, поглаживать затылок, решая, что сказать дальше; нервные движения пальцев. Но сильнее всего запомнилась присутствовавшим почтительная тишина аудитории, когда замерли рукоплескания. Тиндаль чувствовал, как толпа затихла, как бы «охваченная внутренним огнем». Карлейль говорил в течение полутора часов, не пользуясь никакими записями, и, когда сел на место, послышался «явственный звук вздоха, долго сдерживаемого всеми присутствовавшими». Затем поднялся радостный гул. Некоторые размахивали руками, другие пытались пробраться вперед и обнять оратора; кое-кто плакал.

После выступления Карлейль направился к двери, где его ожидал экипаж, но передумал и решил пойти пешком. Как только студенты узнали, что ректор находится среди них, позади Карлейля выстроилась процессия, так что ему пришлось все-таки крикнуть извозчика. Он повернулся к толпе и махнул рукой, призывая ее уgomониться. Толпа ответила одним последним возгласом. «Что-то в этом звуке, – замечает Карлейль, – проникло мне в самое сердце». Усаживаясь, он оглядел толпу и, остановив сочувственный взгляд на самых нищих студентах, пробормотал: «Бедняги! Вот бедняги!»

Верный Тиндаль тем временем сбегал на ближайшую почту и послал госпоже Карлейль короткую телеграмму: «Полный триумф».

*

Слово, высказанное вслух, в большой степени обязано своим

воздействием чувствам слушающих. Когда аудитория проникается доверием к оратору, ее склонность критически относиться к сказанному вскоре ослабевает. Индивидуальности, из которых состоит аудитория, незаметно сливаются с индивидуальностью говорящего, и истинно одаренный оратор сумеет достаточно распознать желания и помыслы слушающих, чтобы им казалось, что это говорят они сами. Лучшими ораторами, несомненно, становятся те, искренность которых одновременно и подлинна и наигранна: они увлекаются потоком собственных слов, которым они в то же время в совершенстве управляют; они разделяют чувства аудитории и все же могут с точным расчетом тронуть нужную струну – гнева или юмора; они, говоря от имени разума, обращаются неизменно к чувствам. Таковы отличительные черты всех великих ораторов начиная с Демосфена. И когда тепло живого страстного голоса уходит из слов, когда такие знаменитые произведения ораторского искусства, как пятичасовая речь Шеридана, обличавшего Уоррена Гастингса 3, или нескончаемые речи Гладстона во время его Мидлодианской поездки предстают на печатной странице, неудивительно, что они кажутся нам безвкусными, как остывший пудинг. Карлейль добился в этой речи выдающегося успеха, но, как случается и с более знаменитыми ораторами, его речь на печатной странице много теряет.

Начал он с воспоминаний о том времени, когда пятьдесят шесть лет тому назад он впервые переступил порог Эдинбургского университета, и, вскользь упомянув старую добрую альма-матер, выразил свою благодарность за признание его «не самым худшим пахарем на этой ниве». Теперь он живет вдали от Эдинбурга и здоровье его слабо; он боится, что в практическом смысле не сумеет сделать для своих слушателей ничего достойного внимания.

Между тем ему хотелось бы сказать несколько слов специально для них; хоть он и не видит большой пользы в советах, а советы, не подкрепленные действием, и вовсе считает бессмысленными, все же об одном он хотел бы сказать, хоть об этом и говорилось уже тысячу раз: «Что прежде всего дело всей вашей жизни зависит от вашего прилежания». Увлечшись своей мыслью, он убеждал их много читать, но разборчиво, не забывая себе голову; быть скромными и непритязательными, усидчивыми и внимательными к тому, что говорят учителя. Но прежде всего следует трудиться, «ибо труд лучшее лекарство от всех болезней и несчастий, когда-либо посещавших человечество, – честный труд для достижения своей цели».

Далее Карлейль советовал им изучать историю, в которой, заметил он,

мало достигли те люди или народы, которые отказывались верить в существование неведомого, всемогущего, всемудрого и справедливого начала. Отсюда он перешел, путем шуточных ссылок на историю Британии и Оливера Кромвеля, к замечанию, что чистая демократия несбыточна: что людская масса никогда не сможет управлять собой и что самой благотворной формой власти была бы диктатура. Вспоминая то время, когда он писал о Кромвеле, он рассказал, как его поразило при изучении «Истории дворянства» Коллинза то обстоятельство, что в далеком прошлом люди, которым жаловался благородный титул, в своем большинстве его заслуживали.

Он говорил о своем прошлом радикализме и о страстном, пламенном духе реформ, который, судя по всему, увлекает и его теперешних слушателей. Он и сейчас радикал, хотя теперь уже не в том смысле, в каком популярен радикализм: он, к примеру, не одобряет распространения так называемого просвещения, которое сводится к тому, что горничные стали интересоваться различными «логиями», но забыли, как «варить и печь, забыли о послушании, скромности, смирении и нравственном поведении». Затем он посетовал на анархию и упадок, среди которых растет и взрослеет нынешняя молодежь. Ей следует изучать эпоху, брать от нее лучшее, стремиться изменить ее; стараться поступать правильно, не думая о земных благах; мужественно и честно исполнять свой долг, не заботясь о последствиях. Он закончил речь любимыми стихами Гете: Пусть текут часы забвенья, Грусть и радость устрания; Близко время исцеленья, – Верь же вновь сиянью дня! (Пер. Н. Холодовского)

«Трудитесь и не падайте духом... „Wir heissen euch hoffen!“ – „Зовем вас к надежде!“ – да будет это моим последним словом».

Вот всего лишь голый каркас той речи, которая привела в восторг одних и заставила рыдать других, то есть то, что остается от пламенного красноречия, если убрать личность самого оратора. Речь была полностью перепечатана многими газетами, и отзывы были почти все одинаково теплыми. Ведь мятежник платил дань респектабельности: вместо того чтобы громогласно призывать к разрушению старого порядка, он сказал то, что вполне мог бы сказать любой почтенный служитель церкви. И все же современники оценили не только его влияние, но и величие его духа, и многие голоса, ранее раздававшиеся против него, замолчали до конца его жизни.

Сомнительно, чтобы Карлейль испытывал особую радость от успеха в Эдинбурге, помимо сознания, что он доставил этим большое удовольствие своей жене. За сорок лет совместной жизни она ни на минуту не

усомнилась в его величии и теперь видела его признанным всеми. Когда пришла телеграмма Тиндаля, она одевалась, собираясь идти в гости. Торопливо вскрыв телеграмму, она прочитала ее вслух всем служанкам и своей двоюродной сестре, которая гостила у нее в доме, и от чрезмерной радости расплакалась.

В тот вечер госпожа Карлейль обедала у Джона Форстера (он известен теперь своими пространными воспоминаниями о Диккенсе). Уилки Коллинз и Диккенс также были на обеде и с большим воодушевлением пили за здоровье Карлейля. Госпожа Карлейль привела Диккенса в восторг, предложив ему сюжет, почерпнутый ею из наблюдений за жизнью одного из домов у нее на Чейн Роу. Занавески в окнах, люди, приходящие в этот дом, и люди, которых туда не пускают, доставляемая и увозимая оттуда мебель – вокруг таких ничтожных деталей она придумала целую историю, искусно сочетавшую серьезность с юмором. Правда, история пока не имеет конца, сказала она заслушавшемуся Диккенсу, но на днях ожидаются важные события, так что концовку она расскажет ему при следующей встрече. Почти ежедневно она писала мужу письма, рассказывал о потоке доброжелательных и теплых отзывов, которые стекались в дом на Чейн Роу.

А Карлейль в это время участвовал в торжествах в Эдинбурге. В его честь был дан обед, на котором присутствовали научные светила разной величины. На другом, менее официальном обеде для него спели песенку, высмеивавшую теорию Стюарта Милля, бывшего приятеля Карлейля. В песенке был такой припев: Сознание и материя? – опросил наш Стюарт Милл, Сознание и материя? – опросил наш Стюарт Милл, Стюарт Милл – он всех затмил: Сознание и материя он просто отменил!

Карлейль, развеселившись, подтянул припев вместе со всеми: «Сознание и материя» – пел он, размахивая ножом, словно дирижерской палочкой.

Все это, кажется, могло только радовать Карлейля. Тиндалю казалось, что так оно и было. И все-таки Карлейль скоро начал жаловаться в письмах к жене, что чувствует себя «как человек, которого хотят задушить гостеприимством, так все вокруг набрасываются на него. Делай то, иди туда! И притом – банкеты, банкеты!».

После четырех дней, проведенных в гостях, на званых обедах, он уехал из Эдинбурга, однако не домой в Челси, как собирался, а вместе с братом Джоном и сестрой Мэри поехал в Аннандэль, на маленькую ферму в Скотсбриге – свой отчий дом. Здесь он повредил себе ногу, и возвращение в Лондон снова отложилось. На довольно холодное поздравление, присланное Миллем, он почти не обратил внимания: «У Милля внутри

одни опилки». Постепенно заживала нога. Он ездил верхом, хорошо спал, наслаждался свежим воздухом и деревенской обстановкой. Спешить домой не было особых причин.

Тиндаль уже вернулся в Лондон и в мельчайших деталях рассказал госпоже Карлейль о путешествии. «Кажется, это вершина его жизни», – заметила она. Тиндаль застал ее в самом бодром настроении и сияющей от гордости за мужа. Куда бы она ни пошла – всюду разговоры о его выступлении. Один бывший учитель математики из Итона, имевший теперь свою собственную школу, сообщил, к ее величайшей радости, что выступление Карлейля читалось ученикам его школы вслух. Она ездила на два дня к своей приятельнице в Виндзор, а по возвращении начала устраивать грандиозный по ее понятиям званый вечер: приглашались одиннадцать человек на субботу, 21 апреля. Мужа она ждала только к понедельнику, и вечер ей хотелось устроить до его возвращения. Карлейль к субботе достиг Дамфриса. В Скотсбриге его встревожил странный сон, приснившийся ему после того, как он в тот день не получил письма от жены. «Я говорил себе: это молчание ничего не значит, – но к часу ночи, вскоре после того, как я лег спать, я увидел что-то вроде сна, предвестие увидеть тебя в крайне плохих обстоятельствах. Я вмиг проснулся с мыслью: „Так вот что такое ее молчание, бедная моя!“

Но письмо пришло на Чейн Роу только в два часа пополудни в субботу, и госпожа Карлейль не получила его. И историю про соседний дом она так до конца не рассказала Диккенсу, который позднее очень эту историю хвалил. Форстеры, у которых госпожа Карлейль обедала в тот день, заметили, что она была в необыкновенно приподнятом настроении. «Карлейль приезжает послезавтра», – сообщила она. Примерно в три часа она отправилась домой в своей карете. У Гайд Парка она выпустила свою собачку Крошку погулять, и собачка попала под проезжавшую мимо коляску. Госпожа Карлейль потянула за каретный шнур и выскочила из кареты, едва та успела остановиться. Крошка, однако, не поранилась, а была только напугана. Госпожа Карлейль подняла собачку в карету и велела ехать дальше.

Кучер повиновался, сделав по парку круг, оглянулся, ожидая новых указаний. Госпожа Карлейль сидела без движения. Руки ее лежали на коленях, одна была повернута ладонью вверх, другая вниз. Супруга вновь избранного ректора была мертва.

Taken: , 1

Глава вторая. Истоки идеи

Простой и понятый, «живой и дарящий жизнь», он тем не менее был скуп на выражение чувств. Мы (дети) все страдали от того, что не смели свободно проявлять свою любовь к нему. Его сердце как бы окружала стена, и оно не в состоянии было открыться. Моя мать говорила мне, что никогда не могла понять его, что ее любовь и уважение к нему (при всех их мелких разногласиях) всегда натыкались на препятствие. Страх отталкивал нас от него. В особенности меня. Томас Карлейль. Воспоминания об отце

За пятьдесят шесть лет до описанных событий, пасмурным, морозным ноябрьским утром Томас Карлейль вместе с отцом и матерью шел по улице родной деревни Эклфекан, в графстве Аннандэль, направляясь в Эдинбург, в университет. Карлейлю еще не было пятнадцати, и родители, по тогдашним обычаям, поручили его заботам мальчика постарше. Вдвоем мальчики должны были преодолеть путь до Эдинбурга, почти сто миль – это также считалось обычным, – а по прибытии им надлежало подыскать себе жилье.

Такое путешествие покажется нам небезопасным, но в то время в Шотландии это было обыкновенным делом. Многие студенты университетов Эдинбурга и Глазго, возможно даже большинство, были выходцами из бедных семей. Их родители с трудом выкраивали средства на обучение в университете, поэтому на место в почтовой карете денег не оставалось, а о том, чтобы кто-то из родителей проводил мальчика, нечего было и думать. Необходимость воспитывала в них привычку рассчитывать на собственные силы. Все нужное для существования – овсяная мука, картофель, соль, масло и яйца – привозилось студентам из дома с посыльным; в обратный путь на той же подводе отправлялось домой белье для стирки и починки. Имея в кармане жалкие гроши и будучи воспитанными в строгих правилах шотландского пуританизма⁵, они, как умели, развлекались в свое свободное время. Обычно оно посвящалось прогулкам по окрестностям, чтению и устройству различных дискуссий. Когда кончался семестр, студенты отыскивали своих земляков и группами пешком расходились домой.

Во время первого путешествия в Эдинбург Карлейлю повезло: часть пути они проделали в телеге крестьянина, везшего в город картошку. На третий день они приехали, нашли чистую и дешевую квартиру в бедном районе города, пообедали и отправились обозревать окрестности. Карлейль

впервые был далеко от дома. Много времени спустя, вспоминая свои тогдашние настроения, Карлейль находил, что «воображение новичка не было так уж сильно потрясено; помалкивая, он внимательно смотрел по сторонам». Парламент, однако, произвел на него впечатление, особенно судьи в красном бархате, восседавшие на тронах, отгороженных от зала, адвокаты в черных мантиях, с жаром обращавшиеся к ним, и судебные чиновники, которые, сидя высоко наверху, словно ласточки в своих гнездах, издавали «унылые, скорбные звуки».

Он быстро втянулся в жизнь огромных студенческих аудиторий университета (индивидуального обучения в университетах Шотландии в то время не было). Его длинная, худая, нескладная фигура, неуклюжие манеры, рез-кип аннандэльский акцент, конечно же, не располагали к нему. Сокурсник Карлейля вспоминал, что речь его была всегда многословной и причудливой, полной сарказма, иронии и преувеличений. Впрочем, Карлейль изливал потоки красноречия только на близких друзей, а в присутствии незнакомых или недоброжелателей он неловко молчал.

Характер его корнями уходил глубоко в деревенский быт Эклфекана. Отец Карлейля, Джеймс, и его мать, Маргарет Эйткин, несомненно, обладали незаурядной силой воли. От них Томас воспринял правила поведения и способ мышления, глубоко повлиявший на его жизненную философию, которая и принесла ему славу.

Джеймс Карлейль был каменотесом и дом свой построил сам, правда, не для своей семьи, а на продажу. Заказчик, однако, попытался добиться права на владение этим домом, не выплачивая суммы полностью, и Джеймс Карлейль, невзирая на посулы, угрозы и письма стряпчего, поселился в нем сам. Дом разделялся пополам аркой. Наверху, в двух комнатах по одну сторону арки жил сам Джеймс Карлейль. Нижний этаж он сдал некому пекарю, а вторую половину верхнего этажа занимал брат Джеймса. В этот дом Джеймс привел свою первую жену, дальнюю родственницу, носившую ту же фамилию, что и он. Прожили они вместе немногим больше года, когда жена умерла от лихорадки. Через два года, 5 марта 1795 года, Джеймс Карлейль женился на Маргарет Эйткин, дочери разорившегося фермера, до замужества работавшей в услужении.

В тот же год 4 декабря у каменотеса, имевшего некоторые познания в математике и даже отменный старинный почерк, приобретенный в те три месяца школы, которые составляли все его образование, и бывшей служанки, с трудом читавшей, а писать тогда еще не умевшей вовсе, родился сын Томас. Это было, как позднее вспоминала мать, «тощее, длинное, нескладное существо». Она даже боялась купать его: как бы не

сломать что-нибудь. Не раз говорила она, что вряд ли этот ребенок доживет до зрелых лет. Вслед за Томасом с промежутками от двадцати месяцев до трех с небольшим лет родилось еще восемь детей. Из них один умер полуторагодовалым, остальные все выросли, еще с детства образовав тесный семейный круг, у которого были свои убеждения, свои темы для шуток, а в более поздние годы – свои забавные привычки: например, чтобы не тратиться на посылку писем, они обменивались условными знаками, посылая по почте газеты: если адрес был подчеркнут двойной чертой, все знали, что все в порядке и никаких важных новостей нет.

Карлейлю было тридцать шесть лет, когда он лишился отца. Он написал свои воспоминания о нем, желая отдать себе отчет в том, что «утратил и какой урок содержался в этой утрате».

Характер отца и свое детство он описывает с той удивительной способностью воскрешать прошедшее, которая всегда была одной из отличительных черт Карлейля-писателя. Одной фразой открывает он перед нами жизнь своей семьи: «Мы все были заключены в кольцо нестигаемого Авторитета». Уважение к авторитету, приверженность к строгому, фанатическому пуританизму и неукротимый горячий нрав были семейными чертами Карлейлей.

Деда Карлейля тоже звали Томасом, в свое время это был дерзкий, необузданный, страстный человек. Собрав деньги на полугодовую ренту, он больше уже не заботился о жене и шести детях. Семья была вечно в нужде, а часто и голодала. Когда Томас-младший был мальчиком, его дед, превратившийся уже почти в легенду, жил еще по соседству в Эклфекане, на средства сыновей. Еще более легендарной личностью был двоюродный дед Карлейля – Фрэнсис, великий пьяница и игрок. Став моряком, он на первом же корабле поднял бунт. Между дедом Томасом и двоюродным дедом Фрэнсисом существовала какая-то давняя полузабытая распря, но, когда Фрэнсис, в то время уже капитан в отставке, окончательно списавшийся на берег, услышал, что его брат умирает, он на телеге приехал в Эклфекан, и маленький Томас увидел его в первый и единственный раз. Он запомнил мрачного, огромного, почти страшного старика, которого на руках внесли по крутым ступеням – сам он идти не мог. Братья поговорили минут двадцать, после чего стул старика спустили обратно вниз, а самого Фрэнсиса унесли.

От отца Джеймс унаследовал буйный и независимый характер. В юности он входил в кулачное товарищество местных каменотесов, которые дрались с шайками ирландских и прочих бродяг, наводнивших в то время окрестности. Джеймс Карлейль и его братья слыли самыми работающими

парнями во всей округе, но о них также знали, что их лучше не задевать. Маленький Томас всего этого не застал: его отец был теперь членом религиозной секты, отделившейся от официальной церкви по причине ее чрезмерной мягкости. Вряд ли Джеймс Карлейль стал от этого более скромным и воздержанным, чем в тяжелые, голодные годы юности; вряд ли также это обращение усилило в нем его пуританский фанатизм (его хватало и в ранней юности: еще подростком он однажды швырнул в огонь колоду игральных карт). Во всяком случае, несомненно, что сильное религиозное чувство заставляло его раскаиваться в жестоких забавах юности. Со своими детьми он не был никогда ни ласков, ни мягок, но зато всегда сурово-справедлив и ни разу не поднял руку на ребенка сгоряча.

Будучи старшим среди детей, Томас Карлейль сполна почувствовал на себе власть отца. Неизвестно, чтобы он когда-либо восставал против этой власти или вообще ставил бы ее под сомнение, но в воспоминаниях, написанных после смерти отца, он обнаруживает ясное понимание того, что некоторые черты его натуры подавлялись в детстве. В доме Карлейлей редки были игры, беззаботное веселье; ни матери, ни детям не позволялось болтать попусту, так как Джеймс Карлейль «положительно не желал и не в состоянии был слышать» праздные разговоры, «он резко отворачивался от них либо, если это не помогало, сокрушительным взмахом отметал их прочь от себя». «Сокрушительным взмахом» служила особая интонация, с которой произносилась такая простая фраза, как «я тебе не верю», или даже «его холодное, равнодушное „а-а“, заставлявшее язык присохнуть к гортани». Однако сам он любил говорить о вещах, которые считал важными. В таких случаях речь его была сжата, энергична, полна сильных и метких выражений и часто поражала богатой крестьянской образностью. («Как будто муха по дегтю ползет» – это о плохом проповеднике.) В минуты гнева, вспоминает сын, «его слова, как острые стрелы, поражали в самое сердце».

В воспоминаниях Карлейля об отце один маленький эпизод оставляет особенно яркое, почти зрительное впечатление. Он интересен и тем, что это единственный случай, когда отец был ласков с ребенком: «Я помню, как он перенес меня через Мейн Уотер, через запруду пониже по течению, в том месте, где теперь находится Мейнфутский мост. Мне шел, наверно, пятый год. Кажется, он направлялся в Люс за плотником. Это был самый прекрасный летний вечер, какой я только помню. Первое пробуждение памяти (или просветление) связано с картиной реки: запруда с перекинутой деревянной аркой моста, никаких поручней и ширина в одну доску. Правой рукой он подхватил меня и нес на бедре, не сбавив даже шага, пока мы не

оказались на той стороне. Мое лицо было повернуто вниз, и я смотрел в глубокую прозрачную воду с отраженными в ней небесами со страхом, но и с уверенностью в том, что отец меня спасет. Сразу после, почувствовав облегчение, я спросил отца, что это за „маленькие черненькие штучки“, которые получают иногда, когда я тру ладони друг о друга, и и даже сейчас помню (сознание мое, несомненно, было возбуждено пережитым страхом), в каких словах я описывал их: „похожи на рогалики по одному пенсу, но гораздо меньше“. Он мне все объяснил: просто руки у меня не совсем чистые. Он был очень ласков, и я любил его».

Примерно в это время Джеймс Карлейль начал учить сына началам арифметики и вскоре отдал его сначала в местную сельскую школу, а затем в школу в Ходдаме, в миле от дома. Деревенские в своем образовании обычно дальше не шли, но Джеймс Карлейль после долгих раздумий решил послать своего старшего сына в новую семинарию в Аннانه, в шести милях от деревни. Этот шаг, предпринятый, когда мальчику было десять лет, оказался решающим, так как Томас с понедельника по пятницу жил теперь у тетки и оказался таким образом оторванным от дома. Мать, кажется, не имела голоса в решении этого вопроса, но она заставила его дать слово, что ни при каких обстоятельствах он ни с кем не будет драться.

Покинув дом на таких условиях, мальчик был плохо подготовлен для жизни среди других школьников. Подолгу слушая отца и его товарищей, рассуждавших о религии или устройстве мира, он научился говорить, как взрослый, и из-за этого да еще из-за привычки выражаться, как его отец, очень категорично и эмоционально, он казался злым и высокомерным. Он отнюдь не был в положении отверженного поэта – ситуация, хорошо знакомая нам по многим историям из школьной жизни, – нет, ему вовсе не чужды были телесные упражнения, и он был вынослив. Но с ранних лет он был одержим демоном гордыни, и нет сомнения, что в Аннانه он требовал не просто отношения к себе как к равному, но признания своего превосходства над другими мальчиками. Жестокость, с которой они разрушили эту иллюзию, навсегда оставила след в его сердце.

В незаконченной повести под названием «Роман об Уоттоне Рейнфреде», первом серьезном творческом начинании Карлейля, Уоттон-школьник представляет себя в будущем «героем и мудрецом, осчастливившим и удивившим мир». Его успехи в учебе, сообщает автор, были «предметом гордости его учителей», и он был бы всеобщим любимцем во всяком обществе, кроме этой компании себялюбивых и жестоких мальчишек, которые издевались над ним и мучили его. Та же тема разработана в философском романе «Сартор Резартус», где описано

преследование, которому подвергается герой в гимназии Хинтершлага (то есть «Задобитной») со стороны тех мальчиков, которые «повиновались импульсу грубой Природы, заставляющей стадо оленей набрасываться на раненого сородича, а стаю уток – убивать своего брата или сестру, сломавших крыло». Между тем в «Сарторе», как отмечает Карлейль в воспоминаниях о своем детстве, не сказано и половины правды о том, что ему пришлось перенести в руках этих «грубых, неуправляемых и жестоких зверенышей» – его соучеников по школе. Очень долго он исполнял наказ матери не драться, но наконец не выдержал, снял с ноги башмак на деревянной подошве и отколотил им пристававшего старшеклассника. После такого решительного отпора открытое преследование сменилось напряженной враждебностью. Его теперь уважали, но ничто не могло заставить школьников полюбить мальчика, который, как впоследствии вспоминал один из его одноклассников, «говорил всем поперек и назло».

В Аннани он научился свободно читать по-латыни и по-французски, постиг геометрию, алгебру и арифметику. Но самым главным в его образовании в те пять дней недели, когда он с нетерпением дожидался пятницы, было чтение книг из библиотеки некоего Джона Маконаки, бондаря. У него Карлейль брал книги Смоллетта, историю Карла Пятого, написанную Робертсоном 6, – и то и другое произвело на него глубокое впечатление. Были здесь и книги с математическими головоломками, которые он решал. В школе заметили и его успехи, и, что еще важнее, его жадность к учению. Все же годы, проведенные в Аннани, не изменили его: он поступил туда резким, нескладным, упрямым мальчиком, совершенно неспособным на самоиронию, – вышел он из Аннана таким же резким и нескладным, и только тонкая непрочная пелена молчания затягивала природную необузданность его речей и чувств.

*

Страх и почтение, которые Карлейль испытывал перед отцом, не вызваны какой-либо особенной родительской жестокостью; напротив, этот суровый пуританин был внимателен и щедр по отношению к своему старшему сыну. В то время было редкостью, чтобы сын шотландского рабочего учился до девятнадцати лет, не заботясь о заработке, и для Карлейля это оказалось возможным только потому, что его отец шел на жертвы ради того, чтобы сын окончил университет. Когда Карлейль, уже двадцати с небольшим лет, растерянно метался от одного занятия к

другому, отец ни разу не упрекнул сына за эти метания, столь чуждые его собственному пониманию вещей и темпераменту: этот вспыльчивый и гневливый человек сумел увидеть в сыне его особое достоинство задолго до того, как оно впервые проявилось внешне. В немногих сохранившихся письмах отца к сыну почти открыто признается превосходство сына.

Главной чертой в Джеймсе Карлейле, одновременно и отчуждавшей сына и вызывавшей в нем глубочайшее почтение, было то, что Джеймс верил в догмы, в которых Томас невольно очень рано усомнился. Томас видел, что его отец никогда не терзался сомнениями. Он без колебаний буквально верил Библии, буквально представлял себе существование ада, где грешники горят вечным огнем. И, охваченный религиозным восторгом и ужасом («В его Вере была большая доля Страха», – писал сын), он уже ничего не боялся в превратностях жизни. Сын замечал, одобрял и старался усвоить равнодушие отца к мнению окружающих, к деньгам, его презрение к пустой фразе и мелочным поступкам, его молчание о «дурном и прошедшем». Но уже когда ему минуло десять, Карлейль начал сомневаться в буквальной истинности многих вещей, записанных в Библии. Вряд ли он поверял свои мысли отцу, перед которым так робел. Но между мальчиком и его матерью таких барьеров не было. Ее вера была менее сурова, чем у отца, но столь же непоколебима, и она пришла в ужас, когда однажды сын спросил ее с иронией: «Чтобы сделать тачку, Всемогущий Господь спустился с небес и пошел в столярку?» Бесхитростно набожная Маргарет Карлейль была потрясена, лишь одним глазом заглянув в мысли ее любимого старшего сына: с тех пор он всегда был для нее заблудшей овцой, которую можно было вернуть в стадо только постоянными увещеваниями (неизменно повторяемыми в каждом ее письме) ежедневно прочитывать главу из Библии.

Таким образом, разум юного Карлейля развивался под противоречивым влиянием, во-первых, личности отца, очень почитаемого им, его привычек и образа жизни, а во-вторых, сомнения, ставшего со временем твердым неприятием той безусловной веры, на которой строился этот образ жизни. Можно ли совершить что-нибудь, не имея такой веры? Или только вера могла подвигнуть на великие дела? До конца жизни в нем шла борьба – в разное время с разной силой – между непримиримым иконоборчеством его разума и его душевной потребностью в вере, включавшей в себя и веру его отца. Если разум разрушал привычные символы, его приговор следовало принять, но одно разрушение – как оно могло быть добром? Карлейль нуждался в новом пророческом Евангелии, чтобы усмирить те сомнения в природе бога и общества, которые разбудил

его же разум, и, поскольку ни один пророк до него не убеждал его, он сам решил провозгласить благую весть. Но истинно великие пророки получают только из тех, кого их последователи считают боговдохновенными, а все остальные – безумцами. В Карлейле пророческий дар боролся с острым интеллектом, то побеждая его, то терпя поражение: страстная сила, с которой предстояло заговорить этому пророку, вытекала не из крепкой веры, а из психологической потребности превзойти в вере отца, при том, что этому препятствовал разум. Вот каковы истоки его долгой, на всю жизнь, борьбы за то, чтобы магией веры изгнать гидру сомнения.

Taken: , 1

Глава третья. Учитель

Голодные питомцы университета тянулись к своим духовным кормильцам, но вместо пищи их кормили баснями. Той мешаниной умозрительной путаницы, этимологии и механических манипуляций, которую выдавали там за науку, я, пожалуй, овладел лучше многих. Из одиннадцати сотен молодых христиан там набралось бы человек одиннадцать таких, кто стремился к знаниям. Общение с ними согревало и облагораживало. Инстинкт и счастливый случай сделали так, что я пристрастился не к буйству, а к размышлениям и чтению, последнему в особенности ничто не препятствовало. Да что там! – из хаоса университетской библиотеки я сумел выловить множество книг, о которых не знал даже сам библиотекарь. Так было положено начало моей ученой жизни. Своими силами я научился свободно читать почти на всех европейских языках, на любые темы и по всем наукам. Определенная схема человеческой природы и жизни уже начала вырисовываться во мне, но ее предстояло уточнять при помощи новых опытов и бесконечно расширять. Томас Карлейль. Сартор Резартус

После того как мы столько узнали о сомнениях Карлейля в буквальной истинности христианских догм, нам покажется странным, что у него не вызывала никакого видимого отпора перспектива стать священником. Но нужно помнить, что биограф, из будущего оглядывающий весь жизненный путь человека, может с обманчивой ясностью представлять побуждения и поступки, которые в свое время были совершенно неясны тому, кому принадлежали.

Принять духовный сан его заставляло и желание родителей видеть его проповедником, и тот суровый факт, что в Шотландии в то время было мало путей для сына рабочего человека, не пожелавшего повторить путь отца, а сильней всего, возможно, то, что он не видел пока для себя никакого действительно подходящего дела. Восемнадцати лет он сделал запись в конце томика греческой прозы: «Имея сердце независимое, не пленяясь улыбками жизни и не склоняясь перед ее гневом, я, возможно, добьюсь литературной славы. И хотя бы судьба готовила мне голодную смерть, я рад тому, что не родился королем!» Впрочем, эти храбрые слова не подкреплялись попытками что-либо написать, скорее они были обманым движением, чтобы заглушить страх, о котором он говорил в то время в письмах друзьям: опасения, что литературного таланта у него нет. Этих

друзей – те одиннадцать из одиннадцати сотен, о которых шла речь в «Сарторе», – было немного, но они были упорны. Как и сам Карлейль, это были дети тружеников. И они не видели перед собой иного пути, кроме пастырства или учительства. Но было и отличие: они ничего другого и не искали, и, едва прошли у них смутные волнения юности, они спокойно приняли свой наперед известный жребий. Самыми близкими друзьями и корреспондентами Карлейля из числа этих серьезных, добродетельных и вполне довольных собой молодых людей был Роберт Мит-чел, готовившийся в священники, но ставший потом учителем, Джеймс Джонстоун, также будущий школьный учитель, и Томас Муррей, который впоследствии, в минуты отдыха от пастырских забот, написал историю своего родного графства Голоуэй.

В окружении этих скромных талантов красноречие Карлейля заблестало ярко. Один из его корреспондентов называл его Джонатаном или Доктором, с шутливым намеком на Свифта, другие Пастором – все признавали в нем силу духа и интеллекта. Однако за пределами этого узкого круга Карлейль в Эдинбургском университете не имел успеха, которого заслуживали его таланты: и студенты и преподаватели не любили его за самоуверенность. Карлейль не скрывал своего презрения к вычурной манере профессора Брауна, который читал им философию морали; один, в совершенно пустой аудитории, он мрачно сидел с тетрадкой перед профессором Плейфером на его занятиях натурфилософией. Только на лекциях по математике у чудаковатого неопрятного профессора Лесли, в надежде жениться на молоденькой покрасившего волосы в романтический черный цвет, в котором некстати проглядывали розовые и зеленые пряди, – только здесь наш студент чувствовал внимание и одобрение.

Именно Джон Лесли и рекомендовал его учителем математики в Аннанскую семинарию 7. Карлейль прошел собеседование, выдержал его и получил место с жалованьем 60 или 70 фунтов в год – сумма весьма скромная, но зато теперь он не был больше обузой для отца, который как раз в это время взвешивал свои возможности послать в Эдинбург следующего сына, Джона. В Аннани Карлейль чувствовал себя в роли учителя так же скверно, как когда-то в роли ученика; впрочем, скоро выяснилось, что дело не в Аннани: просто преподавание было не для него. Все же работал он добросовестно, ученики относились к нему хорошо. Он обнаружил странность, которой не одобряли его старшие коллеги, – пренебрежение к розгам как к исправительной мере. Были и более серьезные причины недовольства этим молодым учителем: он не желал знакомиться с местным обществом, в гости не ходил, а вместо этого водил

знакомство со священником Генри Дунканом, на которого в городе смотрели косо за его крамольный евангелизм и симпатии к квакерам. Все попытки старших поставить его на место Карлейль в Аннэ, как и в Эдинбурге, встречал сарказмом, и это еще больше восстанавливало против него. В присутствии окаменевшего от ужаса класса он спокойно ответил старшему коллеге, который высокомерно потребовал у него определения добродетели: «Сэр, если в вашем собственном сердце нет понятия о том, что такое добродетель, я не имею надежды внушить вам его».

*

От пыток аннанской жизни Карлейль отдыхал в кругу семьи, за чтением и перепиской с друзьями. Когда Томасу было два года, Джеймс Карлейль перевез семью из старого дома в Эклфекане в другой, небольшой дом поблизости. Этот дом описан в «Сарторе Резартусе»: «... просторный крашенный дом, утопающий в фруктовых и лесных деревьях, вечнозеленых кустарниках, увитый жимолостью; яркие цветы, взбравшиеся от подстриженной травы до самых окон». Позднее, в 1815 году, видя, что работы для каменщика становятся все меньше, Джеймс взял в аренду ферму милях в двух к северо-западу от Эклфекана. Эта ферма под названием Мейнгилл («Большой холм») и стала теперь семейным гнездом. Место было высокое, голое, открытое всем ветрам, не то, что старый дом в цветах и фруктовых деревьях. Ферма имела конюшню, коровник, прачечную и маслобойню. Дом был низкий и длинный, побеленный снаружи; жилое помещение состояло из кухни и двух спален – большой и поменьше. В этих трех комнатах Джеймс и Маргарет Карлейль жили со своими семью детьми. Мы не знаем, как они помещались и где спали в этом доме, да и в старом, тоже трехкомнатном. Вероятно, родители занимали маленькую спальню вместе с младшими детьми, а старшие помещались в большой.

Однажды, приехав домой на субботу и воскресенье, Томас вызвался посидеть с больным дядей, за которым ухаживала миссис Карлейль. Ночью больной умер, и Карлейль запомнил его ярко-голубые глаза, «широко раскрытые, пока жизнь не покинула их около трех часов пополуночи». Много лет спустя его как-то спросили, не ощутил ли он в этот момент в себе ортодоксальной веры в бога, на что он ответил, что с такой верой давно уже было покончено, хотя вслух он в этом и не признавался. Кажется, его подвела память: ведь он в это время все еще числился

студентом-богословом, и ему еще полагалось учиться три года, прежде чем решить, быть ему священником или нет. Правда, в переписке Карлейля с Робертом Митчелом об их будущем призвании говорится явно без особой теплоты. Христианство, напоминал Карлейль своему другу, в своей основе «опиралось на одну лишь вероятность, и хоть она, бесспорно, велика, все же это только вероятность». Он без отвращения работал над трактатом, который требовался от начинающих священников в Эдинбурге, и его пробная проповедь на тему «Полезность скорби» заслужила одобрение профессоров. В то же время чтением он углублял свой скептицизм. В письме к Роберту Митчелу, написанном вскоре после его назначения в Аннан учителем, он сетовал на фанатический скептицизм Давида Юма и его слепую приверженность к безбожию, и это было вполне типичное письмо одного молодого богослова к другому. Но уже через несколько месяцев он признавался другу, что восхищен этим философом, который даже свои заблуждения отстаивал столь остроумно, что, право, жаль было бы увидеть его поверженным. И Карлейль с не меньшим остроумием начинал излагать свои собственные еретические идеи о том, что развитие личности, пожалуй, больше зависит от внешних причин, чем от нравственных стимулов.

Круг чтения Карлейля и в студенческие годы, и позднее по широте и характеру был просто несовместим с заурядной жизнью и взглядами скромного священника. Его интересы простирались от Шекспира (который в Эдинбурге даже не упоминался и которого философ Юм считал талантливым варваром, лишенным вкуса и образованности) до таких книг, как «Трактат об электричестве» Франклина – одной из многочисленных красных книжечек небольшого формата, которые он обнаружил в библиотеке университета. В начале его переписки с Робертом Митчелом Карлейль читал «Историю математики» Боссюэ и вел с другом споры на математические темы. Несколько месяцев спустя мы уже застаем его за чтением «Оптики» Вуда и «Принципов» Ньютона, Цицерона и Лукана, Вольтера и Фенелона; философов-идеалистов, включая и шотландца Дугалда Стюарта; множества современных писателей, начиная от Байрона и Скотта и кончая дамами-романистками. На этом фоне, «сражаясь со словарями, химическими экспериментами, шотландскими философами и метафизикой Беркли», он готовил свою вторую проповедь – «Натуральную религию», на латинском языке. Ее прочитал он тоже успешно, но радость была омрачена отсутствием Митчела, который к этому времени уже твердо решил, что не станет священником, и Карлейлю так и не удалось уговорить его приехать в Эдинбург.

За религиозными сомнениями и жаждой знаний, обуревавшими в то время Карлейля, таилась и надежда при поддержке друга начать собственную творческую работу, – одновременно и жалкая и трогательная. Он с восторгом откликнулся на предложение Митчела обмениваться научными эссе. «За темами дело не станет, – писал он. – Литературные, метафизические, математические, физические – выбирай любую». Превосходное занятие на лето. «Поскольку идея твоя, ты, конечно, не отступишь от того, что сам же предложил, а значит, будешь без промедления посылать мне свои опыты». Но, увы, в этот план всерьез верила лишь одна из сторон. Как ни старался Карлейль расшевелить своего друга сообщением, что нашел объяснение радуги, как ни приглашал его обсудить ошибки Джона Гамильтона Мура, автора «Практической навигации», считавшего, например, что «притяжение шлюпки к кораблю и корабля к скале вызвано «гравитацией, а не капиллярным притяжением, – несмотря на все старания, ленивый Митчел отвечал неаккуратно.

Почти два года Карлейль пробыл в Аннана, мучаясь неудовлетворенностью, пока его не спас все тот же добрый профессор Лесли, который вспомнил о своем бывшем ученике, когда его попросили порекомендовать учителя топографии и математики для Школы Берга в Киркольди. Снова Карлейль прошел собеседование и снова успешно: «Мало кто в его положении сумел направить свои интересы на более разнообразные предметы или приобрести более широкие познания» – таково было мнение беседовавшего с Карлейлем, представленное в совет школы. Карлейль перебрался из Аннана в Киркольди, где вскоре завязалась дружба, оказавшая глубокое и благотворное влияние на всю его жизнь.

*

Задолго до того как Карлейль оказался в Киркольди, в злосчастную пору его ученичества в Аннана, в один из больших светлых классов вошел молодой человек. Его, уроженца Аннана и бывшего ученика семинарии, знали здесь все, хотя бы по рассказам: шестнадцатилетний Эдвард Ирвинг, уже три года как студент Эдинбургского университета, держался с достоинством и уверенностью взрослого мужчины и разговаривал как с равным даже со строгим учителем английского, стариком Адамом Хоупом. Карлейль обратил внимание на этого высокого смуглого молодого человека в черном сюртуке и узких панталонах по тогдашней моде, от его слуха не укрылась некоторая нарочитость в произношении отдельных слов (или так

показалось ему, привыкшему слышать только родной диалект Аннана). Этот высокий, красивый, такой уже взрослый с виду молодой человек, так свободно болтавший с Адамом Хоупом о столичной жизни, казался нашему школьнику совершенным воплощением удачи. Или по крайней мере почти совершенным: прекрасное впечатление портило косоглазие, придававшее несколько мрачное выражение его честному и открытому лицу. Так Карлейль впервые увидел человека, который оказался «самой свободной, братской, смелой душой, с коей когда-либо соприкоснулась моя душа... лучшим из всех людей, кого я когда-либо, после долгих поисков, сумел найти». Это было сказано Карлейлем уже на закате странной и трагической жизни Ирвинга.

Их первая встреча, однако, произошла лишь через семь лет и поначалу не обещала ничего хорошего. Карлейль к тому времени уже много слышал об Ирвинге: о его выдающихся способностях, об успешной работе учителем сначала в Хэддингтоне, а затем в Киркольди. Более того, Ирвинг играючи и с блеском выдержал все богословские экзамены и начал проповедовать. Случай, происшедший с ним во время его первой проповеди, показывает его самообладание, но также дает намек на то, почему некоторые не любили его, находя, что он слишком рисуется. В самый разгар проповеди Ирвинг задел Библию, лежавшую перед ним, и листки, по которым он читал, посыпались на пол. Проповедник наклонился, свесившись через кафедру, подобрал листки, сунул небрежно в карман и продолжал говорить так же свободно, как перед этим читал по бумаге. Жест произвел впечатление, и все же было в нем что-то чересчур вольное, и не всем он пришелся по вкусу.

Впрочем, Карлейль едва ли замечал тогда эти легкие тени, омрачавшие юную славу Ирвинга. Выступив с «Натуральной религией», которая, как он писал Митчелу, «омерзительна для разума и противна для обоняния», и, встретив после этого Ирвинга в Эдинбурге в гостях у своего родственника, он отнесся с предубеждением и недоверием к этому молодому самоуверенному человеку. Когда Ирвинг стал его расспрашивать про общих знакомых в Аннанае, Карлейль почувствовал раздражение: именно от этих знакомых он старался держаться в Аннанае особняком. С первого же взгляда он отметил и «уверенность в собственном превосходстве, и привычный снисходительный тон» – словом, все то, что задевало некоторых прихожан в Киркольди. Ответы Карлейля о крестинах и свадьбах в Аннанае становились все короче, и, когда на несколько вопросов подряд он ответил «не знаю», Ирвинг заметил «резко, но без враждебности»: «Да вы, кажется, ничего не знаете». Карлейль ответил не в

меру запальчиво одной из тех тирад, которыми обычно прерывалось его угрюмое молчание: «Сэр, позвольте спросить, по какому праву вы таким способом составляете себе мнение о моих познаниях? Разве вы великий инквизитор или, может быть, вы уполномочены расспрашивать людей или допрашивать, как вам вздумается? Я не интересовался тем, сколько детей родилось в Аннанае, и мне совершенно безразлично, если они перестанут рождаться вовсе и весь Аннан вымрет!» Много лет спустя Карлейль корил себя за эту резкость и сравнивал беззлобное высокомерие Ирвинга в этом разговоре с полным отсутствием живой естественной реакции у себя. «Он – вдохновенный и многословный, я – желчный, скованный».

Такова предыстория. Вернемся теперь в Киркольди, где Карлейль, как это ни парадоксально, оказался в роли соперника Ирвинга. Успех, которым Ирвинг пользовался в качестве преподавателя в Хэддингтоне, здесь все же повторился не вполне. В Киркольди его назначили учителем в новую школу, содержали ее деловые люди, богатые лавочники, желавшие дать своим детям образование получше – не такое, как в приходской школе. Наверное, не всем лавочникам нравился этот учитель, появлявшийся по утрам в ярко-красном клетчатом сюртуке; уж конечно, не нравились им его нетрадиционные методы обучения астрономии и топографии – в поле под открытым небом; многие считали к тому же, что он слишком жестоко бьет учеников. Ирвинг проучительствовал в Киркольди три года, когда некоторые патроны школы решили реорганизовать старую приходскую школу, найти для нее подходящего учителя и послать к нему своих детей. Так появился в Киркольди Карлейль.

Менее благоприятные обстоятельства для их второй встречи вряд ли можно вообразить. Однако, встретив своего соперника, в тот момент уже назначенного в Киркольди, но еще не приступившего к своим обязанностям, Ирвинг оказал этому «желчному, скованному» учителю самый радушный прием. Двое из Аннандэля не могут жить порознь здесь, в Файфе. Его дом и все, что в доме, к услугам Карлейля. Недоверие, если и не рассеянное ласковым приемом, вконец улетучилось, когда Ирвинг привел Карлейля в комнату, где помещалось «в беспорядке и хламе, но зато большое» собрание книг, составлявшее его библиотеку, и, раскинув руки, сказал: «Всем этим можете располагать!»

Так началась дружба, которая продолжалась без единой размолвки до самой смерти Ирвинга. В нем Карлейль нашел то, что тщетно искал в Митчеле и других друзьях: с ним можно было без конца говорить на любые философские, математические, этические темы. К тому же он встретил такое же сильное, как у него самого, стремление преобразовать мир.

Карлейль уважал его искреннее и цельное религиозное чувство, восторгался его безудержной любовью к жизни. А что видел Ирвинг в Карлейле? За внешней неуклюжестью и порывистостью он, должно быть, разглядел кипучую энергию, не нашедшую еще себе применения, и широту знания, и глубину мысли, не отлившую пока в форму, но покоряющую мощью скрытых в ней сил.

Молодые люди бродили летними вечерами вдоль песчаного берега у Киркольди, разговаривая под шум моря, где «длинная волна надвигалась мягко, неотвратно и разламывалась, взрываясь постепенно, по всей длине, беззлойной, мелодичной белизной, у самых ног на пути (разлом несся словно пенная грива, с чарующим звуком приближаясь, пробегая с юга на север, всю милю от Вест-берна до гавани Киркольди)». Им ничего не стоило пройти тридцать миль за субботу и воскресенье для того только, чтобы взглянуть на работу геодезистов на холмах Ломонда. Карлейль испытал приятную зависть, наблюдая, как Ирвинг своей любезностью завоевывал расположение геодезиста: тот поначалу отвечал односложно и неохотно, но в конце концов пригласил их в палатку и разрешил посмотреть в теодолит на сигнальную отметку на вершине Бен Ломонда, на расстоянии шестидесяти миль. Вместе с ассистентом Ирвинга они предприняли путешествие на веслах на маленький глухой остров Инчикит. Там они осмотрели маяк, познакомились с его сторожем («он показался мне более утомленным жизнью, чем все смертные, которых я когда-либо знал»), его женой и детьми. Когда они пустились в обратный путь (а до дома было пять миль морем), уже была ночь, начался отлив, и дома они застали друзей в большой тревоге за их жизнь. Летом они с двумя другими учителями предприняли путешествие пешком в горы Тросакса, а оттуда через Лох Ломонд, Гринок и Глазго – на родину в Аннан. В воспоминаниях Карлейля об этих долгих прогулках, о суровом гостеприимстве людей, их легендах и полумифических воспоминаниях о былом всегда на первом плане – Ирвинг. Он был признанным капитаном во всех экспедициях: он хорошо знал эти места и людей, везде чувствовал себя как дома, беседовал ли он с пастухами, у которых они останавливались, стараясь вытянуть из них анекдоты, забавные истории из местной жизни, или вооружался дубиной, готовясь – могучего роста и широкий в плечах – защитить своих друзей от обнаглевших цыган.

По воскресеньям Карлейль часто ходил слушать проповеди Ирвинга и поражался силе, ясности и красоте его голоса, «староанглийской пуританской манере» говорить, оказавшей влияние и на язык самого Карлейля. Эмоциональность его речи, «налет бессознательного актерства»

(как в случае с упавшей рукописью) по-прежнему оскорбляли религиозные чувства некоторых его слушателей, и однажды Карлейль видел, как дверь позади тех рядов, где сидели наиболее почетные граждане Киркольди, открылась и какой-то маленький пожилой человек в ярости покинул церковь.

Ирвинг оказывал на Карлейля огромное влияние во всех отношениях, кроме религии. Ирвинг происходил из той же среды, что и Карлейль (его отец был кожевником, и, как Джеймс Карлейль, он сурово обращался с детьми), он также с ранней юности избрал своим поприщем церковь и, должно быть, с удивлением замечал в Карлейле признаки скептицизма. Обоих живо интересовали социальные вопросы, оба были стихийными, но тем не менее убежденными радикалами, хотя чувства их были смутны и выражались пока лишь в сострадании к угнетенным.

Последствия войн с Наполеоном доводили шотландских ткачей и прядильщиков хлопка до нищеты, и Ирвинг, видя их жизнь, писал домой: «Если бы мне пришлось написать отчет о моей работе среди этого беднейшего и забытого обществом класса, я бы обнаружил столько сочувствия к нему, опасного для меня, что мог бы сойти за радикалам.

Однако ни Ирвинг, ни Карлейль, ни их многочисленные единоверцы (даже отец Карлейля в конце жизни пришел к своеобразному радикализму: видя, что простому человеку год от года становится все хуже жить, и полагая, что так не может продолжаться, он верил в неизбежность больших перемен) – никто из них не имел ясных политических убеждений в том смысле, как их понимает двадцатый век. Они руководствовались чувством, а не логикой, и если бы мы попытались четко сформулировать их взгляды, они свелись бы к наивной жалобе на то, что ткачам живется плохо, хотя заслуживают они лучшего. Идея самоуправления, очевидная для всякого современного социалиста и коммуниста, им вообще не приходила в голову. Ирвинг относился к грядущим переменам проще, чем Карлейль: приняв без колебаний свой жребий проповедника, он видел перед собой одну задачу – истолковать господнюю волю в отношении этих перемен.

Не то Карлейль. Продолжая в Киркольди свои занятия, он убедился окончательно, что религиозная деятельность для него невозможна. Он не объявлял открыто о своем разрыве с церковью, но семья поняла это очень скоро. И отец и мать, несомненно, были глубоко огорчены, но оба покорились его решению, не позволив себе ни единого вопроса или упрека.

В Киркольди ему пришлось почти так же тяжело, как в Аннани. И здесь тоже он стал известен тем, что в отличие от Ирвинга умел справляться с учениками, не прибегая к розгам, но не умел зато, как

Ирвинг, возбуждать в учениках любовь к себе. Его большие горящие глаза обычно смотрели презрительно, его угрюмый вид подавлял всю школу, а слова «тупица», «чурбан», произносимые сквозь зубы, пугали учеников больше, чем любые розги. Карлейль понимал, что он не годится в учителя так же, как не годится в проповедники: «Я по-прежнему преподаю, – писал он Митчелу, – но получаю от этого столько же удовлетворения, как если бы меня заставили трепать коноплю». Утешение, как всегда, он находил в чтении. Читал жадно, проглатывая по целому тому «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббона в день, «то приходя в восторг, то испытывая отвращение от той яркости красок, которыми он рисует грубый или скудный материал, иногда утомляясь подробностью его записей, иногда радуясь их живости, часто оскорбленный их непристойностью, восторгаясь или возмущаясь едкостью его тонкой иронии» 8.

Карлейль вступил в свое третье десятилетие, но до сих пор не определил своего жизненного пути. Письма этой поры к друзьям и домой полны той наивной иронии, которая свойственна затянувшейся юности. Часто они превращаются в неуклюжие, сухие маленькие лекции по литературе или математике, в которых ясно видно его стремление к интеллектуальному общению и его желание выражать свои мысли легко и ясно, как Ирвинг. Общение с семьей происходило главным образом при посредстве писем, приезжать удавалось только в каникулы. Он старался убедить домашних, что доволен своей жизнью в Киркольди, и иногда присылал матери в подарок то косынку, то шаль. Миссис Карлейль, недавно научившаяся писать, посылала сыну письма, равно беспокоясь о его платье и о его душе. «О, Том! Берегите золотое время молодости, помни о Творце, пока ты молод... Ты уже прочел до конца Библию? Если прочел, начни сначала».

В ответ на увещевания матери Карлейль писал уклончивые письма, и за наигранной легкостью родители видели глубокое уныние и неудовлетворенность. Несомненно, они не удивились, а только укрепились в своих опасениях, когда в 1818 году по возвращении в школу после каникул сын написал отцу, что его виды на будущее в школе неважны (в Киркольди обосновался третий учитель и взял часть учеников у Ирвинга и Карлейля). Более того, он чувствовал усталость от этой работы; Ирвинг уезжал в Эдинбург, так что и друзей у него в Киркольди не оставалось. «Короче, я жду лишь твоего слова, чтобы подать в отставку к декабрю». Отец ответил, что не может ему советовать: он должен сам выбрать то, что считает для себя лучшим. Позднее Карлейль отмечал, что отец не одобрял этого шага, считая его неразумным, но проявил сдержанность и не

вмешался. Мать, которой Карлейль как раз перед этим прислал новую шляпку, отвечала в обычном духе: «Меня очень тревожит твое положение, но я всегда ищу наставления у Него, который и направит, и будет твоим руководителем, Том». Письмо кончалось так же, как все предыдущие: «Ответь мне честно, читаешь ли ты Библию каждый день, и да благословит и хранит тебя Господь».

Итак, жребий был брошен, и Карлейль вслед за Ирвингом отправился в Эдинбург искать счастья. Правда, шансы у них были неравные: у Ирвинга – друзья, определенная репутация и к тому же (если Карлейль не ошибался) несколько сот фунтов денег. Карлейль же, одинокий и никому не известный, имел за душой 85 фунтов, из которых 15 фунтов послал отцу на содержание фермы в Мейнгилле. На оставшуюся сумму он собирался прожить два года, подрабатывая частными уроками.

Длинное письмо Митчелу, написанное в напыщенном тоне и полное ученых рассуждений (в нем мимоходом упомянуты Диоген, Лукиан, Вольтер, Платон, Сабатье, Клеанф, Зенон, Эпиктет, Кеплер, Джонсон и Гиббон), ясно показывает его одиночество и разочарование. Если бы он жил в Афинах, писал он, то мог бы еще быть счастлив, как Диоген в своей бочке. Но в наше время, когда «философский энтузиазм встречает не восторг, а презрение, когда Платона разнесло бы „Эдинбургское обозрение“, а с Диогеном расправилось бы Общество по борьбе с бродяжничеством, – в такое время все это невозможно. Потому и не могу я быть педагогом». Кем же быть в таком случае? «Я думал, не стать ли мне адвокатом или инженером, но кто может оказать мне в этом помощь – не знаю». А пока: «Этой зимой займусь минералогией. Собираюсь писать для издательства. *Risum teneas*¹⁴, иногда я всерьез об этом думаю. В хорошую погоду мне иногда кажется, что есть в этой голове кое-какие мысли, некие *disjecta membra*¹⁵, которые вполне могли бы сгодиться для какого-нибудь издания, каких у нас теперь так много».

Более всего этот резкий и неуклюжий человек искал в других той теплоты и щедрого сочувствия, которые встретил в Ирвинге. «Жажда общения, которую я разделяю со всеми людьми, облечена во мне в плотную и непроницаемую оболочку – это не вульгарный *mauvaise honte*¹⁶, хотя именно так ее воспринимают, – а более глубокие чувства, частью унаследованные мною от природы, в большей же степени вызванные неопределенностью того положения в обществе, которое я до сих пор занимал».

Обрести славу, встретить сочувствие родственных душ, занять свое

место в обществе – ради этого покинул он спокойную жизнь учителя и отправился завоевывать большую жизнь, поселившись пока в убогой комнатухе в нищем квартале Эдинбурга. Через месяц после отъезда из Киркольди ему исполнилось двадцать три года.

Taken: , 1

Глава четвертая. Эдинбург

Действуй, трудись, верши! Соберись, овладей собой, найди недостающее тебе, что так мучило тебя. Томас Карлейль. Роман об Уоттоне Рейнфреде

Среди прочих несчастливых моментов жизни Карлейля в ту пору современный читатель, несомненно, заметит полное отсутствие отношений с противоположным полом. «В основном мы оставались в роли зрителей, – писал Карлейль о себе и Ирвинге в этот период жизни в Киркольди, – даже с образованными барышнями мы не завели знакомств, и это очень прискорбно». К Ирвингу это едва ли относилось: обаятельный, но хладнокровный, он имел успех у женщин. Живя в Киркольди, он завел два-три легких флирта с местными девушками и даже в конце концов оказался помолвленным с одной из своих учениц. В отношении же Карлейля это, несомненно, справедливо: с его склонностью лезть в споры он был не самым любезным собеседником. Не исключено, что Ирвинг при Карлейле намеренно воздерживался от женского общества, щадя самолюбие своего друга. Все же в последнюю осень перед отъездом Карлейля в Эдинбург Ирвинг познакомил его с одной из своих бывших учениц. Имя ее было Маргарет Гордон. Карлейля поразили ее ум, остроумие и манера держаться особняком от провинциального общества в Киркольди. Импонировало ему и то, что эта элегантная блондинка с налетом аристократизма явно была под впечатлением его саркастических выпадов и монологов.

К моменту встречи с Карлейлем Маргарет Гордон было всего двадцать лет. Она была дочерью военного хирурга по имени Александр Гордон и родилась у берегов Канады на острове Принца Эдуарда, в Новой Шотландии. Александр Гордон был женат на дочери тамошнего первого губернатора. Потерпев серию финансовых неудач, Гордон отправился из Новой Шотландии на родину, по всей видимости, в поисках небольшого дохода, но во время плавания он умер, оставив жену и четырех детей без гроша. Маргарет и ее сестру Мэри удочерила сестра доктора Гордона, Элизабет Эшер, вдова из Киркольди. Мужем Элизабет Эшер был шотландский священник, умерший через несколько лет после свадьбы и не оставивший своей вдове ничего, кроме мебели и прочего домашнего скарба. На себя и двоих детей миссис Эшер получала пенсию около 30 фунтов в год да пособие по 8 фунтов в год на каждого ребенка – из армейского благотворительного фонда. Миссис Гордон, прожив три года

вдовой, вновь вышла замуж – и снова за военного хирурга, доктора Гутри. Он позднее прославился как основатель Королевской Вестминстерской глазной больницы и президент Королевской корпорации хирургов. Примечательно, что, по всей видимости, миссис Эшер не получала денежной помощи ни от доктора Гутри, ни от его жены.

Таким образом, то аристократическое высокомерие, с которым держалась Маргарет Гордон, было чертой благоприобретенной. Она весьма гордилась своим родством с Гордонами из Лоуги в Граймонде, которые вели свою родословную еще из XI века, но сама Маргарет после пятилетнего возраста почти не покидала Киркольди, лишь ненадолго выбираясь в Эдинбург или куда-нибудь поблизости. Акварельная миниатюра, выполненная через шесть лет после ее встречи с Карлейлем, дает представление о типе ее красоты. Под огромной шляпой, украшенной страусовыми перьями, задумчивое овальное лицо в обрамлении длинных каштановых локонов, маленький рот и широко расставленные темно-синие глаза. Маргарет была высока ростом, обладала восхитительной фигурой, движения ее были изящны, лицо высокомерно, но всегда исполнено чувства.

Это была девушка, впервые заставившая Карлейля подумать о женитьбе, или – что гораздо важнее, – она первой заметила тот страстный огонь мысли, который пылал за неуклюжим фасадом. Возможно, что именно желание утвердиться в глазах Маргарет Гордон было одной из причин, побудивших Карлейля покинуть Киркольди. Впрочем, хоть это и вероятно, но все же в малой степени: и тогда и после им владела твердая вера в собственный талант, который он не считал нужным доказывать ни себе, ни другим. Тем не менее чувство к Маргарет было тем фоном, на котором протекли два первых года жизни Карлейля в Эдинбурге. Часто он навещал ее в Киркольди, но не мог не понять вскоре, что его визиты не встречают никакого одобрения со стороны тетушки Маргарет. Миссис Эшер пришлось во многом отказать себе ради двоих приемных дочерей, и ей трудно поставить в вину то, что она не пожелала увидеть одну из них замужем за этим нелюдимым школьным учителем, не помышлявшим, по-видимому, о необходимости какого-то достатка и чьи приступы красноречия пугали даже больше, чем его мрачное молчание. Рождество Карлейль и Ирвинг провели в Киркольди, и первый в это время, должно быть, виделся с Маргарет, так как он писал другу, что эти праздники были «счастливейшим событием, надолго изменившим течение моей жизни – по причинам, которых сейчас нельзя назвать».

В Эдинбурге тем временем дела шли плохо. Как мы уже знаем, он

избрал себе на ту зиму минералогию, но, прослушав две лекции у профессора Джеймсона (фигуры, весьма заметной в тогдашнем Эдинбурге) 9, Карлейль вынес ему уничтожающий приговор: «Он – один из тех людей, чей разум совершенно задавлен памятью. Лишенный научной точности, равно как и ясного понимания вещей, он перечисляет бездну подробностей, причем его толкование столь же случайно, как и подбор самих фактов. Вчера он объяснял нам цвет атмосферы, исходя из таких принципов, которые показывают его полное незнание диоптрики. У него я могу только надеяться выучить внешние свойства минералов».

С минералогией было вскоре покончено; прошло еще несколько месяцев, на протяжении которых он не брался ни за инженерное дело, ни за юриспруденцию. Вместо этого он читал книги, не следуя никакому плану, а поглощая все подряд, как голодный – пищу. В свободное от чтения время он изучал итальянский и немецкий языки; книга «О Германии» мадам де Сталь, прочитанная им в Киркольди, пробудила в нем интерес к немецкой культуре, к тому же именно в Германии один из знакомых сулил ему найти то, что он ищет.

Что, собственно, он искал? Вряд ли ему самому это было известно. Логический ум Карлейля отверг христианство, но вне его он нуждался в основе для веры столь же прочной, как христианская вера его отца и Ирвинга. Поиск духовной истины он считал единственной достойной целью. Одно сознание столь высокой цели может облечь человека в тогу самодовольной добродетели, а это вряд ли заслужит ему расположение окружающих. Так и Карлейль, посетив одно из заседаний Королевского научного общества, отметил с презрением, что у его членов одна забота: доказать, что «такой-то обломок камня, пожалуй, нельзя... отнести к стильбитам». То же происходило и на завтраках, которые Ирвинг устраивал для интеллектуалов Эдинбурга: Карлейль с такой легкостью разбивал самые твердые их представления, что возбуждал к себе всеобщую неприязнь. «Твоя манера говорить, – писал ему Ирвинг, – пожалуй, неудачна. Она убеждает, но не пробуждает сочувствия и лишь у немногих (среди которых я отвожу место и для себя) вызывает интерес».

Карлейль отправился к профессору Лесли, который уже дважды рекомендовал его на место – в Аннанде и в Киркольди. На этот раз, устав, очевидно, от этого назойливого типа, он посоветовал ему выучиться на инженера и ехать в Америку. У Карлейля было еще рекомендательное письмо к доктору Брюстеру – тому самому будущему сэру Дэвиду Брюстеру, который был патроном Эдинбургского университета, когда Карлейль вступал в должность ректора. А в те далекие времена Брюстер

редактировал Эдинбургскую энциклопедию, которая дошла тогда до буквы М. В ней-то Карлейль и надеялся получить работу. Но его любезно приняли, письмо взяли, а о работе – ни слова.

Пытаясь продержаться на частных уроках, Карлейль занимался с учениками по три часа ежедневно, с каждым за две гиней в месяц. Он преподавал астрономию молодому офицеру Ост-Индской компании, геометрию – одному старичку, с которым рассуждал о Ньюtone и натурфилософии. Эти два урока он получил по рекомендации Ирвинга. Со старичком они занимались с 8 до 9 часов утра; Карлейль обычно шел пешком милью до его дома, а после урока проделывал тот же путь обратно и завтракал овсянкой. Затем отправлялся к офицеру и занимался с ним до полудня. После этого он возвращался домой и читал до двух часов. Потом на час уходил на занятия натурфилософией, после чего он съедал свой скудный обед и читал до полуночи. «Так выглядит моя жизнь, – писал он матери. – И, несмотря на то, что она в большей степени состоит из ожидания и злых предчувствий, я вовсе не тягочусь ею».

Мать, однако, в первую очередь пеклась о благополучии его души, в практических же вопросах, как она полагала, «о тебе позаботится Он – так, как сочтет нужным». А вот читает ли он ежедневно Библию? Карлейль признавался, что делает это «не очень регулярно», но старался успокоить ее ласковым тоном, который почти всегда неотразимо действовал на тех, кого он любил: «Прошу тебя, верь, что я искренне стремлюсь к добру; и если мы и расходимся с тобой в некоторых маловажных частностях, то все же я твердо верю, что та же Сила, которая сотворила нас со всеми нашими несовершенствами, простит каждому его заблуждения (кто не заблуждается?) за то, что он с чистым сердцем ищет истины и справедливости».

В том же письме он выражал намерение погостить в Мейнгилле «в сопровождении груза книг, итальянских, немецких и прочих», а также писал, что он читает Д'Аламбера, «одного из тех немногих, кто заслуживает звания честного человека». Миссис Карлейль, не слышавшая никогда о Д'Аламбере и не имевшая понятия об опасном рационализме французских философов, все же почувствовала смутную тревогу. «Господь сотворил человека по своему образу, и потому он не должен иметь недостатков, – писала она. – Остерегайся таких мыслей, сынок, не давай им завладеть твоим разумом».

«Не думай только, что я раздражен», – писал Томас матери, но когда он приехал в Мейнгилл на лето после полугода, проведенного в Эдинбурге, то оказалось, что слово «раздражен» слишком слабо для того, чтобы передать

состояние его духа. Единственной работой, которую он сумел раздобыть, были переводы нескольких статей – по химии, что-то о магнетизме, о кристаллографии, – полученных им от доктора Брюстера; к тому же миссис Эшер к этому времени уже достаточно ясно показала свое недовольство им, хотя, как именно это произошло, мы не знаем, поскольку переписка тех месяцев между Маргарет и Карлейлем не сохранилась. Вдобавок ко всему, в это время у него начались боли в желудке, которые он называл диспепсией и которые с небольшими перерывами продолжались у него всю жизнь. Часто он не мог заснуть или просыпался среди ночи от боли.

Разбитый физически и морально, он бродил в окрестностях Аннана, предаваясь мрачным мыслям. Он уже подумывал и впрямь последовать совету Лесли и покинуть Англию; среди книг, переправленных им на лето в Мейнгилл, была одна, озаглавленная «Америка и ее возможности». Но в то лето даже чтение было ему не по силам; забросив книги, он бродил в одиночестве, и его мысли металась между беспочвенными надеждами и какой-то ослиной, тупой покорностью. Он описывал свое безделье в письме к Митчелу и добавлял иронически: «Видел ли ты более поучительный образ жизни?» Ирвинг советовал другу: «Впитывай в себя мягкую красоту деревенской природы, искренность деревенского обхождения, довольство деревенской жизни – все те сильные впечатления от природы и людей, которые уже знакомы твоей Душе», но Карлейлю от этих советов было мало проку.

Через месяц или два после этого письма в Аннан приехал и сам Ирвинг с новостью: его приглашали в Глазго ассистентом к доктору Чалмерзу, известнейшему проповеднику своего времени, верившему в то, что «если страх перед адом способен держать толпу в узде, то чем больше внушишь ей этого страха – тем лучше». Тридцать миль – часть пути – Карлейль пешком провожал Ирвинга, и при расставании он не мог не сравнить радужные планы своего друга, его прочное место в жизни со своим горьким ощущением напрасно потраченных лет. В Глазго Ирвинг, с его склонностью к внешним эффектам, с его неумным красноречием и пафосом, с его смуглой красотой и жутковатым взглядом косящих глаз, мгновенно завоевал успех. Многие из прихожан доктора Чалмерза принимали его за бандита или вождя горцев, а кое-кто считал его бывшим кавалерийским офицером. О нем ходили разные слухи вроде того, что однажды он сорвал с нетель церковную дверь, когда его без достаточного основания не хотели впускать. Его сочувствие нищим ткачам вызывало ответную симпатию, а его торжественный голос, когда он говорил при входе в их несчастные хижинки «Мир дому сему!», повергал их в

священный ужас перед загадочностью этого пророчества.

Успех Ирвинга, как Карлейль ему ни радовался, заставлял его еще яснее осознать собственную неудачу. К тому же он не мог не понимать, сколько горя он причиняет семье: когда десятеро живут в трех комнатах, гармония между ними особенно необходима. Проведя полгода в Мейнгилле в мучительных сомнениях, он возвратился в Эдинбург и поступил с отчаяния (без всякого преувеличения) на курс шотландского права. Быть может, сделав так, он мысленно отказался от всяких литературных планов и желал сделать такой выбор, который должна была одобрить даже миссис Эшер; наверняка Карлейль, прежде чем окончательно (как он думал) решиться на этот шаг, ходил в Файф повидаться с Маргарет Гордон и «сухопарой важной старушенцией», которая «изъяснялась очень витиевато на абердинском диалекте», как он писал о ней впоследствии.

Итак, он порвал с литературой и без гроша в кармане взялся за дело, которого, как он сам говорил за несколько месяцев до этого, без нескольких сотен фунтов и начинать не стоит. Но с честолюбием трудно спорить. С самого начала интерес Карлейля к юриспруденции формулировался чисто негативно: «Я предвижу, что не буду испытывать ненависти к этой науке, – писал он Митчелу. – Если не подведет здоровье, я буду относиться к ней со всей той страстью, которую возбуждает любая возможность (как бы сомнительна она ни была) постоянного приложения моих сил. Я, кроме того, заставлю себя изучить нашу историю, древности, обычаи и прочее – словом, то, к чему я испытываю одно лишь отвращение». Вряд ли можно яснее выразить полное равнодушие к предмету: и действительно, вскоре Карлейль уже с презрением отзывался о лекторе-правоведе и мрачно намекал в письме к матери, что его успех «целиком будет зависеть от некоторых обстоятельств». Менее чем через четыре месяца он писал Митчелу: «Боюсь, что с правом покончено – одни нелепости и крючкотворство»; другому своему приятелю, Джеймсу Джонстоуну, он рассказывал о том, как нестерпимо скучно заучивать «бесконечные подробности о вещах, не представляющих ни малейшей важности ни для кого, кроме нотариуса или судебного чиновника; рассуждения о таможенных правилах, которые следовало бы немедленно и навсегда отменить; бесчисленные случаи с болваном А против болвана В».

Решение бросить занятия правом имело и причину личного, эмоционального порядка. Так же как Карлейль начал свои занятия в надежде заслужить расположение миссис Эшер и руку Маргарет Гордон, так же точно он и бросил их, как только ему окончательно дали понять, что она никогда не станет его женой. Любопытно, что сохранилось очень мало

свидетельств об отношениях Карлейля и Маргарет Гордон, при том, что в общем его жизнь хорошо документирована: намеки в воспоминаниях самого Карлейля, написанных почти сорок лет спустя, и два письма от Маргарет Гордон – вот почти все, что можно считать вполне достоверным. Карлейль признается в воспоминаниях, что дружба с ней «вполне могла бы стать чем-то большим, пожелай этого она, и ее тетка, и наши денежные и прочие обстоятельства!». В таком случае любила ли Маргарет Гордон Карлейля? Этого мы никогда не узнаем; некоторые свидетельства есть в писаниях самого Карлейля, которые, хотя бы и с оговоркой, стоит все же положить на весы.

Первая крупная литературная работа Карлейля называлась «Роман об Уоттоне Рейнфреде». Она имела форму романа, но с отступлениями философского характера. Карлейль бросил ее, написав около 30 тысяч слов. Многое в книге явно автобиографично; Карлейль изображен в роли Уоттона Рейнфреда, а героиня, Джейн Монтагю, является приемной дочерью своей бедной, но гордой и решительной тетки, которая «возлагает большие надежды на свою племянницу» и не признает Уоттона в качестве претендента на ее руку.

В марте 1820 года (занятия правом он начал в ноябре предыдущего года) Карлейль побывал в Киркольди и узнал от Маргарет, что она уезжает жить в Лондон к матери и отчиму. Такая же сцена описана и в «Уоттоне Рейнфреде», когда Джейн просит Уоттона больше не приезжать к ней. «Человек, от которого она всецело зависела, пожелал этого, и она может лишь подчиниться». Уоттон требует объяснения, в котором ему отказывают, и в конце концов, разгневанный, прощается. После этого: «Она вложила свою руку в его; она посмотрела ему в лицо, слезы навернулись у нее на глаза, но она отвернулась, быстро пожала его руку и сквозь рыдания прошептала едва слышно: „Прощай“. Обезумев, он приблизился к ней; его руки поднялись было, чтобы обнять ее, но, отступив назад, она обратила к нему рыдающее лицо – лицо, полное гнева, любви и муки. Медленным движением она просила его удалиться».

Вымысел, но, возможно, имеющий отношение к реальным событиям. 4 июня Маргарет Гордон писала Карлейлю, благодаря его за посещение в Киркольди и прося извинения за то, что не поблагодарила лично: «Но вы знаете причину, которая была этому препятствием. Если бы ваше посещение было всего лишь данью хорошему тону, как все те визиты мужчин, к которым я привыкла, я не считала бы себя обязанной и не говорила бы об этом». Этот визит, по ее словам, «был не только доказательством вашего благородного триумфа над слабостью (простите

мне это выражение), но и знаком того, что вы по-прежнему считаете меня достойной того уважения, которым ранее оказали мне честь». Она сообщала, что предполагает пробыть в Лондоне год, и выражала надежду на то, что он не изменит своему истинному предназначению. «Верно, что жизнь полна трудностей, и в ней немного радует; все же это борьба, в которой лишь такие умы, как ваш, должны побеждать. Подъем тяжел, зато как сияет славой вершина! Направьте глаза к концу путешествия, и вы начнете забывать о тяготах пути». Так, «пользуясь нравом друга или, даже хотелось бы сказать, сестры, возможно, в последний раз обращающейся к вам», Маргарет Гордон заканчивала свое письмо.

Неудивительно, что, получив его, Карлейль не удержался от ответного письма, по всей видимости, довольно страстного: ее ответ на него начинается словами: «Как же вы рисковали, посылая ваше письмо». Он окончательно убедил Карлейля в бесплодности надежд. Маргарет отказывалась переписываться с ним, так как переписка поощряла бы «ту слабость, устранить которую я положила себе целью». Она жаждет знать о его судьбе, «но (не сочтите меня слишком суровой) из других источников». Это письмо, на редкость трезвое и хладнокровное для двадцатидвухлетней девушки, заканчивалось рассуждениями, столь же неудобоваримыми для Карлейля, сколь они были верны: «А теперь, мой дорогой друг, надолго, надолго прощайте. Только один совет – прощальный, а потому храните его: развивайте добрые свойства вашего сердца, заглушайте сумасбродные фантазии рассудка. Со временем ваши таланты будут признаны, среди ваших знакомых они уже сейчас встречают изумление и восторг; оценят их и те, чье мнение имеет силу. Ваш талант снискает вам величие. Так пусть же ваша добродетель заслужит вам любовь! Добротой и мягкостью устраните ту ужасную бездну, которая отделяет вас от простых людей; будьте к ним снисходительны – и вы заслужите и их уважение, и любовь. Зачем скрывать то доброе, что есть в вашем сердце? Я отважилась дать вам этот совет из страха за ваше будущее и желала бы подкрепить его всей искренностью моей дружбы. „Освещайте путь людям“ и не сочтите их недостойными вашей заботы. За это вы будете вознаграждены. Как, должно быть, радостно жить, будучи любимым всеми. Итак, прощайте. Простите мне мою вольность и вспоминайте обо мне как о сестре, для которой ваше счастье всегда будет радостью, а ваше горе – печалью.

С искренним расположением ваша Маргарет Гордон».

На полях первой страницы приписано с обнадеживающей неопределенностью: «Не сообщаю моего адреса, так как не смею обещать вам свидания».

Через несколько дней после того Маргарет Гордой уехала в Лондон, причем в Глазго ее провожал на корабль... Ирвинг! Ибо и его чуткое сердце, уже связанное помолвкой в Киркольди, тронули прелести Маргарет. А после ее отъезда в Лондон Карлейль получил от Ирвинга письмо, наверняка вонзившее нож в рану, нанесенную разлукой с ней. Ирвинг подробно рассказывал о приятном времени, проведенном в прогулке – «как ты думаешь, с какой юной девой? С той, чье имя волнует тебя так же, как и меня, с той, которой я очень горжусь и в которую почти влюблен – „Но враждебные Парки воспрепятствовали“ – с Маргарет Гордон». С присущей ему страстью к риторике Ирвинг добавляет: «Такого счастья моему сердцу более не испытать: его краткий миг остался в моем прошлом, как священный алтарь в пустыне, как волшебная страна, затерянная среди дикой глуши».

Обосновавшись в Лондоне, Маргарет стала свысока смотреть на своих друзей из Киркольди. Когда Ирвинг навестил ее спустя полтора года, Маргарет обращалась с ним как с провинциалом, которому нужно дать ясно понять, как он смешон. По его словам, она была достаточно любезна, но все же у него не возникло желания повторить свой визит. Несмотря на некоторую аффектированность в одежде и манере держаться, Ирвинг обладал душевной простотой и искренностью и с грустью заметил по поводу этой последней встречи: «Как видно, я не владею искусством хорошего тона».

В 1824 году Маргарет Гордон вышла замуж за банкира, виноторговца и промышленника из Абердина, на десять лет старше ее, по имени Александр Бэннерман. Впоследствии Бэннерман был посвящен в рыцарство и назначен губернатором на остров Принца Эдуарда, и его жена, таким образом, имела удовольствие возвратиться в качестве губернаторши на тот самый остров, который ее отец покинул в самый несчастный момент своей жизни, когда она была маленькой девочкой. С годами она не утратила высокомерия. Когда в ее присутствии делалось какое-либо грубое замечание, она медленно поднимала голову, закрывая глаза и не говоря ни слова, но таким образом, что все пугались этого жеста. А приехав на Багамские острова, куда ее муж был переведен на тот же пост губернатора, она нанесла всем глубокое оскорбление, наведя лорнет на близлежащие дома и сказав: «Какой колониальный вид!» В то время она чаще вспоминала Ирвинга, чем Карлейля, и никогда не рассказывала друзьям о своем романе с самым знаменитым из шотландцев.

Карлейль больше не разговаривал с ней после их прощания в Киркольди, но видел ее дважды лет двадцать спустя. В первый раз он

встретил ее на Пиккадилли вместе с горничной; она, кажется, его не заметила; но во второй раз они столкнулись лицом к лицу, катаясь верхом в Гайд-парке, и «ее глаза (и только) сказали мне грустно: „Да, да, это ты!“

*

Тем временем удалось наконец раздобыть работу у доктора Брюстера. Требовалось написать биографии для Эдинбургской энциклопедии – вместо Томаса Кэмпбелла, который делал эту работу раньше. Как мы уже знаем, энциклопедия дошла уже до буквы М, а значит, предстояло написать о Монтене, Монтескье, Нидерландах, о Вильяме Питте. Карлейль подошел к делу с большим старанием, как может убедиться всякий, кто не поленится заглянуть и прочесть статьи, написанные слогом, явно заимствованным у доктора Джонсона, но не столь мощным и выразительным.

При его весьма скромном образе жизни даже небольших доходов от такой работы и частных уроков вполне хватало на то, чтобы прожить в Эдинбурге. Тем не менее после разрыва с Маргарет Гордон наступило заметное ухудшение и в здоровье, и в состоянии духа. В письме к брату Джону, который в то время уже преподавал в Аннانه и проявлял склонности к литературе, Карлейль убеждал его ни в коем случае «не вступать в эту безнадежную игру с судьбой, которую затеял я, пожертвовав и здоровьем, и душевным спокойствием ради призрачной амбиции». Он рекомендовал Джону именно те два поприща, от которых отказался сам, а именно церковь или учительство, прибавив к ним еще медицину. Главное, уверял он, состоит в том, чтобы выбрать себе профессию. Он щедро предлагал помощь из своих маленьких сбережений Джону и другому брату, Алеку, не проявлявшему, впрочем, научных склонностей. В других письмах домой он сетует! «Хоть бы на один день вернуть себе то здоровье и ту бодрость духа, которые были у меня в старые времена!» – и описывает свои длинные, тощие, бледные пальцы, худое, осунувшееся лицо, свое отчаяние когда-либо найти дело по себе. Эти периоды отвращения к самому себе сменялись иными, когда он с гневом ощущал в себе свой гибнущий талант. Тогда он чувствовал свое отличие от остальных людей, свое превосходство над ними. И тогда он клялся себе, что, если суждено ему когда-либо выбраться из этой трясины, в которой он так безнадежно погряз, «я заставлю кое-кого расступиться передо мной – или я совсем не знаю себя». Страстное стремление к самовыражению, сочетающееся с комплексами, делавшими это самовыражение невозможным, осознание своих громадных

творческих сил и парализовавшие эти силы предрассудки детства, сохраненные памятью, но не осмысленные до конца разумом, – вот те крайности, которые он тщетно старался примирить.

Его мысли в то время были постоянно заняты положением в Англии и будущим человечества, причем они отмечены много более острым радикализмом, чем его поздние опубликованные труды. Вокруг себя он видел нищету, обездоленность, протест, обреченный на неудачу. Он знал о событиях в Питерлоо, и его сочувствие было всецело на стороне рабочих: «Состоятельные бюргеры и прочие приверженцы существующего порядка упражняются в вооруженном подавлении воображаемого восстания со стороны низших слоев», – с сарказмом писал он брату Джону. А по поводу провалившегося заговора на улице Катона с целью убийства ряда министров он писал, что, как ни ужасна сама идея такого убийства, все же зародыш этих заговоров – в безразличии или издевательстве со стороны правительства. Кучки людей, бродящие повсюду в поисках пищи, вызывали его живейшее сочувствие, и он был глубоко потрясен судьбой одного башмачника из Эклфекана, который, приехав в Глазго за кожей, встретил своих единомышленников-радикалов и объявил себя «делегатом от Эклфекана», за что был тут же посажен в тюрьму. Он считал, что если времена не переменятся, то «скоро весь народ двинется в радикалы». Карлейль и Ирвинг были единомышленны в том, что, как писал Карлейль позднее, «восстание против такого нагромождения лжи, лицемерия и пустого формализма станет когда-нибудь неизбежным», и эта мысль «казалась столь дерзновенной и радостной им, молодым, для которых бунт, восстание всегда представляется легким делом».

Размышляя над характером недомогания, которым Карлейль мучился всю жизнь, мы сталкиваемся с любопытным фактом, на который, впрочем, до сих пор не обращалось внимания: что Карлейль, по всей видимости, никогда не испытывал боли в обществе других. В подробных описаниях его жизни и привычек, составленных многочисленными последователями Бозвелла, практически нет упоминания о таком случае, чтобы Карлейль оставил компанию из-за своей болезни или даже жаловался бы на боль в присутствии других. Стоицизмом это не было, поскольку он достаточно часто жаловался на прошлые мучения и с ужасом думал о муках, ожидающих его в будущем. Самым простым было бы предположить, что боли в буквальном, физическом смысле он никогда не испытывал. Даже во время тягостного путешествия в Эдинбург па церемонию посвящения в ректоры он говорил Тиндалю, что не переживет другой такой ночи, но ни слова о боли, испытываемой им в тот момент.

Это вовсе не значит, что муки его были воображаемыми. Они, напротив, были вполне реальны, но природа их была не столько физической, сколько психической. Недомогание, которым он страдал, в наше время, очевидно, определили бы как функциональное расстройство желудка, вызванное многочисленными неудовлетворенными потребностями – потребностью любить, потребностью писать, потребностью признания его таланта. Эта неудовлетворенность была очень глубокой и укоренилась задолго до того, как были устранены ее непосредственные причины. Вызванные ею физические расстройства было тем труднее вылечить, что Карлейль с одиннадцатилетнего возраста приучился курить табак и вредил своему желудку ежедневным употреблением касторки.

Этот диагноз подтверждается письмами самого Карлейля. Например, в то время, о котором идет речь в этой главе, он отвечал Ирвингу (не желавшему верить, что здоровье его друга так уж плохо), выражаясь столь же страстно, сколь и неопределенно: «Ты не веришь в ужасающее состояние моего здоровья. Молюсь от всей души, чтоб ты никогда в это не поверил. Я был когда-то таким же скептиком. Подобные расстройства – худшее из бедствий, которые жизнь уготовила смертным. Телесные муки ничто или почти ничто – зато какой урон достоинству человека! Здесь нет конца несчастьям. Никаких душевных сил тут не хватит; эта хворь самую силу твою обратит против тебя; она убивает всякую мысль в твоей голове, всякое чувство в твоём сердце – и при том удваивает мерзость твоего состояния тем, что заставляет тебя к нему прислушиваться. О! – О, какие долгие, одинокие бессонные ночи провел я, считая удары моего больного сердца – пока окружающий меня мрак не заполонит, кажется, все мое сознание, и я уже ни о чем не могу вспомнить, ничего подумать! Все великолепие мироздания словно стерто, бесконечность пространства заполнена серым, грязным, зловещим смрадом. Я стоял один посреди вселенной, и словно раскаленный железный обруч сжимал мне душу, изгоняя из нее всякое чувство, кроме тупого, холодного ожесточения, больше подходящего злему демону в его изгнании, нежели человеку, живущему среди людей!»

Спасения от бессонницы, от телесных неудобств и душевных мучений Карлейль, как всегда, искал в чтении. Он и в самом деле нашел многое из того, что искал, или, вернее, много такого, что отвечало его духовным потребностям, у Гете и Шиллера. Теперь он навещал Ирвинга в Глазго для того, чтобы подолгу говорить с ним об этих новых литературных кумирах и чтобы обсудить состояние, в которое пришел современный мир.

Больной, разбитый Карлейль заставлял своего друга еще более тщательно одетым и более похожим на священника, чем в прошлом: он ходил теперь в длинной черной рясе и в черной шляпе с широкими полями. Он был в восторге от своей работы в церкви св. Иоанна. Это был самый нищий приход в Глазго, и Чалмерз выбрал его для того, чтобы продемонстрировать силу церкви в борьбе с пауперизмом. По тому времени приход церкви св. Иоанна должен был кишеть пауперами, но благодаря деятельности Чалмерза бедняки прихода получали все необходимое от церкви. В этом и заключалась работа Ирвинга: он ходил по домам ткачей и заводских рабочих, преодолевая их недоверие к церкви, уговаривая их отдавать своих детей в школы, которые строились для них. Жизнерадостный Ирвинг не склонен был принимать всерьез пессимизм Карлейля. По его мнению, невозможно было представить, чтобы такой талант, как у Карлейля, не пробил бы себе дороги, и он говорил, то ли шутя, то ли всерьез, что «однажды мы пожмем друг другу руки, стоя на разных берегах ручья: ты – первый в литературе, я – первый в церкви, – и люди скажут: „Они оба из Аннандэля. Где это, Аннандэль?“

В Глазго Карлейль с насмешкой замечал, что сверкающие плешью или седовласые почтенные шотландские купцы и благородные джентльмены занимаются сплетнями или чтением газет, в то время как основы их благополучия прогнивают с неумолимой быстротой – в последнем суровый, но косноязычный пророк не сомневался. Он встречал местных философов у Ирвинга в его просторной комнате на нижнем этаже. Все они оказались добродушными людьми, «не столь уж философичными с виду». Он не обошел вниманием местных барышень и ходил к ним, как и к пожилым джентльменам, по утрам с визитами. Дважды он встречался с великим Чалмерзом. В первый раз это произошло на завтраке, Чалмерз был с ним вежливо-рассеян. Карлейль отметил налет грусти на лице и в глазах Чалмерза и заключил из этого, что великий проповедник мыслями был в тот момент где-то далеко. Вторая встреча произошла на торжественном званом вечере. На этот раз Ирвинг, вероятно, успел отрекомендовать Карлейля как весьма выдающегося молодого человека, к тому же сомневающегося в истинности христианских догм, потому что Чалмерз попытался завести с ним разговор. Пододвинув свой стул поближе к Карлейлю, ученый муж начал с серьезным видом обосновывать истинность христианства тем, что оно столь явно отвечает потребностям человеческой природы. Христианская вера была, по его выражению, как бы записана симпатическими чернилами. Библия же лишь сделала зримым то, что было и так очевидно для разума. Карлейль слушал, как ему казалось, очень

почтительно, но, возможно, почтительности все же недоставало, потому что Чалмерз остался им недоволен. «Этот паренек, – сказал он, – очень любит умничать и вовсе не любит истину».

В один из таких приездов Карлейль открыл перед Ирвингом всю глубину и серьезность своих сомнений. Как уже стало у них обычаем, Ирвинг провожал Карлейля часть его пути, пройдя с ним миль пятнадцать до самого Драмклога в Ренфрьюшире, и собирался повернуть назад, с тем чтобы Карлейль уже в одиночестве преодолел остававшиеся ему 10 миль до Мюркерка. Карлейль дает запоминающееся описание этой сцены в своих «Воспоминаниях»: кругом тишина, пустынная бурая болотистая равнина, высохший вереск и внезапно попадающиеся на пути ямы, превращающиеся зимой в топи. Разговор, как вспоминал Карлейль, с каждым часом становился все более задушевым и волнующим. Когда солнце начало заходить, они остановились, прислонясь к каменной ограде, продолжая говорить. И тут Ирвинг «буквально вытянул из меня понемногу, так мягко, как только можно было, признание о том, что я не разделял его взглядов на христианскую религию, и напрасно было бы этого от меня ожидать или требовать». Признание не вызвало у Ирвинга шока: по воспоминаниям Карлейля, Ирвинг выслушал его, как старший брат, и с заходом солнца повернул в далекий обратный путь.

Личность Карлейля, насколько нам удалось ее здесь представить, покажется современному читателю весьма противоречивой. Убежденность в собственном превосходстве, сочетающаяся с неспособностью его проявить; внутренние устремления, в лучшем случае смутные, в худшем же – просто нелепые; горячее сердце, скрывающееся за манерой, одновременно и дерзкой и неуклюжей, – все эти несуразности можно принять, только зная о том великом и благородном итоге, к которому они вели. Современный читатель скорее всего не сразу почувствует симпатию к Карлейлю, однако, вынося свое суждение о нем, он должен принять во внимание спрятанные за внешним неуклюжим фасадом и щедрость природы, и потребность любить, и стремление создать для людей лучший, более справедливый миропорядок и не должен забывать, сколь реальны были его физические страдания, каково бы ни было их происхождение. «Сердце просит хоть какого-нибудь сочувствия», – писал он брату Джону, и этот крик Души, лишь однажды вырвавшийся у него, уже этим трогает нас.

На двадцать шестом году жизни он нашел наконец если и не сочувствие, то по крайней мере возможность употребить часть нерастраченного идеализма души. В мае 1821 года Ирвинг приехал в Эдинбург, чтобы повидать своего Друга, и застал его, как обычно, в

угнетенном состоянии духа. Ирвинг предложил прогулку в Хэддингтон, где он в юности столь успешно начал учительствовать. Погода была чудесной, и за время шестнадцатимильной прогулки Карлейль немного повеселел. «Вот и все, что я помню о путешествии, – писал он позднее. – Однако то, чем оно окончилось, и то, что я там нашел, будет мне памятно, покуда останется во мне жизнь или мысль».

Taken: , 1

Глава пятая. От Джейн Бейли Уэлш...

Господин Карлейль пробыл у нас два дня, большую часть времени мы читали с ним по-немецки. Какой благородный язык! Я делаю огромные успехи. Он ужасно поцарапал каминную решетку. Нужно мне к следующему разу приготовить для него пару мягких туфель и наручники. На свободе следует оставить только его язык: все остальные его члены просто фантастически неуклюжи.

Из писем Джейн Бейли Уэлш, 1822

По мнению Ирвинга, Карлейль вел слишком уединенный образ жизни; поэтому, отчасти имея в виду пользу друга, он обошел с ним в Хэддингтоне всех друзей и знакомых, кого только мог. В поисках подходящей компании они навестили и местного священника, у которого была дочь Огаста («высокая, воздушная, хорошо сложенная хохотушка, но круглая дурочка», сказал о ней Карлейль), а также дом госпожи Уэлш, вдовы местного доктора. В гостиной этого дома Карлейль и увидел впервые Джейн Бейли Уэлш.

Карлейль описывает эту гостиную со всем присущим ему талантом вызывать к жизни прошлое. По его словам, это была самая красивая комната, в какой он когда-либо бывал: во всем добротность, порядок и чистота, только на столе, «пожалуй, избыток всяких изящных побрякушек». Но в то время он вряд ли обратил на все это много внимания: он был слишком очарован внешностью, словами и несомненным умом дочери госпожи Уэлш.

Джейн Бейли Уэлш тогда не исполнилось еще двадцати лет. Она была среднего роста, изящно сложена, с белой кожей, слегка вздернутым носиком, большими красивыми темными глазами, чаще смотревшими насмешливо, чем нежно, и копной вьющихся черных волос над широким белым лбом. Ее считали красивой, хотя по обычным меркам ей, пожалуй, недоставало для этого правильности черт. Зато в разговоре она положительно пленяла живостью ума и одухотворенностью. Очень начитанная, умная, остроумная, чувствительная, она все же при всем самоуверенном лукавстве, иногда даже дерзости, явно робела перед более

сильным умом.

Она мечтала о собственной славе, но с радостью приняла бы роль спутницы жизни гениального мужа. Гениального и, следует добавить, не чуждого чувствительности: среди ее кумиров были Байрон и Руссо, и она полусуто говорила, что выйдет замуж за какого-нибудь Вольмара или Сен-Пре. У этой острой на язык и привлекательной провинциальной обольстительницы было уже немало претендентов на руку, и она беспощадно высмеивала их оплошности в письмах к своей эдинбургской подруге Бэсс Стодарт. Был среди них джентльмен, который имел обыкновение перед обедом исчезать в гостинице Джорджа и «выплывать оттуда вновь во всем великолепии двух жилетов – один из тисненого бархата, другой из небесно-голубого атласа, – в тончайших шелковых чулках и сафьяновых туфлях». В таком облачении он сидел и рассказывал госпоже Уэлш и ее дочери о званом вечере, на котором побывал накануне... Был тут и местный врач, и сын преуспевающего инженера... А теперь к этой свите прибавился еще и Томас Карлейль. Не нужно даже особенно сочувствовать Карлейлю, чтобы признать, что ему, с его неуклюжей серьезностью, с его склонностью к пространным рассуждениям, должно было прийтись здесь несладко.

Карлейль с Ирвингом провели в Хэддингтоне три или четыре дня, причем остановились в той же гостинице Джорджа. Они часто навещали дом госпожи Уэлш, и Карлейль, наверно, помня о своем неуспехе у тетушки Маргарет Гордон, подолгу беседовал с госпожой Уэлш, предоставляя Ирвингу занимать Джейн (Ирвинг в прошлом был ее учителем). Грейс Уэлш обладала высоким ростом и красотой; с ней Карлейль легко находил темы для разговоров, однако впоследствии он считал ее взбалмошной и капризной. Теперь же, разговаривая с матерью, он чувствовал на себе испытующий взгляд дочери. Он с первой же встречи влюбился в нее. Когда друзья в тот вечер возвратились к себе в гостиницу, Карлейль в шутку спросил Ирвинга, что бы он взял, если бы женился на мисс Огасте, на что Ирвинг ответил таким же вопросом: «А что бы взял ты, если б женился на мисс Дженни, как ты думаешь?» Карлейль ответил: «Ха, тут меня, кажется, нетрудно было бы уговорить!» С такими мыслями он и возвратился в Эдинбург и описал это счастливое путешествие в письме брату Алеку. «Я вернулся переполненным радостью настолько, что с тех пор не могу ничего делать, кроме как мечтать о ней».

И он принялся обращать свою мечту в действительность. Он условился с Джейн, что будет руководить ее занятиями немецким языком и в целом следить за ее чтением. Все это давало прекрасный повод написать

письмо. Повод-то давало, но не для такого письма, какое Карлейль послал ей с книгой мадам де Сталь «О Германии» и стихами Мильтона. Стиль его писем за последние два или три года стал заметно более свободным и естественным, но тут он снова впал в свою педантичную манеру, спрашивая ее, не «соизволила ли она хотя бы раз окинуть взором своей памяти те краткие райские часы, проведенные вместе столь недавно», и предлагая приехать в Хэддингтон и прочесть ей «такую лекцию о германских корнях, какой она никогда не слыхала». Может быть, так и подобает выражаться учителю, но как оправдать неловкие попытки добиться близости в письме, начинающемся словами «Мой дорогой друг» и называющем ее то «леди Джейн», то просто «Джейн»? «Мне положительно необходимо увидеть Вас скоро – или я приду в совершенно безумное состояние. Если я приду открыто для того, чтобы увидеть Джейн – что скажет Джейн об этом? Что скажут друзья Джейн?» То, что Джейн сказала на это, было предельно кратко и откровенно. Она вернула ему книги через несколько дней, и Карлейль, ожидавший найти в посылке письмо, обнаружил лишь карточку с надписью: «От мисс Уэлш с почтением и искренней благодарностью мистеру Карлейлю», причем его фамилия была написана неверно.

То, что для другого означало бы полное поражение, лишь заставило Карлейля на время переменить тон. Он понял, что его письмо было слишком фамильярным, теперь он перешел на чересчур, пожалуй, формальное: «Милостивая сударыня!» Он выразил свое огорчение тем, что нашел только «почтение мисс Уэлш в адрес некоего господина со странно написанной фамилией, в котором я с трудом узнал себя». Тем не менее он продолжал посылать ей очередные книги мадам де Сталь и писал о других книгах, которые они могли бы прочитать вместе. Ответом на это письмо были пять-шесть вежливых строчек, адресованных опять тому же господину, с ошибкой в фамилии. Поскольку содержание записки не давало поводов для пылких излияний, он стал восторгаться ее печатью, на которой была надпись-девиз «A l'amista»¹⁷: «Вы простили бы мне мое желание, чтобы это стало на деле нашим с вами девизом – раз и навсегда!» Он спрашивал, не позволит ли она ему также приехать в Хэддингтон, чтобы «проверить и ускорить ваши успехи в немецком языке». Мы не знаем, было ли это предложение принято.

Уроки немецкого по почте, бесспорно, необычный способ ухаживать за девушкой. Но чувство не подводило Карлейля, говоря ему, что для него это самый верный путь к сердцу Джейн Уэлш. Он не привлекал женщин своей внешностью, хотя его загорелое лицо с твердыми чертами и живые

голубые глаза придавали его наружности обаяние; к тому же он был неуклюж и неловок и отлично это сознавал. Когда он смиренно просил Джейн Уэлш «забыть о наружной грубости, если я кажусь вам сносным внутри», жаловался на свою неловкость и говорил, что, «если б Природа предназначила меня для светских церемоний, она сделала бы меня более богатым и нахальным» – все эти доводы Карлейля попадали прямо в цель. Он понимал, что если и может чем-либо понравиться, то только своим интеллектом, и именно благодаря своему интеллекту он добился в конце концов ее благосклонности. На свое счастье, он обладал особым даром лести, которая была тем эффективней, что была совершенно искренна: он безо всякого труда убедил самого себя в том, что Джейн Уэлш из Хэддингтона была вторая мадам де Сталь, и переписывался с ней на чисто интеллектуальные темы. Недостатки и несуразности в характере Карлейля обнаруживаются сразу, гораздо труднее нам представить ту силу ума и тот блеск красноречия, которые были вынуждены отмечать даже его недоброжелатели. Знания, накопленные за годы одиночества и печали, начали приносить плоды, по крайней мере они сказывались в Карлейле-собеседнике: поражали равным образом и широта, и глубина его познаний, а яркие и неожиданные сравнения, то и дело возникавшие в его речи, были почерпнуты из самых разнообразных источников. Даже в беспощадной иронии он не опускался до цинизма, но, напротив, с такой страстью и убежденностью доказывал то, во что верил, что способен был тронуть сердце всякого человека, даже гораздо менее склонного к высокому романтизму, чем Джейн Уэлш. В своем письме к подруге Джейн сравнивала Карлейля со своим идеалом, Сен-Пре. Карлейль, писала она, «обладает и талантами, и сильным и развитым умом, и живым воображением, и независимым духом, и высокими принципами чести. Но, – ох уж эти „но“! – Сен-Пре никогда не опрокидывал каминных приборов, не макал хлеб в чашку с чаем. Недостаток изящества! Недостаток изящества, – говорил Руссо, – на это ни одна женщина не может закрыть глаза».

Через три или четыре месяца после первой встречи Карлейль и Джейн Уэлш увиделись в Эдинбурге и читали вместе Шиллера, Гете и Лессинга. Когда после ее отъезда домой он снова попытался в письме завести речь о том, чтобы приехать к ней в Хэддингтон, она постаралась отговорить его. В письме к своей матери он писал, что «некая совершенно замечательная миссис Уэлш приглашала его почаще бывать у них в Хэддингтоне, как у себя дома»; но на самом деле миссис Уэлш, напротив, переменяла свое отношение к Карлейлю и уже не питала к нему былой дружбы.

Миссис Уэлш – капризная женщина, к тому же гордилась своей несомненной красотой. Ей не было еще пятидесяти, и она, как считают, поначалу приняла Карлейля за своего поклонника, а потом начала ревновать, узнав, что на самом деле он ухаживает за ее дочерью. Быть может, это и так, но, поскольку доказательств никаких нет, было бы милосерднее, да, впрочем, и вернее предположить, что Карлейль просто не устраивал ее в качестве жениха для Джейн Уэлш. К этому у нее было достаточно веских оснований – и финансового, и социального, и психологического характера.

Психологические моменты, должно быть, в последнюю очередь волновали миссис Уэлш, но тем не менее они существенны. Джейн Уэлш была единственным ребенком, в детстве ее баловали, ее природную властность характера поощряли. Она стремилась как можно больше походить на мальчика и требовала, чтобы с ней так и обращались. Характер у нее был пылкий, страстный и романтический. В школе она однажды так ударила мальчика по носу, что у того пошла кровь. Когда дома ей сказали, что девочке, которая уже читает Вергилия, не к лицу играть в куклы, она устроила погребальный костер и торжественно сожгла свою куклу. Ее своенравию потакавали обожавшие ее дедушка и бабушка, не противилась ему и мать, с которой у нее были частые ссоры. Она считалась только со своим отцом и Ирвингом, который преподавал в местной школе и давал ей частные уроки. Желание учиться у нее было удивительное. Она вставала в пять утра каждый день и очень скоро овладела математикой и алгеброй. Ее честолюбивые замыслы, однако, касались литературы, и в четырнадцать лет она уже написала трагедию в стихах.

Привязанность между этой избалованной сорвиголовкой и ее на редкость красивым и благородным отцом носила самый пылкий характер. Когда он заразился тифом и ей запретили входить к нему в комнату, она всю ночь пролежала под его дверью. Через несколько дней он умер, и она надела траур, который носила на протяжении следующих шести лет.

Многое в характере Джейн Уэлш, каким он предстает в этом кратком очерке ее прошлого, заставляло сомневаться в том, что она смогла бы спокойно и счастливо прожить с Карлейлем. Ухаживая за ней, он находил ее своенравие милым и подчинялся ему, но вряд ли он потерпел бы такое качество в жене. Он уважал и поощрял в ней то, что считал ее литературным талантом, но она должна была очень скоро понять, что Карлейль ожидал от жены безусловного исполнения всех тех хозяйственных обязанностей, от которых она была совершенно освобождена у себя в Хэддингтоне. Однако прежде всего очевидно, что эта

страстная молодая женщина не испытывала к нему никакой физической любви. Ее чувства к нему напоминали преклонение перед умом и мудростью отца. «Я не слыхала слов гения, кроме как из уст моего отца, – писала она после полутора лет знакомства с Карлейлем. – Вы говорили так же, как он; ваше красноречие пробудило в моей душе те дремавшие восторги и честолюбивые мечты, которые его красноречие впервые зажгло в ней». В этих словах почтение, даже преклонение, но – страсть?

Миссис Уэлш, очевидно, больше заботила денежная и социальная сторона дела. Если взять на себя труд проследить родословные Карлейлей и Уэлшей достаточно далеко, то окажется, пожалуй, что род, восходящий к лорду Карлейлю из Торторвальда, ничуть не менее знатен, чем Уэлши, традиционно связываемые с Джоном Ноксом и Вильямом Уолласом. Но задним числом хорошо рассуждать; миссис Уэлш же не обладала ни такими знаниями, ни достаточной проницательностью для этого. Она знала лишь, что Карлейль был сыном деревенского каменщика и что крестьянское происхождение выдавали и его неуклюжие манеры, и одежда, и простонародный говор Аннандэля. Уэлши, напротив, веками жили господами в своем маленьком имении в Крэггенпуттоке. Джон Уэлш занимал заметное положение сельского врача, женатого на дочери богатого фермера. В Хаддингтоне же Уэлши были самым знатным семейством. Вдобавок к социальному неравенству у Карлейля не было денег, и для миссис Уэлш это должно было означать его полную непригодность на роль жениха. Ее муж, который был старшим из четырнадцати детей, вложил все свои сбережения в покупку фермы Крэггенпутток, которая так или иначе должна была перейти к нему по наследству. Он сделал это для того, чтобы его деньги покуда приносили доход братьям и сестрам, а вышло из этого, что, когда он умер, его вдова и сирота-дочь остались с одной лишь рентой с этой фермы в 200 фунтов в год. Хуже того: сама ферма по неизвестным причинам была завещана Джейн. Разумеется, выйди она замуж за богатого человека, доходы от фермы будут переведены на мать. Но что, если она выйдет за бедного? У миссис Уэлш решительно не было никаких оснований поощрять ухаживания Карлейля. Эти соображения, или некоторые из них, не были тайной для Джейн. Зато Карлейль о них не подозревал: он в простоте своей не видел, почему бы сыну каменщика не жениться на дочери врача, к тому же деньги никогда не играли заметной роли в его решениях. Он не понимал перемены, происшедшей в этой девушке, которая была такой послушной ученицей в Эдинбурге. Не понимал он и того, что ее раздражает его самоуверенность: то, что он не допускает и мысли о ее возможном отказе. Резко и одновременно кокетливо

она выговаривала ему за фамильярный тон его писем. «Можно подумать, этот человек вообразил, что я влюблена в него и лелею светлые мечты послужить ему наградой за его литературные труды. Право же, сэр, я не предполагала для вас столь недостойного вознаграждения». На его предложение приехать в Хаддингтон она писала: «Поскольку вас нимало не занимают мои желания и вы несколько не озабочены моим удобством, я не стану понапрасну говорить, насколько этот визит нежелателен для меня и сколько обидных предположений в мой адрес он вызовет в настоящий момент среди здешних любителей злословия. Поэтому я предоставляю вам решать, приезжать вам или нет, но предупреждаю, что если вы приедете, то пожалеете об этом». Если же он хочет знать ее желания, то лучше обратиться к ней «через несколько недель».

Когда Джейн писала это длинное и резкое письмо, она ожидала Джорджа Ренни, который, по всей вероятности, нравился ей больше всех среди тех молодых людей, которые окружали ее, и ей не хотелось, чтобы Карлейль присутствовал при решающей, как ей казалось, встрече. Поэтому она несколько не обрадовалась, получив ответное письмо Карлейля – письмо смиренное по тону («Это состязание в колкостях вряд ли может удовлетворить или ущемить какие-либо истинно благородные чувства в вас или во мне; я готов с радостью смирить мое тщеславие, если вам этого так хочется»), но выразившее его непоколебимое намерение приехать в Хэддингтон. «Я убедил себя, – писал он, – что вы не рассердитесь на меня за это»; но, приехав, он обнаружил, что больше он никого не убедил. Миссис Уэлш говорила ему колкости, а дочь держала его на одной немецкой грамматике, притом все время давала ему почувствовать, как неприятны ей его неловкие манеры. Этот визит чуть было не положил конец их отношениям: в отчаянном письме, написанном по возвращении в Эдинбург, Карлейль просил ее не быт: с ним столь суровой и отрекся от всяких притязаний на ее любовь. «Я понимаю ваше положение и вашу будущность... я знаю также и свои». Совершенно ясно, что Джейн Уэлш и ее мать преподали ему урок социальных ценностей и различий.

В течение целого года Джейн Уэлш и Карлейль не встречались, возможно, и переписка их оборвалась бы, если бы сын инженера, красавец Ренни, сделал долгожданное предложение: но тут Джейн постигло столь же горькое разочарование, как Карлейля во время его приезда. Джейн знала, что Ренни собирался в Италию, чтобы стать скульптором; за несколько дней до отъезда он пришел повидать Джейн, но не застал ее дома. Примечательно, что мать даже не сказала ей об этом визите. Наконец, в последний день перед отъездом он пришел опять. Дальнейшее описано в

письме Джейн к подруге: «Он шагнул мне навстречу, чтобы пожать руку. Я холодно поклонилась. Он пододвинул мне стул и продолжал разговаривать с моей матерью. Он прекрасно выглядел – был даже красив – очевидно, находился в полном здравии и превосходном расположении духа. Я почти ни слова не слышала из того, что он говорил, – так громко билось мое сердце».

Последовал легкий, необязательный разговор, затем: «Он встал. Попрощался с моей матерью, потом взглянул на меня, как бы не зная, что делать. Я протянула руку, он пожал ее и сказал: „До свидания“, я ответила: „Прощайте!“ Он вышел. Вот каков финал нашего „романа“! Боже мой! Он покинул этот дом – самую комнату, где... – да что там говорить, – он ушел так, как будто раньше никогда в жизни здесь не был – бесчувственный! Для меня было мучительной пыткой сохранять внешнее спокойствие даже короткие мгновения после его ухода. Но я мужественно все выдержала! Вечером я вернула ему его письма, и теперь с ним покончено навсегда!»

*

Тем временем возможности Карлейля, о которых он так униженно сокрушался в письме к Джейн, неожиданно изменились к лучшему, при содействии все того же верного Ирвинга. Проработав около года с Чалмерзом, Ирвинг начал тяготиться своим подчиненным положением и с радостью принял предложенное ему место священника в маленькой, ветхой шотландской церквушке в Хэттон Гарден, в Лондоне, приход которой составлял около пятидесяти человек. Когда его назначение туда было подтверждено, один из приятелей Ирвинга, тоже священник, выразил удивление его расторопностью. «Ну и ну, Ирвинг, – сказал он, – не думал я, что ты такой ловкий». Ответ Ирвинга показывает, что он-то было твердо уверен в ожидавшем его успехе: «Однажды я прочел тебе мое сочинение, и ты тоже сказал: „Ну и ну, Ирвинг, я не думал, что ты такой мастер критиковать“; в другой раз ты слушал мою проповедь: „Ну и ну, Ирвинг, я не думал, что у тебя столько воображения“. Посмотришь теперь, какие еще великие дела я совершу!»

Среди тех, кто слушал первую проповедь Ирвинга в Хэттон Гарден, была миссис Чарльз Буллер, жена отставного судьи из Индии. У Буллеров было три сына, и они искали учителя для двоих старших, Чарльза и Артура, пятнадцати и тринадцати лет. Ирвинг назвал им Карлейля, добавляя в качестве предупреждения, что он мало видел жизнь и

«предрасположен к дурным настроениям, когда с ним плохо обращаются». Миссис Буллер обещала хорошо обращаться с ним и так же вознаградить его: Буллеры предложили ему 200 фунтов в год за уроки, которые займут у него 4 часа в день.

Карлейль познакомился с будущими учениками, и они ему сразу же понравились. Ирвинг говорил ему, что у Чарльза, при всем его уме и наблюдательности, «в голове один бокс, да магазины и развлечения». Однако Карлейль нашел, что он очень восприимчив и умен; Артура он тоже считал славным мальчиком, и его благоприятное впечатление при ближайшем знакомстве лишь укрепилось. И Чарльз и Артур были исключительно способными учениками. Артур стал, как и его отец, судьей в Индии, а Чарльз политическим деятелем радикального направления, и лишь смерть в возрасте сорока двух лет не дала ему сделать блестящую политическую карьеру. Они, несомненно, искренне полюбили Карлейля и многому сумели у него научиться.

Примерно в это же время Карлейлю предложили (а он отказался) редактировать газету, выходящую в Данди, за 100 фунтов в год плюс процент от доходов издания. Отказался он, разумеется, ради литературной карьеры, которая, впрочем, так и осталась всего лишь мечтой его воображения. Он собирался написать серию очерков о гражданской войне, в том числе о Кромвеле, Лоде, Мильтоне, Фоксе и других, но, по всей видимости, эта работа не была даже начата. От Брюстера он получил еще работу для Эдинбургской энциклопедии и перевод «Элементов геометрии» Лежандра. Недели, заполненные такого рода поденщиной, растягивались в месяцы. Он был здоров и относительно счастлив. Снял себе другую квартиру на краю Эдинбурга, всего в миле от моря, и теперь каждый день перед завтраком ходил купаться.

Для человека с его умеренными потребностями и скромными привычками тех денег, которые он теперь получал, с лихвой хватало на жизнь, и каждое его письмо домой родителям сопровождалось подарком. То он послал две пары очков – одну для отца, другую для матери, то отправил матери соверен, позднее – отрез клетчатой материи на плащ. В эту пору по всей Шотландии для фермеров настали тяжелые времена, и семейство Карлейлей начинало уже испытывать опасения перед будущим. Томас взял на себя содержание брата Джона, на шесть лет моложе его, который был теперь студентом-медиком. В дальнейшем деятельность Джона приняла довольно любопытный оборот, но в то время он усердно изучал литературу и медицину. Карлейль во многом определил литературный вкус брата, всячески убеждая его при этом стать доктором,

но не просто практикующим врачом, а «настоящим ученым-медиком, посвятившим своему делу ум, облагороженный литературой и наукой, и добивающимся преуспевания в жизни благодаря не одному лишь механическому навыку в определенном ремесле, но и возвышенности своей натуры, превосходству, как нравственному, так и умственному». Ради достижения этой грандиозной цели Джон Карлейль приехал в Эдинбург и поселился с братом.

Примерно через полгода после злосчастного визита в Хэддингтон, в один из периодов бессонницы, с Карлейлем случилось некое происшествие, которое нельзя назвать иначе, как таинственным. Подобно всякому мистическому переживанию, оно производит жуткое или странное впечатление, будучи описанным на бумаге; но Карлейлю переход от того, что он сам называл «Нескончаемым Нет», через «Точку Безразличия» к «Нескончаемому Да» казался впоследствии и моментом возмужания, и своеобразным духовным перерождением. Он позднее описывал свое «Духовное рождение», или «Крещение огнем», в самом восторженном и таинственном духе. Если убрать риторiku и оставить одни голые факты, то произошло с Карлейлем следующее. Идя однажды к морю, он вдруг спросил себя: в чем причины смутного и малодушного страха, который он постоянно испытывал? Чего, собственно, он боялся? Что могло с ним случиться в самом худшем случае? Он мог умереть. Значит, нужно признать смерть и идею ада и бросить им вызов. «И как только я подумал это, как бы огненный ток прошел по моей душе, и я навсегда отринул от себя низменный Страх».

Так произошло его духовное возрождение. Его можно рационально осмыслить, только помня всю предысторию и притом имея в виду, что это возрождение ни в коем случае не освободило Карлейля от неясного чувства вины, которое он продолжал испытывать всю жизнь. Однако если воспринимать эти откровения мистически, то они, разумеется, имеют абсолютное значение и не поддаются ни взвешиванию, ни обсуждению. Каково бы ни было наше мнение, для Карлейля его духовное возрождение имело как раз такое значение, так как оно давало ему ту основу для веры, без которой он не мог начать действовать. Слово «вера» имело для него смысл, противоположный логическим обоснованиям, верой оправдывался тот строгий, суровый образ жизни, который приняли его родители и который до конца его дней служил ему идеалом. Тогда же он пришел и к высокой оценке немецкой идеалистической философии и немецкой романтической поэзии: в них он, казалось, ощутил слияние тех же, внешне противоречащих друг другу, идей, которые занимали и его ум, –

революционного духа и стремления к порядку. Герой «Сартора Резартуса», переходя от «Нескончаемого Нет» к «Нескончаемому Да», говорит: «Закрой Байрона, открой Гете». В Байроне для Карлейля воплотился мятежный разрушительный дух, значение которого высоко, однако, лишь в отрицании; Гете же содержит все лучшее, что есть у Байрона, но вдобавок еще позитивное добро.

Счастливым философом, постигшим «Нескончаемое Да», сделал и другие открытия. Он понял, что жизнь начинается по-настоящему лишь с освобождением от мирских пут, что человек рождается не для бездумного счастья, а для труда: и наконец, что в любой, даже в нынешней плачевной, ситуации всегда есть место для подвига во имя высокой идеи. И тогда на смену мраку и хаосу приходит цветущий и плодородный мир, в котором новообращенный должен напрячь силы своей души, чтобы (как сказано в «Сарторе Резартусе»): «Не быть более Хаосом, но быть Миром, а точнее, Миром Людей! Твори! Твори! И пусть результат будет самый жалкий, бесконечно малый – все же твори, во имя Господа! Это лучшее, что есть в тебе – так отдай его. Все выше, выше! Какое бы дело ни нашли твои руки, вложи в него все свои силы. Трудись, пока Сегодня длится, ибо грядет Ночь, которая положит конец всем усилиям».

Так думал и чувствовал Карлейль, когда он наконец предпринял попытку пером выразить то, что хотел сказать миру. Благодаря хлопотам Ирвинга он получил заказ от «Лондонского журнала» на статью о Шиллере; эта статья в процессе работы выросла в книгу. Кроме того, один эдинбургский издатель и книготорговец заказал ему перевод «Вильгельма Мейстера» Гете. Итак, в труде переводчика и биографа – труде мучительном, требующем полного отречения от своего «я», – искал он самовыражения.

Taken: , 1

Глава шестая. ...к Джейн Карлейль

Я буду очень покорной женой. Право, я уже начала привыкать к покорности... И это – мое последнее письмо! Что за мысль! Какой ужас – и какое блаженство! Ведь ты будешь всегда любить меня, не так ли, мой Супруг?

*Джейн Бейли Уэли – Томасу Карлейлю,
октябрь 1826*

В пятницу утром я получил «Последние речи и брачные слова одной несчастной молодой женщины – Джейн Бейли Уэли». Какая в них восхитительная, почти лебединая музыка!.. Благословляю тебя в последний раз как твой Возлюбленный, это последнее мое письмо к Джейн Уэли: уж скоро в первый раз благословлю тебя как Супруг, в первый раз поцелую Джейн Карлейль. Дорогая моя! Я всегда буду любить тебя.

Томас Карлейль к Джейн Уэли, октябрь 1826

Переписка между Эдинбургом и Хаддингтоном все оживлялась. Некоторое время Карлейль не напоминал Джейн о своих намерениях, а писал ей просто как женщине, равной ему по уму. Он такой именно и считал ее, ей же приятна была эта вполне искренняя лесть. В мире, где все были снобами, скрытыми или явными, где акцент или покрой платья до сих пор служит мерилom духовных и социальных ценностей, в этом мире Джейн Уэли страдала еще сравнительно безвредной, почти похвальной слабостью – интеллектуальным снобизмом. Ей хотелось, чтобы ее считали талантливой, образованной и остроумной; но еще больше ей хотелось встречаться с великими людьми, слушать их: вся ее юность была в какой-то степени подготовкой к этому, залогом того, что она не уронит себя в таком обществе. Она почувствовала великого человека в Карлейле или, по крайней мере, увидела, что он непохож на остальных, кого она знала. Десятки писем, которыми обменялись эти двое, составляют переписку,

единственную в своем роде по игре противоположных темпераментов, по глубине ума, по яркости пафоса и юмора. От письма к письму мы видим, как капризный, жадный, дерзкий ум Джейн Уэлш постепенно укрощается и формируется под влиянием мощного, глубокого интеллекта Карлейля.

После своего визита в Хэддингтон Карлейль неизменно называет ее в письмах «милостивая сударыня», да и содержание писем с обеих сторон вполне безупречно с точки зрения миссис Уэлш. Она посылает ему свои переводы с немецкого; он поправляет их. Он приветствует ее намерение писать, поскольку она, как ему кажется, по природе своей обладает драматическим даром. Что она предпочтет: комедию или трагедию? Он пространно рассуждает о возможностях того и другого жанра и даже предлагает в качестве сюжета для трагедии историю Боадичеи, которую он тут же услужливо для нее пересказывает. Мисс Уэлш история Боадичеи не очень вдохновляет, но Карлейль ничуть не обескуражен, он предлагает с каждым письмом обмениваться стихами. Она соглашается и сразу же посылает перевод стихов Гете, затем другие стихи, переводные и собственные, и высказывает мнение, что осада Каркассоне, описанная у Сисмонди, которого она как раз читает, может послужить сюжетом для трагедии. Карлейль в ответ слал свои стихи, сожалел, что осада Каркассоне вряд ли подойдет (впрочем, если ей очень хочется, он соберет все возможные сведения об этом) и что, может быть, ей все-таки лучше попробовать написать Комедию.

Ни одна из сторон не признавала у себя поэтического таланта; да и стихи, которые они писали, интересны, пожалуй, в первую очередь тем, что в них раскрываются характеры их авторов. Карлейлю больше всего нравились эти стихи Джейн Уэлш («образы яркие, язык очень выразительный и звучный, а ритм музыкален и хорошо подходит к теме»): Люблю я горных рек паденье, Их рокот хриплый, громовой, И пенной ярости кипенье В борьбе с упрямою скалой... Люблю, когда, оков не зная, Душа вперед устремлена, Преграды на пути сметая – Горда, неистова, вольна!

За некоторой нарочитостью и подражанием Байрону нетрудно увидеть и свойственный самой Джейн Уэлш интеллектуальный романтизм. Отмечая дурной характер и внешнюю грубоватость Карлейля, кокетство и любовь к пересудам у Джейн Уэлш, мы не должны все же забывать главного: что они оба принадлежали к весьма малочисленному интеллектуальному авангарду своего времени. Нам трудно даже представить, каким источником вдохновения служил для них обоих каждый роман или философский трактат мадам де Сталь; понять, почему Руссо вызывал у Карлейля такое

восхищение, смешанное с пуританским осуждением, а у Джейн – открытое обожание; оценить, насколько их общее поклонение Байрону было реакцией на ту злобу, которую он же вызывал у мракобесов. Когда Карлейль получил известие о смерти Байрона, он почувствовал, что как бы «потерял Брата», а его первой мыслью было: «Боже! Столько рожденных из праха и глины делят свое низменное существование до крайнего предела, а он, этот высочайший дух Европы, должен исчезнуть, не пройдя пути до половины». И Джейн Уэлш отвечала ему: «Когда мне неожиданно сказали об этом, я была в комнате, полной народу. Боже мой, если бы мне сказали, что солнце или луна исчезли с небес, это не произвело бы на меня такого впечатления ужасной и горькой потери для мироздания, как слова „Байрон умер!“».

Мнение, что это Карлейль склонял Джейн Уэлш к такой ереси, имеет мало оснований. Она, по ее же словам, сменила свою религию и стала «в каком-то роде язычницей», прочитав Вергилия немного старше десяти лет от роду; она прочла «Новую Элоизу» и полюбила ее дерзкую героиню (хотя и писала, что «не желала бы встретить таких странностей у моих знакомых женщин») еще до того, как Карлейль мог повлиять на нее. Однако же, когда Карлейль от Байрона, Руссо и мадам де Сталь перешел к Гете и Шиллеру, Ирвинг считал, что Джейн нуждается в защите от их вольнодумства. «Слишком много этой мебели, – сказал он мрачно, – наставили в изящной гостиной Джейн Уэлш». Он боялся, что, не имея более трезвых наставников, она совсем выйдет из-под его влияния.

Между тем известность Ирвинга давно вышла за пределы дружеского круга. Ораторская манера, казавшаяся нарочитой в Киркольди или Глазго, здесь, в Лондоне, произвела огромное впечатление. Чуть ли не с первой же его проповеди тесная церквушка в Хэттон Гарден наполнилась слушателями, а вскоре его успех стал общепризнанным, когда Кэннинг, в это время в зените славы, сказал в своей речи в Палате общин об одном из выступлений Ирвинга, что это была «самая блистательная проповедь, какую он когда-либо слышал». После этого в церковь Ирвинга повалили валом: кто из любопытства, кто послушать умного человека, кто в погоне за модой, кто из истинной набожности; но те, кто пришел впервые из одного лишь любопытства, стали приходить вновь и вновь, замороженные внушительной внешностью и значительностью сказанного, а иногда и необычностью его суждений. Несколько недель спустя Ирвинг был уже знаменит, его разносили на первых страницах газет, на него писали злые памфлеты. Его церковь каждую неделю наполнялась публикой из высшего общества, людьми обоюбого пола и самых различных убеждений; Теодор Хук

заметил иронически, но не без оснований, что вход в эту церковь закрыт теперь только для одной категории слушателей – бедных верующих. Все улицы, ведущие к Хэттон Гарден, были на несколько миль запружены экипажами и толпами. Пришедшие спозаранку ждали в длинных очередях, шла бойкая торговля билетами по полгинеи за штуку.

Своим триумфом Ирвинг был в первую очередь обязан ораторскому дару; писатель Де Квинси высоко оценил его как «превосходящего во много, много раз всех ораторов нашего времени», и это мнение разделяли многие. Но публика равным образом восхищалась и словами, которые он произносил, и той страстью, с какой они произносились. С пылом новоявленного Савонаролы он бичевал свою фешенебельную публику за равнодушие к положению бедных, за утрату веры, а заодно и за ее собственную несправедливую жизнь. Слушавших, возможно, и не убеждали его слова, но, во всяком случае, они нарушали их покой; и лишь немногие оставались глухи к вере самого оратора в его собственную боговдохновенность. Его первые книги, «Речи» и «Рассуждения в пользу грядущего Суда», мгновенно разошлись в трех изданиях, несмотря на непристойную брань газет и рецензентов, которые ругали и его язык, и вкус, и самоуверенность, и, уж конечно, не обошли вниманием его косоглазие.

Так сбылась половина его пророчества: он стал «первым в церкви», в том смысле, что на несколько месяцев он стал самым знаменитым оратором Британии. Карлейль встретил успех друга с искренней радостью, к которой примешивалась тем не менее и зависть. Он почувствовал себя покинутым: Ирвинг, занятый в Лондоне, теперь не писал ему; более того, «Рассуждения в пользу грядущего Суда» родились непосредственно из возмущения Ирвинга «Видением Суда», автором которого был кумир Карлейля – Байрон. Неудивительно поэтому, что в письме брату Алеку Карлейль писал: хотя мало кто на этом свете больше заслужил славу, чем Ирвинг, все же он, Карлейль, не желал бы для себя именно такой популярности. Понятно также, почему он в письме к Джейн Уэлш сожалел о том, что проповедническая деятельность Ирвинга приняла такой оборот. По его мнению, для Ирвинга лучше было бы остаться «тем, что наилучшим образом ему подходит: проповедником первостатейных способностей, большого красноречия и больших несуразностей, с умом, превосходящим всех по трезвости и безрассудству, и с сердцем в высшей степени честным и добрым». В борьбе зависти с благородством в конце концов победило последнее: «Я готов спорить на любые деньги, что он часто думает о нас обоих, хотя и не пишет нам, и что больше всего ему хочется знать наше

мнение об этом фантастическом взлете, об этом громе труб и фанфар, в котором он теперь живет». В том же письме Карлейль вскользь сообщает, что Ирвинг собирается в Шотландию, чтобы жениться на Изабелле Мартин из Киркольди, с которой он вот уже несколько лет как помолвлен.

У Джейн Уэлш были свои причины, неизвестные Карлейлю, к тому, чтобы испытывать смешанные чувства при виде успеха ее учителя. Отношения между Ирвингом и его очаровательной и одаренной ученицей до сих пор неясны, хотя и делалось много попыток их распутать. Мы уже видели, что Ирвинг был весьма подвержен действию женских чар, и, несомненно, Джейн Уэлш была включена в круг тех молодых женщин, которые обращали на себя его благосклонное внимание. Он писал ей письма, в которых обращался к ней «Моя дорогая и Прекрасная Ученица!»; многие из его витиеватых высказываний можно истолковать только таким образом, что он был влюблен в Джейн и тяготился своей помолвкой с Изабеллой Мартин. На обратной стороне одного сонета, который он написал для Джейн, сохранилось несколько загадочных незаконченных строк – часть письма, которое Джейн уничтожила, желая сохранить только сонет. В двух строчках говорится: «Я решил не видеться ни с Изабеллой, ни с ее отцом, прежде чем я...» и «не могу выносить даже их вида, пока это не прояснится и пока» (далее оторвано). Из этих слов можно заключить, что Ирвинг ходил к отцу Изабеллы и просил освободить его от данного слова. Если так, то он не добился своего. Позднее он писал, что его отношение к Джейн «давно приняло бы форму самой нежной привязанности, если бы не одно препятствующее этому обстоятельство» и что только с божьей помощью может он надеяться найти силы, чтобы «исполнить долг по отношению к другой и сохранить нежные чувства к Вам».

Ничто не указывает нам на то, что эти «нежные чувства» были взаимными. Джейн Уэлш, правда, говорила Карлейлю, что была когда-то страстно влюблена в Ирвинга, но она «страстно люблялась» за свои двадцать лет по меньшей мере два или три; кроме того, в длинных списках ее кумиров, которые она посылала своей подруге Бэсс Стодарт, Ирвинг ни разу не упомянут. Стала бы она его женой, если бы Ирвинг был свободен? Была бы она счастливее с Ирвингом, чем с Карлейлем? Смогла бы она своим острым умом и здравым смыслом уберечь Ирвинга от катастрофы, ожидавшей его? – на все эти вопросы мы уж не найдем ответа, так же как мы никогда не узнаем, какую песню пели сирены, или мог бы Кристофер Марло превзойти Шекспира, если бы его не убили. По крайней мере, известие о женитьбе Ирвинга задело Джейн Уэлш, недаром же писала она с таким ехидством: «Расскажите же мне, как он управляется там

с женой, – вот, должно быть, смехотворное зрелище!» То, что она сама упустила шанс, немало огорчало ее, судя по тому, как зло она высмеивала Ирвинга за его экстравагантность, за чудачества, за то, что он стал забывать друзей. Удручал ее и контраст между успехом Ирвинга (с каждым днем все более отдалявшегося) и безвестностью Карлейля (который был, пожалуй, даже чересчур к ее услугам – насколько позволяли возможности почты), и она упрекала его в глупости за его пренебрежение к земной славе: «Когда же мир узнает Вам цену, как знаю ее я? Вы смеетесь над моим стремлением к славе; но я подозреваю, что мои чувства на этот счет – если снять с них словесное „облачение“, и впрямь часто фантастичное, – не так уж отличны от ваших собственных; ведь вы недовольны своей жизнью: необходимостью склонять свой гордый гений перед ничтожными заботами о каждодневных нуждах, заглушать огонь честолюбивой души тяжким опытом смирения, растрачивать ее на бесплодные мечты, на несбыточные, безжизненные планы! „Колесо вашей судьбы должно повернуться“ – эти слова я слышала от вас, и у вас есть сила повернуть его – огромная сила. Но когда же предпримете вы это усилие? Когда же ваш гений прорвется сквозь все преграды и займет достойное его место? Он сделает это непременно – „как молния в вышине пронзает черную тучу, стесняющую ее“! В этом нет у меня сомнения! – но – когда? Слышать ваше имя на устах целой нации!»

Она поощряла его работу над биографией Шиллера и переводом «Вильгельма Мейстера» Гете, но не старалась скрывать своего разочарования тем, что он поглощен трудом, который требовал так много времени и так мало таланта. В этом он был с ней совершенно согласен. Работа над Шиллером доводила его до отчаяния ничтожностью задачи, да и перевод «Вильгельма Мейстера» не радовал: он приходил в ярость от несоответствия между второстепенностью своей роли переводчика и тем высоким мнением, которое он имел о своем даровании. Он мрачно предрекал, что его перевод никто не станет покупать, и добавлял, что Гете «величайший гений из всех, родившихся на протяжении последних ста лет, и величайший глупец из всех на протяжении последних трех столетий».

Из этих разочарований возникли и другие трудности. Как и следовало ожидать, первое, идиллическое, впечатление Карлейля от семьи Буллеров: миссис Буллер – «одна из самых утонченных, восхитительных женщин, которых я только видел», а ее муж – «прямой, честный, достойный Английский Джентльмен» – не пережило долгого пребывания у них в смиренной роли домашнего учителя. Супруги Буллеры обладали и умом, и

широтой взглядов: миссис Буллер была в Лондоне центром кружка радикально настроенных интеллектуалов, да и ее муж, обладая трезвым умом, способен был оценить острый сарказм Карлейля. Они понимали, что имеют дело со странным, но необычайно талантливым человеком, и относились к нему с большим вниманием. Карлейль не был глух к их доброте: в письме брату Джону он говорил, что старшие Буллеры относятся к нему почти как к сыну, а младшие – как к брату; и все же он весьма тяготился своей обязанностью вечерами сидеть у них в гостиной за чаем и светской болтовней, да и переменчивый характер миссис Буллер доставлял ему неприятности.

Проведя зиму в Эдинбурге, Буллеры решили перебраться в меблированный дом под названием Киннерд Хаус в графстве Пертшир. Карлейль не пожелал поселиться с ними, а занял старый флигель поблизости, под тем же названием Киннерд Хаус – «странную, старомодную, впрочем, довольно уютную и совершенно уединенную постройку, утопающую в зелени, всего на расстоянии одного выстрела от нового большого дома». Он подолгу ездил верхом, продолжал работу над Шиллером и переводом Гете; здесь, в полном уединении, его здоровье еще больше расстроилось, и он совсем пал духом. Всю жизнь Карлейль ошибочно считал, что ненавидит общество и может существовать только в одиночестве; на самом же деле он бывал общительным и часто даже веселым товарищем, предоставленный же самому себе, впадал в глубокое уныние.

Его душевный упадок немедленно отразился на мнении о семье Буллеров. Не спасло их и то, что, едва Карлейль пожаловался на плохой сон и объяснил его тем, что перенесли час обеда, они немедленно распорядились, чтобы Карлейль обедал один в удобное для него время, как и то, что ему была предоставлена полная свобода проводить вечера с ними или по его собственному усмотрению, и даже то, что во всем с ним обходились как с равным. Он сам говорил, что только полный идиот может пожаловаться на такое отношение к себе; и все же он становился все мрачнее: его выводили из себя модные посетители, весьма озабоченные тем, как бы, выходя из дома, одеться потеплей, или приходящие в восторг от двух подстреленных ими оленей. К тому же сама пища доставляла ему большие неприятности. Иногда Карлейль думал, что миссис Буллер на редкость плохая хозяйка, иногда же приходил к заключению, что ее благотворная деятельность сводится на нет бестолковостью неопрятных девок (как он называл ее прислугу). Еда причиняла ему даже большие мучения, чем воздержание от нее (если только это возможно). «Стоит мне

съесть их свиной овсянки – и я засну, – писал он брату Алеку, – но на меня находит двойная доза одури, и я просыпаюсь очень рано утром с сознанием того, что еще один день моего драгоценнейшего времени бесповоротно потерян, что вчерашний день прошел в муках и так же пройдет и сегодняшний. Мне ясно, что я не смогу ни вернуть, ни сохранить себе здоровья в доме, где хозяйство ведет миссис Буллер. А потому мне ничего не остается, кроме как покинуть его».

За отчаянием, однако, всегда следовали прекрасные намерения. Для преодоления обступивших его неприятностей требовались невероятные усилия – что же, значит, эти невероятные усилия будут приложены. «Говорю тебе, Джек, ты и я – мы не должны дрогнуть, – писал он брату Джону, в то время преспокойно продолжавшему учебу в Эдинбурге и, должно быть, слегка удивленному этими страстными заклинаниями. – Трудись, мой мальчик, трудись неустанно. Клянусь, что всем этим тысячам мук, этой жестокой схватке, этому нездоровью – самой страшной из них – не удастся сковать нас... Два безвестных паренька из безвестного местечка Аннандэль еще покажут миру, на что способны Карлейли».

Временами Карлейлю казалось, как, несомненно, показалось и читателю, что все эти горестные причитания и героические призывы были слишком уж несоизмеримы с ничтожностью их повода. Да и места у Буллеров Карлейль на этот раз не бросил, хоть часто и грозился это сделать. Возможно, его удержала благодарность к Буллерам, возможно, он понимал, что в Эдинбурге или где-либо еще ему не будет лучше, чем у них. Он пробыл в Киннерд Хаусе девять месяцев, и, когда по их истечении Буллеры решили перебраться в Лондон, ему был предоставлен трехмесячный отпуск для устройства дел по изданию «Вильгельма Мейстера» и для поездки домой в Мейнгилл. После этого, в июне 1824 года, он последовал за Буллерами в Лондон. Джейн Уэлш надеялась в это же время побывать в Лондоне, с тем чтобы они могли вдвоем погостить у знаменитого теперь Ирвинга, но Ирвинг написал Карлейлю, что его дом пока не готов к тому, чтобы принять даму, а в письме к Джейн Уэлш – что «моей дорогой Изабелле удалось исцелить раны моего сердца, но я едва ли в силах вновь обнажить их» и что лучше было бы ей навестить его через год, когда он «будет в глазах своей собственной совести достоин» принять ее. Что заставило этого человека, которого Джейн звала теперь «великим Ослиным Оратором», написать такой ответ – ревность ли жены, или что-либо другое, – во всяком случае, оно положило конец ее мечтам посетить Лондон вдвоем с Карлейлем. Вооруженный письмами к поэту Томасу Кэмпбеллу и инженеру Телфорду, обладатель 180 фунтов стерлингов,

выплаченных ему за перевод «Вильгельма Мейстера», в одиночестве отправился в шестидневное путешествие на яхте в великую столицу.

Ирвинг с обычным для него оптимизмом полагал, что достаточно будет показать Карлейля лондонским интеллектуалам, и его таланты станут всем очевидны. Карлейль думал иначе и был прав. Его безапелляционные суждения часто вызывали обиды, а его рыкающий провинциальный акцент должен был придать им нелепый вид. Его широкая начитанность не только в литературе, но и в истории, философии и естественных науках могла быть оценена только теми, кто наперед приготовится благосклонно его выслушать. А его серьезность и неумение легко и непринужденно пошутить не способствовали пробуждению к нему симпатий. Однако Карлейль не ждал многого от Лондона, поэтому и не был разочарован.

Стоит ли говорить, что путешествие прошло в самом мрачном настроении: частично из-за жестоких ветров, штормов и штилей, встречавшихся в пути, частично из-за глупости общества, собравшегося на борту яхты. Портреты спутников, которые Карлейль дает в своих письмах, по остроте наблюдений и конкретности предвосхищают самые блестящие из его последующих творений. Нам, например, сообщают, что у некоего сэра Дэвида Инниса «голова большая и длинная, как погребальная урна; лицо, изрытое оспой, волосатое и щетинистое, огромно и напоминало формой топор. По многу часов подряд стоял он посреди палубы, положив левую руку на борт, уткнув большой палец правой руки в бедро, уставившись большими голубыми слезящимися глазами в пустоту, изобразив на губастом лице задумчивость».

Наконец путешествие окончилось, и Карлейль встретился с Ирвингом, радушие которого превзошло все ожидания. Их предыдущая встреча кончилась не вполне счастливо. Карлейль провел с Ирвингом и его женой часть их свадебного путешествия в горах, и однажды к ним явился слуга некоего лорда с приглашением к обеду. Через минуту или две прибыл и сам лорд. Наверное, нетрудно было устроить так, чтобы приглашенным оказался и Карлейль, но он уже оседлал свою лошадь и один ускакал домой.

В Лондоне все мигом забылось, если Ирвинг вообще еще об этом помнил: он, как всегда, стремился помочь другу. В первый же вечер Карлейль оказался в пестром кругу религиозных радикалов и синих чулок, где была также миловидная и застенчивая кузина Буллера, Китти Килпатрик. Она обратила на себя внимание Карлейля тем, что в прихожей потихоньку сорвала наклейку с его сундука. Этот странный поступок Карлейль объяснил тем, что Китти хотела показать наклейку другой кузине,

миссис Стрэчи. Кстати, Китти Килпатрик и миссис Стрэчи с большим вкусом обставили гостиную Ирвингов к их приезду – счастливчик Оратор вкушал удовольствия новой жизни. Был ли он счастлив? Карлейль не находил этого; он, напротив, видел, что Ирвинг пытается скрыть внутреннее смятение, убеждая себя в благости своей миссии посредника между небом и людскими толпами, которые постоянно окружали его.

Первое впечатление Карлейля от лондонского литературного общества было неблагоприятным. Он принес свое рекомендательное письмо Кэмпбеллу, чьим стихотворением «Гогенлинден» он некогда восхищался. Теперь же воспитанному в деревенской строгости Карлейлю не понравилась щегольская внешность поэта: «голубые сюртук и брюки, монокль, парик, даже его манера кланяться – во всем виден литературный денди». Вдобавок к этому Кэмпбелл оказался не очень радушным человеком, а его жена говорила с кельтским акцентом. Неужто в этом и состоит отрада жизни, отданной литературе? – недоумевал Карлейль после своего визита: «глупая жена кельтка, жалкий дар рифмоплетства, страсти не больше, чем в осле бродячего лудильщика, и одна лишь любовь – к собственной презренной персоне со всеми ее потрохами?»

Однако еще большее разочарование постигло Карлейля у Кольриджа, словесный портрет которого он приводит в письме своему брату Джону. Это описание замечательно тем, что дает очень выразительный образ поэта и показывает, каким образом Карлейль обозначал душевные качества через внешние черты: «Представь себе тучную, дряблую сутулую персону со слюнявым ртом, хлюпающим носом, с парой странных карих, робких, но очень серьезно глядящих глаз, с высоким, сужающимся кверху лбом и огромной копной седых волос; вот тебе приблизительный образ Кольриджа... В нем нет твердости. Он избегает боли или труда в любой их форме. Сама его повадка говорит об этом. Он никогда не выпрямляет коленей. Он горбит свои жирные, бесформенные плечи, а при ходьбе не ступает, а шаркает и скользит... Он и хотел бы всем сердцем, да чувствует, что не смеет. И говорит он, почти как я ожидал, – дремучий лес мыслей, из которых некоторые верны, многие ошибочны, а большая часть сомнительны – и все оригинальны в какой-то степени, многие даже в очень большой. Но в его разговоре нет последовательности: он блуждает, словно парусник по волнам, куда только заносит его ленивый ум; что еще неприятней – он проповедует, вернее, произносит монологи... на мой взгляд, он человек большого, но бесполезного таланта: странный, нисколько не великий человек».

Таково было его мнение о двух наиболее выдающихся литераторах,

встреченных им в Лондоне. Общее же впечатление от литературной жизни было даже ниже, чем от отдельных личностей. Толпа, лишенная не только благородных чувств, но и простой честности; бессильные злопыхатели; не люди, а орудия для писания статей – вот некоторые из тех фраз, которые он сказал в адрес современных ему критиков. Интересно было бы узнать, что думали они об этом странном, плохо одетом новичке, вторгшемся в их круг, но взгляды тех, кого он наблюдал столь внимательно, скользнули по нему, не задержавшись на нем. Не этим ли пренебрежением объясняется то, что, когда Карлейль наконец получил возможность поговорить с Кольриджем наедине о Канте и различиях между «разумом» и «рассудком», он смог добиться лишь самых уклончивых ответов?

Визитом в Лондон закончилась карьера Карлейля в качестве домашнего учителя. Переменчивость характера миссис Буллер теперь приняла форму бесконечных колебаний в каждом ее шаге, а это оказалось невыносимо для Карлейля. Ей пришлось в голову провести несколько месяцев в Булони, а куда она хотела поместить Чарльза и его учителя в доме в Кью Грин, который ни Чарльз, ни Карлейль терпеть не могли. Затем она передумала и решила отправиться в Ройстон, что в графстве Хартфордшир. Намерен ли Карлейль жить с ними во Франции, а пока пожить в Ройстоне? Вынужденный дать немедленный ответ, Карлейль отказался. Особых причин для отказа у него не было: просто он устал учить даже столь приятных юношей, как Буллеры, кроме того, он догадывался – или ему казалось, что догадывался, – о желании миссис Буллер отдать Чарльза в Кембридж.

Буллеры и Карлейль расстались дружески. Чарльз Буллер был «охвачен грустью и гневом», сам мистер Буллер немного огорчен, а его жена в целом вполне довольна. Буллер предложил ему двадцать фунтов в качестве прощального подарка. «Проявив излишнюю щедрость, которую я не в силах одобрить теперь, по более зрелом размышлении, я счел сумму чрезмерной и принял только десять, – писал Карлейль матери. – Мы со старым джентльменом пожали друг другу руки, не проронив слезы. Миссис Буллер же произнесла одну из тех прощальных фраз, которые приняты в ее модном кругу равно для друзей и для врагов. Я рад, что мы расстались друзьями... рад, что вообще расстались...» Нужно, однако, помнить, что письма Карлейля не всегда верно отражают события: здесь, например, он дает нам ощущение какой-то резкости в обращении, которую он, должно быть, в большой степени вообразил себе. Миссис Буллер сопровождала вежливую прощальную фразу еще и приглашением на званый вечер, да и вся семья сохранила самое дружеское расположение к этому странному

учителю. Часто раздражение Карлейля изливалось только в письмах, и трудно оценить тяжесть выносимых им мук тому, кто не трудился, подобно ему, над ненавистной работой, которая требует лишь малой доли его энергии и вовсе не дает выхода его таланту. Расставаясь с Буллерами, Карлейль радовался прежде всего тому, что его талант получает свободу.

Но какого рода был этот, столь долго пестуемый им, талант? Он пока проявился лишь в биографии Шиллера и переводе «Вильгельма Мейстера». Позднее Карлейль называл жизнеописание Шиллера слабой и жалкой книжонкой. Она, разумеется, непохожа на его лучшие произведения, но ее ни в коем случае нельзя считать ни скучной, ни жалкой. Стиль все еще во многом заимствован у Джонсона, но отличается уже уравновешенностью, твердостью и остроумием самого Карлейля. Уже сейчас его юмор в основном построен на преувеличении. «Загляните в жизнеописания писателей! За исключением Ньюгэтского Календаря, все они составляют самые удручающие страницы истории человечества» – вот один из примеров. В «Жизни Шиллера» есть немало страниц превосходной литературной критики и множество метких замечаний, больше применимых к самому Карлейлю, нежели к предмету его исследования. («Прежде всего он совершенно свободен от шаблонности во всех ее разновидностях, нелепых и отвратительных, – лишен начисто».) Но замечательнее всего в этой книге, написанной в состоянии душевного покоя и телесных страданий, ее ясность и спокойствие, удивительным образом выдержанный в ней дух научной беспристрастности и благожелательности. Этот стиль никак не соответствовал характеру Карлейля и его образу жизни, и тем более любопытно, что он ему почти вполне удался.

Обе книги встретили достаточно теплый прием. «Тайме» дала благоприятный отзыв о «Жизни Шиллера», а «Вильгельм Мейстер», говоря строками из письма самого Карлейля к Джейн Уэлш, «вырастает здесь, в Лондоне, в маленького, совсем крошечного львенка: газеты его расхваливают, публика читает, многие его прямо обожают». Исключением среди всеобщего восхищения был один лишь Де Квинси: рецензируя книгу в «Лондонском журнале», он зло нападал на Гете и ругал переводчика. Ругал, как ни странно, не за неточности перевода (а Карлейль научился немецкому по одним лишь словарям и грамматикам, не имея даже случая слышать немецкую речь), Де Квинси возмущался обилием «провинциализмов, барбаризмов и вульгаризмов» в переводе. Многочисленные шотландские местные выражения, не принятые в Лондоне, указывали, по мнению Де Квинси, на недостаточное знакомство

переводчика с культурным обществом.

Замечания Де Квинси дают нам почувствовать трудность той задачи, которую взвалил на себя Карлейль, желая познакомить английскую публику с Гете и Шиллером. Мы представляем себе немецкое романтическое движение в литературе как триумф над вольтеррианским скепсисом, как торжество веры в ценности цивилизованного общества, веры, возведенной в эстетический принцип и отдаленно связанной с немецкой идеалистической философией. Историки литературы, к своему удовольствию, нашли для Гете и Шиллера место в европейской культуре, восхитились красотой «Фрагментов» Новалиса и сложных метафор Рихтера. Но тогда, в начале XIX века, Де Квинси выразил мнение большинства английских литераторов, сказав, пусть и в непривычно резкой форме, что «ни суеверный Египет, ни околдованная Титания, ни пьяный Калибан не создавали себе столь слабого и пошлого идола, как тот, которому современная Германия поклонилась в лице Гете».

Карлейль был почти одинок в своей высокой оценке немецких романтиков. Он, без сомнения, потому и ценил их столь высоко, что некоторые черты их творчества выражали его собственное, пока не осознанное, отношение к миру и людям. Те или иные книги оказывают на нас влияние, как правило, тем, что развивают мысли, зародыш которых уже существует в нашем сознании. Но в них могут содержаться и другие идеи – их мы искажаем или попросту не замечаем. Так и Карлейль безжалостно отверг многие из идей Шиллера и Гете. Его откровенно раздражал их эстетизм, их мысль о том, что культуру можно толкнуть вперед посредством драмы и поэзии. В Гете он обнаружил – как ни парадоксально это нам покажется – своего рода оправдание современного пуританизма, недоверие и презрение к плоти и ее стремлениям. От Канта, которого он читал тогда же, Карлейль взял не идею относительности всякого знания, не его отповедь метафизике, а мысль о том, что в современном мире необходима новая, более радикальная метафизика. Он не оценил Канта как философа, не взглянул на Гете как на художника – трудиться над подобными оценками казалось ему пустой тратой времени. Он искал у них идеи, которые помогли бы ему соединить яростный радикализм со столь же убежденным мистицизмом, недоверие к официальному христианству с приверженностью к пуританизму, – эти идеи он нашел у немецких романтиков.

Сегодня мы можем себе ясно представить, насколько Карлейль нуждался в их руководстве, сколь необходим был для него тот толчок, который сообщили ему немецкие романтики, как они вырвали его из

узкосемейных и религиозных тисков и открыли перед ним перспективы (настолько, впрочем, далекие, что и конца не видно было) такого подхода к проблемам общества, который основывался бы на христианской морали, но не признавал церковной доктрины. В подобных вопросах биографы с завидной проницательностью наводят полную ясность. Однако в то время для Джейн Уэлш все это было не очевидно: ей казалось, что Карлейль тратит время попусту на эту неинтересную и ненужную работу. Ей поначалу вовсе не нравился Гете, столь непохожий на ее кумиров Руссо и Байрона; но и позднее, начиная ценить Гете, она все же сожалела о том, что Карлейль столько времени отдает переводам, и приняла безо всякой радости известие о том, что предвидятся новые переводы с немецкого, на этот раз сборника произведений разных писателей. В силу своего романтического характера Джейн, естественно, жаждала славы или хотя бы надежды на нее для своего мужа; однако часто она переживала минуты, когда ей казалось, что гений Карлейля навсегда останется погребенным в колких репликах и эпистолярных откровениях и никогда не заблестает во всю силу перед миром.

Занятия Карлейля после его ухода от Буллеров вряд ли убеждали Джейн в его решимости пробиться. Сперва он отправился в Бирмингем в гости к одному аптекарю и врачу по имени Бэдамс, с которым его познакомила приятельница Ирвинга, миссис Монтагю. Бэдамс излечил несколько пациентов, страдавших желудком, обещал он вылечить и Карлейля. Его лечение состояло из регулярных упражнений и диеты, в которой важную роль играли полусырые яйца, огромное количество чая и вино перед обедом. Он был решительно против употребления лекарств. Карлейль же как раз незадолго до этого советовался с врачом, который строго-настрого запретил ему курение и пичкал его ртутью и касторкой. Естественно, что у Бэдамса, который курить разрешил, а касторку назначил лишь раз в четыре дня, Карлейлю показалось несравненно легче. Бэдамс, разбогатевший на производстве серной кислоты, держал двух-трех верховых лошадей; это был бодрый, энергичный и дружелюбный человек; в шесть утра он приходил будить Карлейля, чтобы часа два перед завтраком поехать верхом. В Бирмингеме Карлейль пробыл несколько недель с видимой пользой для здоровья, после чего, однако, не возвратился в Шотландию, а поехал на юг. Первое известие от него Джейн получила из Дувра, а затем из отеля «Ваграм» в Париже.

Путешествие во Францию было предпринято не без влияния Ирвинга. Оратор, как Джейн Уэлш и Карлейль называли теперь Ирвинга в своих письмах, находился в Дувре вместе с женой и маленьким сыном, а также с

той самой Китти Килпатрик, которая сорвала наклейку с сундука Карлейля. Здесь Ирвинг был занят размышлениями, писанием и купанием, и Карлейль отправился к нему также с намерением поразмышлять и покупаться, однако без желания писать. Писал он только письма к Джейн Уэлш, в которых распространялся о прелестях Китти Килпатрик и странностях Оратора. Китти Килпатрик была, по его словам, «маленькой, черноглазой, смуглой, с золотисто-каштановыми волосами и с таким добрым и веселым нравом, что невозможно представить себе, чтобы она могла хоть на одно мгновение на кого бы то ни было рассердиться». Китти обладала и другими достоинствами: ей был двадцать один год, и у нее было пятьдесят тысяч фунтов собственных денег, она с удовольствием занималась ведением хозяйства и была к тому же дочерью индийской бегумы и британского колониального чиновника. Счастье Китти Килпатрик, по мнению Карлейля, было «у нее в крови, а философией тут ничего не прибавишь». Ирвинг и Карлейль провели много часов в дружеских беседах, но все же Карлейль не мог удержаться от того, чтобы нарисовать Джейн портрет Ирвинга в роли заботливого отца: «Вам было бы любопытно взглянуть на него в роли няньки своего первенца Эдварда! Это слабое тщедушное бесформенное существо, как все дети полутора месяцев от роду; но ни Изабелла, ни ее супруг не могли бы оказать больше внимания юному ламе, если б были верховными жрецами Тибета. Пробуждения, сон и прочие „его“ (как они многозначительно именуют младенца) действия играют весьма важную роль в общем благополучии. „Изабелла, – говорит он, – а не помыть ли его сегодня вечером теплой водой?“ – „Да, дорогой“, – отвечает покорная жена. Китти при этом хихикнула тайком, а я осмелился внести раскол, заявив, что, на мой взгляд, решение этого вопроса должно целиком зависеть от жены и что я на ее месте вымыл бы его в купоросях, если б мне захотелось, и ни с кем не стал бы советоваться. Видели бы вы этого великана в его широкополой шляпе, с бледным ликом и всклокоченными черными волосами, когда он несет этот пищащий кулечек в своих чудовищных лапах по всему пляжу, сюсюкая с ним, качая его и при каждом его движении склоняясь к нему с жуткой страдальческой улыбкой, невзирая на толпы ошеломленных свидетелей, которые подолгу в немом ужасе смотрят вослед Левиафану, объятому отцовскими чувствами!»

В Дувре к ним присоединился Эдвард Стрэчи, человек пятидесяти с лишним лет, который, так же как и Буллер, некогда служил судьей в Индии. С ним была его жена лет на двадцать его моложе. Миссис Стрэчи приходилась сестрой миссис Буллер, но, по словам Карлейля, «походила на

нее не более, чем алмаз Голконды похож на бристольский хрусталь; она сразу же прониклась уважением и симпатией к Карлейлю и, возможно, считала Китти Килпатрик подходящей женой для него. Это ей пришла идея отправить Эдварда Стрэчи, Китти Килпатрик и Карлейля в Париж; Ирвинг с женой и нежно любимым сыном остались в Дувре в обществе миссис Стрэчи.

Карлейль свободно читал по-французски, но говорил плохо и с сильным акцентом; у Стрэчи с французским дело обстояло еще хуже, в Париже он и вовсе перешел на английский, помогая себе жестами, – так его гораздо лучше понимали. Карлейль был доволен поездкой, хотя его изумление перед дворцами, картинными галереями и нескончаемыми удовольствиями и сдерживалось сознанием того, что поклоннику немецких идеалистов не к лицу увлечение всей этой мишурой. Франция нравилась ему как бы против его же воли. Пале-Рояль был, по его мнению, пристанищем порока и тщеславия, он с облегчением думал, что на Британских островах такое вряд ли возможно; обедать тем не менее приходил сюда частенько. Здесь французы просиживали, проедали и пропивали жизнь, растрачивали ее на болтовню, чего ни один моралист не мог бы оправдать; дома их напоминали кукольные домики, увешанные зеркалами; бдительный шотландец всюду замечал мошенников и фатов, плутов и шулеров. А посреди всего этого разгула, среди завитушек и позолоты видел он в морге обнаженное тело старого ремесленника, утопившегося в Сене, с лицом, застывшим в гримасе отчаяния, с его грязным и залатанным тряпьем – вместе с передником и сабо, – привязанным к шее. Для нас такой контраст впечатлений служит хорошей характеристикой Карлейля, для него же это характеризовало Францию.

Известие о его поездке во Францию потрясло стариков Карлейлей: Франция оставалась для них врагом Англии, и они всерьез тревожились, что их сын не вернется оттуда живым. Миссис Карлейль перестала напевать за работой, а если сестры начинали смеяться или петь, их упрекали в неуместном легкомыслии; каждый день справлялись на почте, нет ли писем, удостоверяющих, что сын пока еще жив. Наконец письмо пришло, и вся семья возликовала, так как он благополучно посетил, по словам брата Алека, «некогда могущественное королевство Наполеона, перед гневом которого в страхе склонялась Европа». Миссис Карлейль уже прочла «Вильгельма Мейстера» – с ужасом и удивлением, возмущаясь безнравственностью женских персонажей, – и все же ничто не показало ей с такой ясностью, как это путешествие, ту бездну, которая разделяла ее убеждения и убеждения ее старшего сына. В конце концов она вынуждена

была не примириться, но признать факт, что ее сын забрел далеко в сторону от ее собственной набожной строгости, и по приезде его в Лондон она просила, должно быть, без больших надежд на то, что он последует ее советам: «Скажи же мне, часто ли читаешь ты главу из Библии? Если нет – начни теперь, непременно начни! Как ты проводишь субботу в этом беспокойном городе? Не забывай свято соблюдать субботу, и ты никогда не пожалеешь об этом».

В Хэддингтоне известие о его поездке также не вызвало большой радости, но совсем по другой причине. Джейн Уэлш уже порядком наскучило слушать об опасностях и тяготах большого мира, не имея возможности повидать его своими глазами. Не без ехидства выражала она надежду (и напрасную притом), что теперь наконец-то Карлейль избавился от своего аннандэльского акцента. В другом письме она спрашивала, когда же ей посчастливится увидеть благодатный юг, где все находят себе друзей. На его похвалы Китти Килпатрик она ответила резко, с нотками гордой властности: «Поздравляю вас с вашим нынешним положением. Имея перед глазами такой пример семейного счастья, защищенный от демонов тоски присутствием этого „необыкновенного, совершенно очаровательного существа“, вы должны с утра до вечера вкушать блаженство. Мисс Китти Килпатрик – боже, до чего же уродливое имя! „Добрая Китти“! О прелестная, милая, восхитительная Китти! Я ей ничуть не завидую, право же, – хоть она и индийская принцесса. Только я предпочитаю больше никогда не слышать ее имени».

Какие основания имела она для ревности? Это письмо написано в октябре 1824 года, к тому времени Джейн Уэлш, правда, неохотно, но все же решила стать женой Карлейля, хотя прошло еще три месяца, прежде чем Джейн почувствовала себя окончательно связанной с ним.

Переход из положения учителя на положение жениха совершился нелегко, много раз Карлейлю искусно напоминали и о его бедности, и о социальном неравенстве. К счастью, он долго не пытался изменить их отношения, пока чисто интеллектуальные. Снова и снова повторял он ей, что она талант, которому нужно лишь работать, писать, публиковаться, и придет признание. Немного нашлось бы таких новичков, надеющихся на литературную славу, которые имели бы мужество поставить такой отзыв о себе под сомнение. Джейн Уэлш он помог одолеть многие тома истории и философии, которые она откровенно считала скучными. Тем не менее она не вполне разделяла его взгляд на ее талант: она так и не начала работать над романом, который он предложил сочинять вдвоем и две главы которого, уже написанные им, полетели в огонь. И все же: кому не польстила бы

похвала учителя, да еще столь просвещенного, да к тому же явно влюбленного в нее? Она дразнила его, рассказывая о своих многочисленных поклонниках: о молодом художнике замечательно высокого роста, стройном и изящном, с аметистовым кольцом на пальце; о другом – сыне фермера, чье предложение она решительно отвергла, о юноше «с красивыми шелковистыми кудрями, прекраснейшими в мире глазами и голосом, подобным музыке», который впал в такое отчаяние от ее отказа, что доплакался до горячки, гуляя с ней, лишился чувств, а затем «три дня и три ночи лежал без сна и почти без пищи, метался по постели и выплакивал свои прекрасные глаза». Рядом с этим романтическим молодым человеком сосед, маленький доктор Файф, всего лишь угрожавший самоубийством в случае ее отказа, выглядел весьма заурядно.

От Карлейля ожидалось, что он будет смеяться над незадачливыми воздыхателями и сочувствовать бедной Джейн в ее хлопотах с ними, но самого его долго как будто не приглашали занять место в их ряду. Она писала ему как близкому другу и подписывалась «преданная вам», но едва он, неверно поняв фразу из ее письма, написал взволнованно «Джейн меня любит! она любит меня! и клянусь бессмертием, она будет принадлежать мне, как я ей принадлежу, в жизни и смерти и во всех неведомых превратностях, которые ожидают нас по эту и по ту сторону», его моментально поставили на место. Ему объяснили, что его любят как брата, спокойно и безмятежно, и любовь эта продлится даже в том случае, если Джейн выйдет замуж. «Я буду вам другом, самым верным и преданным другом, пока я жива и дышу; но женой! Нет, никогда! ни даже, если бы вы были богаты, как Крез, и почитаемы и знамениты, как непременно будете». Карлейль ответил с напускным благодушием, что она поставила их отношения «на ту самую основу, на которой я и желал их иметь». За время его романа с Джейн ему пришлось проглотить больше горьких пилюль, чем за всю остальную жизнь.

Историю этого странного романа мы знаем преимущественно по письмам: Карлейль и Джейн за все эти годы встречались на удивление редко. Ирвинг привез Карлейля в Хэддингтон в мае 1821 года, и они пробыли там три или четыре дня; затем в конце лета Джейн приезжала в Эдинбург на пять-шесть недель, в течение которых несколько раз виделась с Карлейлем. Он нанес свой злосчастный визит в Хэддингтон в феврале 1822 года и после этого не видал ее целый год, до следующего своего приезда, уже по приглашению миссис Уэлш. На этот раз он был милостиво принят. В мае 1823 года они виделись в Эдинбурге, но лишь мимоходом, поскольку миссис Уэлш снова высказывалась о нем неодобрительно. В

ноябре он нанес короткий визит в Хаддингтон. В феврале 1824 года Джейн навещала в Эдинбурге свою подругу Бэсс Стодарт и несколько раз встречалась с Карлейлем, и, наконец, день или два она виделась с ним в мае, перед его поездкой в Лондон. Вот и все. К тому моменту, когда в январе 1825 года она решила, что будет его женой, они не встречались уже полгода.

Брачное предложение Карлейля (вернее, то из них, которое она наконец приняла, хотя и с оговорками) осложнилось недоразумением, которое само по себе примечательно. Рассказывая о своей поездке в Париж, он писал, вероятно с некоторым ощущением вины, что, пожалуй, напрасно тратит свою драгоценную свободу на путешествия, что подумывает о том, как обосноваться дома в Аннандэле или где-либо поблизости, и писать и читать, читать и работать в саду, да соблюдать свою бирмингемскую диету. Когда же Джейн вскользь одобрила его намерения, он начал развивать эту мысль. Если б у него была своя земля, писал он, то можно было бы сделаться фермером. «Мне видится, как на рассвете я сажусь верхом на лошадь и, словно злой гений, ношусь среди моих ленивых работников, понукая нерадивых, возделывая и расчищая, обрабатывая и сажая, пока не расцветет вокруг меня сад! А в свободные часы я мог бы посвящать себя литературе. Подчинив таким образом свою жизнь естественным законам, я в один год сделался бы самым здоровым человеком во всей округе». Лондон же, писал он, вовсе не подходит для жизни; этот город-чудовище наскучил бы ей через неделю. Более того, среди всех друзей Ирвинга здесь нет истинно просвещенных людей, да, пожалуй, он один такой и есть на весь Лондон. В длинном ответном письме Джейн останавливается на этой фразе и иронически перечисляет все интеллектуальные удовольствия, которые он ей некогда сулил в Лондоне. («Куда, наконец, подевалась ваша „розовоперстая заря“ – индийская принцесса?») После нескольких страниц она мимоходом, двумя строками, зачеркивает его радужные планы на фермерскую идиллию: «Если б была у вас своя земля, вы бы превратили ее в сад!» Не подойдет ли моя? Она как раз сдается в аренду, и более заброшенной земли я не знаю».

Джейн думала отшутиться от этой затеи, но шутить с Карлейлем таким образом и по такому поводу было очень опрометчиво. Он принял ее предложение всерьез и с энтузиазмом. А она – поедет ли с ним, разделит ли с ним жизнь в Крэггенпуттоке? Пусть только скажет «да», он тотчас пошлет своего брата Алека оформлять аренду. Далее следовали дифирамбы деревенской жизни. Что превращает женщин в синие чулки, а мужчин в газетных поденщиков? Только их оторванность от действительной жизни,

их разрыв с природой. Он ясно представлял себе, как Джейн употребит для разумного ведения хозяйства свою склонность к порядку и изяществу, которую теперь питают одни лишь картины да деловые бумаги, как окрепнет и обогатится его собственный ум от близости к почве. «Роза в ее благоуханном расцвете составляет славу полей, но необходима также почва, стебель, листья, или не будет самой розы. В вашей душе и в моей сокрыто много возможностей, но ее первая обязанность – заботиться о своем здоровье и счастье: если окажется избыток, который можно посвятить более высоким целям – он не преминет обнаружиться». Упомянув вскользь денежную проблему (которую, по его мнению, люди вообще склонны переоценивать), он призывал Джейн: «Согласитесь, если доверяете мне! Согласитесь и придите на мою верную грудь, и разделим с вами и жизнь, и смерть!»

В наш век, который в любом возвышенном движении усматривает смешную сторону, легко и в этом предложении Карлейля увидеть лишь нелепое: его презрение к деньгам и пренебрежение к сопутствующей им славе суть признаки истинного и прекрасного идеализма, который нам удобней не замечать. Джейн Уэлш была объективней: она понимала страсть и прекрасные возможности Карлейля, но ей попросту не хотелось жить в столь разреженной атмосфере. Ничто так ясно не указывает на разницу характеров Томаса Карлейля и Джейн Уэлш, как случай, происшедший с ними, когда они в раннюю пору своего знакомства прогуливались по улице и он сказал: «Как много здесь вещей, которые мне не нужны», на что она ответила: «Как много здесь вещей, которые мне недоступны!» Джейн Уэлш была земной в самом лучшем смысле этого слова, и она была к тому же практична. Наверное, ей понравилось бы жить в Лондоне, во всяком случае, ей совершенно не хотелось поселиться в глухом, унылом и заброшенном Крэгенпуттоке, в миле от ближайшего хутора, где быт тяжел, а общаться не с кем. Что могло быть менее похоже на ту идеальную жизнь, которую она рисовала Карлейлю: «Уютный дом, мирно покоящийся в какой-нибудь романтической долине, богатство, достаточное для того, чтобы осуществить мой идеал комфорта и изящества; книги, статуи, картины и все прочее для красивой и духовно насыщенной жизни; дружба и общение с немногими, чьи беседы помогут развиваться моему уму и сердцу». Можно ли упрекнуть Джейн за то, что она, с ее мечтами, холодно отнеслась к перспективе жить в Крэгенпуттоке? «Нам с тобой хозяйствовать в Крэгенпуттоке! – писала она. – Да я бы скорее согласилась построить себе гнездо на вершине скалы».

На все остальное она также ответила вполне откровенно. Она любит

его, верно, искренне и всем сердцем, «но я не влюблена в вас, то есть, моя любовь к вам – не страсть, затмившая разум и оттеснившая все мысли о собственном благе и других людях». Ей ни к чему роскошь и большое богатство, но все же она не собиралась лишаться того «положения в обществе», которое занимала от рождения. Имеет ли он прочное место наравне с ней? – спрашивала она. Или надежды скоро его занять? Имеет ли он постоянный доход, хотя бы скромный? Пусть он лучше забудет Крэгенпутток, а подумает о том, как, употребив свои таланты, «восполнить неравенство рождения – тогда и поговорим о женитьбе».

Наверное, никогда предстоящая женитьба не обсуждалась столь хладнокровно и по-деловому. Удивляет, что таким образом было положено начало длительной переписке, в которой эти два претендента на роль главы в семье (а только так их и можно понять) попеременно вновь и вновь на разные лады излагали свою точку зрения с уважением к логике и правилам ведения спора, которые сделали бы честь любому профессору. Редкий поклонник вынес бы тог холод, каким Джейн Уэлш обдала самые дорогие мечты Карлейля; редкая женщина сумела бы с такой ясностью и спокойствием анализировать свои чувства к человеку, женой которого собиралась стать. А что таково было ее намерение, становилось виднее и ей самой сквозь хитросплетения взаимных комплиментов и тонких разногласий. Заявляя Карлейлю, что брак с ним она считает «наиболее вероятной судьбой для себя», она признавала неизбежность.

Эта борьба характеров могла иметь только один исход: за многие годы переписки Карлейль сумел почти совершенно покорить ее ум. И тогда, и в дальнейшем она позволяла себе поддразнивать его, быть на него сердитой, упражнять на нем свой острый язычок, но под видимой дерзостью скрывалась полная покорность уму, которому доступны были такие глубины, каких ей никогда не достичь, гению, который страшил ее уже тем, что по природе своей столь отличался от ее собственного блеска и остроумия. И когда Карлейль вдруг заговорил о том, чтобы расстаться навсегда, она призналась в своей полной зависимости от него: «Я не поверю никогда, что вы серьезно думали расстаться со мной, покинуть сердце, которое сами же научили всецело полагаться на вас, до того, что оно уже не в состоянии обходиться собственными силами! Вы никогда не могли бы поступить столь невеликодушно!.. Как могу я расстаться с единственной живой душой, которая понимает меня? Легче мне завтра же выйти за вас замуж!» Такой исход был не просто вероятен – он был предрешен: раз невозможно расстаться с Карлейлем, остается выйти за него замуж. С этих пор ее сопротивление все более принимает вид

арьергардных действий ради спасения своей воли от полного порабощения.

Проходили месяцы, и Карлейль не занял прочного положения и несколько не приблизился к тому скромному благосостоянию, которое она считала необходимым условием их брака, а о свадьбе уже всюду говорилось открыто как о деле решенном и скором. Правда, он сделал все, чтобы лишить даже малейшего основания любые упреки в том, что он женится ради денег. По его настоянию Джейн Уэлш перевела пожизненную ренту от фермы Крэгенпутток на имя матери и ей же полностью предоставила дом в Хаддингтоне, где они жили. Но, даже несмотря на это, миссис Уэлш не смогла заставить себя лучше относиться к будущему зятю и лишь с трудом терпела его; временами она даже позволяла себе утверждать, что у ее дочери помутился разум от близости с этим человеком.

Нехотя дала она согласие на их брак: теперь нужно было, чтобы Джейн увидели и одобрили Карлейли, а, по их мнению, не было такой женщины, которой не был бы достоин их сын. Для Карлейля снимали ферму под названием Ходдам, неподалеку от семейного гнезда Мейнгилл, хотя работал на ферме не он, а его брат Алек; его мать или одна из младших сестер обычно приходила для того, чтобы стряпать и выполнять остальную работу по дому. Карлейль же был занят переводами для сборника немецких романтиков. Сюда, в Ходдам, Джейн и приехала знакомиться. Семье она понравилась. Она часто ездила верхом вместе с Карлейлем, они сделали несколько визитов соседям. Смотрины прошли благополучно, и препятствий к свадьбе больше не было. Вернее, оставалось одно препятствие, вскоре также преодоленное. Через посредство Карлейля Джейн вступила в переписку с приятельницей Ирвинга, госпожой Монтагю, и эта дама вскоре догадалась о некогда существовавшей между Джейн и Ирвингом нежности. С экзальтированной склонностью толкать на самопожертвование других людей, которая отличала определенную разновидность синих чулок в прошлом столетии, она убедила Джейн в том, что с призраками былого надо разделяться, а старые секреты открывать. Вряд ли Джейн сама, без подсказки, стала бы рассказывать Карлейлю о любви к Ирвингу (вряд ли вообще было что рассказывать); но после уговоров госпожи Монтагю, в которых был, кстати, и намек на то, что Карлейль может все узнать из других источников, она села писать признание своему будущему мужу и поведала, что «некогда страстно любила» Ирвинга. Это он без сомнения сможет ей простить, но простит ли он, что она так долго скрывала тайну от него? «Я умоляю тебя, немедленно дай мне знать о моей судьбе». Должно быть, она читала его ответ с облегчением, смешанным даже с некоторой обидой на то, что он так

спокойно принял ее признание. Неприятные чувства, возникшие у него, писал Карлейль, проистекали из эгоистических источников, недостойных внимания. О том, чтобы прощать ее, не может быть и речи, ибо (и тут он бросался в бездну самоанализа, которым столь часто и столь бесполезно занимался) его собственные недостатки были больше в пятьдесят крат, и он никогда не сумеет сделать ее счастливой. Лучше было бы ей оставить его, пока она не погибла окончательно. «Один смелый шаг – и дело сделано. Мы будем страдать, страдать сердцем, но зато подчинимся голосу рассудка, а время научит нас сносить страдание». Это предложение свободы, даже в таком покаянном тоне, должно было встревожить Джейн, но, как бы то ни было, признание наконец сделано.

Теперь все вопросы решены, кроме одного: молодоженам негде жить. Ходдам нужно было освободить из-за разногласий с владельцем, а жить в Крэгенпуттоке Джейн не хотела. Она теперь выступила со своим предложением: Карлейль снимет тот «прелестный домик», который он видел в Эдинбурге, а миссис Уэлш поселится где-нибудь поблизости, и «мы сможем жить все вместе как одна семья, до свадьбы и после».

Этот план ясно показывает, насколько плохо Джейн представляла себе решимость Карлейля самолично решать такие вопросы. Точно так же, как у него и в мыслях не было всерьез потрудиться над своим общественным и финансовым положением, так же и здесь он дал сдержанный, но категоричный отказ. Какой блестящий план! – воскликнул он, – и совершенно неосуществимый! Во-первых, миссис Уэлш его не любит, и вряд ли когда-либо полюбит; во-вторых, он не желает делить Джейн с другими, а хочет владеть ею безраздельно; в-третьих, любовь миссис Уэлш к гостям и званым вечерам совершенно его не устраивает. К этому он добавил – даже своенравная Джейн должна была содрогнуться от таких слов – «с того момента, как я стану хозяином дома, первое, на что я употреблю свою власть, – ото на то, чтобы захлопнуть дверь перед всяким вторжением, от которого она способна предохранить; мой будущий дом будет рассчитан на цели, совершенно отличные от планов твоей матушки». С раздражением и юмором одновременно Джейн жаловалась на его необычайную переменчивость. Сперва он хотел жить в деревне, и она старалась приучить себя к этой мысли; затем он остановился на Эдинбурге, и она не колеблясь бросила старые планы; а теперь «дома, сады за глухой стеной, беседы и все прочее – исчезают, как бесплотные видения, и вот – мы вновь одиноки и бездомны». Возможно, писала она в шутку, им все же следует пойти разными путями. Ведь есть же еще Кэтрин Аврора Килпатрик, «у которой пятьдесят тысяч фунтов, царственная родословная и

всю жизнь хорошее настроение». Несомненно и Джейн могла бы прекрасно устроиться с троюродным братом, врачом из Лидса, или с интересным вдовцом, который готов сделать ее матерью своих троих малолетних детей.

Она шутила остроумно, но именно такого рода юмор Карлейль не мог оценить. На ее колкости он ответил письмом па многих страницах, в котором попытался оправдать свою линию жизни и отвести от себя обвинение в переменчивости. Теперь он уже не проситель, как недавно; уверенный в своей победе, он пишет теперь как хозяин положения и предлагает ей или принять, или отвергнуть его таким, каков он есть: «Если... мое сердце и моя рука с той безрадостной и трудной судьбой, которая, видно, будет мне сопутствовать, все же покажутся тебе лучшим из того, что этот бедный мир может предложить, то возьми меня и довольствуйся мной, и не мучай себя попытками изменить то, что неизменно; сделать бедного и больного человека богатым и здоровым. ...Увы! Джейн, ты меня не знаешь; ты видишь не бедного, безвестного и презираемого. Я же примирился с тем положением, в котором нахожусь сейчас и еще долго буду оставаться. Я произнес слово „неоцененный“ во всех падежах и числах и не нахожу в нем ничего ужасного, даже если оно обозначает „безвестный“, большинством подданных его величества „забытый“ или даже „проклятый“.

В ответ он получил письмо, настолько смиренное по тону, настолько теплое и нежное, столь полное грустного упрека, что почувствовал себя виноватым: «Ты – Ангел Света, – писал он, – а я подлый человек, слепленный из грубой глины, который не должен был мерить тебя мерками, годными лишь для низких натур».

Раскаяние, правда, не подвинуло его настолько, чтобы он согласился жить вместе или хотя бы рядом с миссис Уэлш. Даже напротив. Поскольку аренда на дом в Мейнгилле кончилась, все семейство Карлейлей решило снять ферму Скотсбриг в двух-трех милях к северо-востоку от Эклфекана. Дом в Скотсбриге был, как весело сообщал Карлейль, самым уродливым и необжитым домом, который он когда-либо видел. В этот-то Скотсбриг и должна была приехать Джейн. Вместо того чтобы Карлейлю жить с миссис Уэлш, Джейн должна была оказаться среди Карлейлей. Позднее, когда обнаружилось, что миссис Уэлш все же покидает Хэддингтон и собирается жить с отцом в Темпленте и вести его хозяйство, Карлейлю пришлось в голову, что они с Джейн могли бы прекрасно обосноваться в Хэддингтоне.

Была некоторая неловкость в том, чтобы поселиться в доме миссис Уэлш после того, как она сама покинула его; и Джейн немедленно отвергла этот план в основном из-за того, что ее бывший поклонник, доктор,

использовал часть дома в качестве врачебного кабинета, и нельзя было бы избежать встреч. Скотсбриг был также сочтен неподходящим – родителями Карлейля, а затем и им самим, когда Джейн мимоходом сказала, что ее мать, возможно, навестит их там. Совершенно ясно, писал он, что она превратно представила себе жизнь в Скотсбриге. «Ты говоришь, твоя матушка навестит нас! Боже правый! Она будет вне себя от изумления, увидев здешний дом. Нет, дорогая! Твоя матушка не должна приезжать к моей».

Где же им поселиться? Несмотря на утверждение Джейн, что она с удовольствием будет жить везде, кроме Хаддингтона, и на уверения Карлейля, что во всем, кроме необходимости полной тишины по ночам, его терпение «абсолютно беспредельно», все же оказалось совершенно невозможным найти для них подходящий дом или коттедж. Какая-то напряженность, правда, лишенная резкости, появляется в их письмах; а ведь их отношения оставались буквально только на бумаге: ко времени этих споров они не видели друг друга почти год. И вдруг неразрешимое было решено: миссис Уэлш отправилась в Эдинбург и сняла дом номер 21 по Комли Бэнк – сейчас мы бы назвали его доходным домом – в северо-западном предместье, недалеко от главных улиц, но свободном от шума и копоти. Перед домом был небольшой палисадник с цветами, окна смотрели на зеленые поля; внутри была гостиная, столовая, кухня и три комнаты наверху. Все это за тридцать два фунта в год ренты.

Итак, свадьба все же состоялась. Правда, Карлейль не избежал недомогания, которое повергло его в уныние и вызвало сочувственные разговоры об ужасах брачной церемонии. Но наконец и споры, и осложнения, и разногласия остались позади: во вторник, 17 октября 1826 года, в доме Уэлшей в Темпланде Джейн Бейли Уэлш превратилась в Джейн Уэлш Карлейль.

Taken: , 1

Глава седьмая. Комли Бэнк

Добродетель – действительно, сама себе награда, но в ином смысле, нежели вы себе представляете, доктор Гауктрэпл. Какое удовольствие она приносит! Страдали ли вы когда-нибудь от больной печени? Осмелюсь утверждать – и призываю в судьи всех сведущих, – никакая больная совесть при здоровой нервной системе не причинит и десятой доли тех мучений, которые доставит больная нервная система, сочетающаяся с самой чистой совестью. Что ж из того? Расплатись с моралистом да найми двух аптекарей и двух поваров. Забудь о бессмертии души, пока есть у тебя бифштекс, пиво – и таблетки от печени. Томас Карлейль. Дневник, декабрь 1826.

Идеальной биографией, несомненно, должна считаться та, в которой авторская позиция не отбрасывает даже легкой тени на ясную, неприукрашенную реальность прошлого, и ее герои думают и движутся точно так, как это было в жизни. Однако идеал недостижим. Даже не позволяя себе высказывать свою точку зрения, биограф все же выражает ее отбором фактов; даже желая достичь беспристрастности посредством цитирования самих героев, биограф не достигает вполне своей цели. Биография плавит и отливает прошлое в горниле авторской мысли, и задачей ее является не достижение абстрактной истины, но конкретное воспроизведение характера или эпохи в том виде, как их воспринимает, более или менее верно, автор. И все же философский камень беспристрастности продолжает манить: добросовестный биограф, невольно приняв ту или иную точку зрения, тем не менее убежден в своей объективности.

Подобные заблуждения составляют суть искусства в наше время и в нашем обществе; и лучше всего они проявились в биографических описаниях семейной жизни Томаса Карлейля и Джейн Уэлш Карлейль. Борьба точек зрения здесь была жестокой, хоть и скрытой. Друзья Джейн пытались изобразить ее многострадальной женой раздражительного, нетерпеливого, невнимательного, подчас даже жестокого человека, – правда, гениального; им противостояли наиболее почтительные поклонники Карлейля – они не просто указывали на капризность и истерическую экзальтированность, временами проявлявшиеся в характере Джейн, они считали Джейн безнадежно заурядной особой, которая в лице Карлейля нашла себе необычайно удачную партию. Где столько копий

сломано для доказательства таких крайних точек зрения, не странно ли выглядит появление еще одного биографа с новой теорией и с претензией – неужто на беспристрастность? Что поделаешь, всякий биограф питает иллюзию, что он-то наконец отыскал философский камень...

Мы можем только удивляться, что какая-то степень гармонии все-таки существовала между этими раздражительными, обидчивыми и неуравновешенными людьми. Представления Карлейля о хорошей жене основывались прежде всего на той роли, которую женщины играли в его собственной семье: жена должна была быть хорошей хозяйкой и беспрекословной исполнительницей воли мужа. Выросший в крестьянском доме, он не видел ничего ужасного в том, чтобы жена мыла пол или пекла хлеб. Тем не менее, придерживаясь таких взглядов, он намеренно выбрал себе жену, которая с детства была совершенно ограждена от всяких хозяйственных дел и к тому же, как мы поняли из ее писем, смотрела на этот брак как союз умов или, возможно, сердец, во всяком случае, ставила его высоко над повседневной реальностью. Можно было ожидать, что такая разница во взглядах на роль жены приведет к столкновениям; но этого не произошло – по крайней мере на первых порах. Джейн безропотно приняла на себя заботы о доме и находила еще время читать с мужем по вечерам; а когда она однажды заболела, Карлейль ухаживал за ней, как она писала, «не хуже матери».

Столь же примечательно, как это безмолвное подчинение рутине семейной жизни, и их обоюдное расположение, помогавшее им в то время преодолевать разницу темпераментов. С годами эта разница сказалась больше; представить ее можно, лишь разобравшись в их характерах. У Карлейля под внешней резкостью слов и сумбурностью мыслей скрывалась натура глубоко бескорыстная и скромная; безропотно принимал он сарказм Джейн, не видел пользы в славе и деньгах. Мнения еще безвестного Карлейля о его знаменитых современниках высказывались с таких высот, каких он, казалось, не имел надежды достичь, и мы спешим объяснить это просто завистью. Однако в данном случае мы недопустимо поверхностны. Можно не разделять литературных вкусов Карлейля, можно не соглашаться с тем взглядом на мир, который он высказывал, можно объяснять его постоянную внутреннюю борьбу психологическими или иными причинами, но само усилие, независимо от причин и результатов, заслуживает глубочайшего уважения. Если верить, что величие духа достигается работой воли, а не является простым продуктом исторических условий, то придется признать, что Карлейль был великим человеком. И даже те, кто считает детерминизм единственной абсолютной величиной в

мире относительных ценностей, все же ставят некоторые чувства выше других, а то чувство, которое заставляло Карлейля запечатывать письма изображением догорающей свечи с девизом «Terar dum prosim» – «Да иссякну, принося пользу», – уважалось во все эпохи.

Столь благородное самоотречение было невозможно Для Джейн, хотя и доступно ее пониманию. Юмор ее писем имеет земную основу, нескончаемый блеск острот питался иронией, чаще безобидной, но иногда и злой. В себе и других она умела видеть и любить смешное, а Карлейля именно это оставляло равнодушным. Она находила или изобретала массу драматических возможностей в ситуации отвергнутого поклонника или нерадивой служанки, в собственноручно испеченном хлебе или убежавшем кофе. Похвала Диккенса, сказавшего ей уже на склоне лет, что «ни одна из пишущих дам не может с ней даже рядом стать», не покажется преувеличенной тому, кто прочтет ее письма, в которых ее дерзкое воображение издевается над оборотами речи или привычками мужа и друзей. С другой судьбой, с другим мужем она, возможно, нашла бы способ выразить свой незаурядный дар иронии и смеха; но получилось так, что она жила в соседстве с личностью, гораздо более могучей, чем она сама, и временами такая жизнь казалась ей безрадостной. Много лет спустя случилось ей сказать, с характерной для нее драматической ноткой, что она вышла замуж из честолюбия и что «Карлейль превзошел мои самые смелые ожидания – а я несчастна». Но эти времена еще не настали; на первых порах их жизни в Комли Бэнк она рада была просто сидеть и слушать его или даже «просто сидеть и смотреть на него, что я считаю таким же полезным занятием, как всякое другое».

Были проблемы, больше волновавшие молодоженов: у Карлейля до сих пор не было ни постоянной работы, ни дохода. «Мы очень счастливы, – писала Джейн своей свекрови, – когда же он наконец найдет себе работу, мы будем еще счастливее». Карлейль обдумывал план создания новой литературной газеты и набросал уже проект «Литературного ежегодника», но из этой затеи ничего не вышло.

Перевод из немецких романтиков был готов: Фуке, Тик, Гофман, Рихтер – с предисловиями к каждому автору. Чем дольше тянулась эта работа, тем больше превращалась из благородной миссии ознакомления английской публики с новыми литературными светилами в обыкновенную поденщину, и растущее разочарование Карлейля в конце концов вылилось в предисловии, в котором он в виде поощрения читательского интереса сообщает, что в Германии «наряду с немногими истинными поэтами мы находим легионы и полчища графоманов всех степеней бездарности. Одни

предаются сентиментальным грезам, другие, трясясь в пляске святого Витта, вымучивают из себя остроты...».

Редкий читатель заинтересуется сегодня этими переводами, да и тогда эта попытка популяризировать второстепенных писателей немецкого романтизма (с добавлением звезды первой величины в лице Рихтера) не встретила одобрения даже у тех, кто тепло принял его перевод из Гете и биографию Шиллера. Книга с трудом расходилась: эдинбургский книготорговец Тейт, издавший эту книгу, год или два спустя наотрез отказался от «Истории немецкой литературы», над которой Карлейль работал. Поверхностный энтузиазм, вызванный Карлейлем и несколькими другими литераторами, вскоре иссяк, и редакторы журналов были одного мнения с Тейтом в том, что лучше избегать всего немецкого.

Но Карлейль думал не о капризах книжного рынка, когда вскоре после свадьбы принялся за дидактическое сочинение под условным названием «Роман об Уоттоне Рейнфреде». Скорее он ожидал, что брак разрешит то эмоциональное напряжение, которое не давало ему писать прежде. Однако пуританский комплекс вины, из-за которого он смотрел на все романы, даже написанные Гете, как на пустяки, недостойные серьезного внимания, не так-то легко было преодолеть, и «Уоттон Рейнфред», с огромным трудом начатый, вскоре теряет для автора интерес, а через три месяца оказывается вовсе заброшенным. Спустя много лет рукопись была украдена у Карлейля и опубликована лишь после его смерти.

В герое «Романа об Уоттоне Рейнфреде» легко узнать Карлейля, в героине – Джейн с некоторыми добавками от Маргарет Гордон. Черты Ирвинга и других друзей просматриваются во второстепенных персонажах, которые ведут философские беседы о судьбе и цели человеческой жизни. Написано все невыразительно, манерно, и в целом этот неудачный опыт окончательно убедил Карлейля в том, что у него нет беллетристического дара.

От вынужденного безделья Карлейль всегда впадал в уныние, а теперь, после неудачи с «Уоттоном Рейнфредом», стал крайне раздражительным. Дверь их дома на Комли Бэнк не была наглухо закрыта для непрошенных посетителей, как грозился некогда Карлейль; правда, они не приглашали к себе на обед и не принимали приглашений от других, но по средам к ним приходили вечерами знакомые, в числе которых был и доктор Брюстер, до сих пор бившийся над «Эдинбургской энциклопедией», и некая дама из Померании, которая занималась преподаванием немецкого языка и имела привычку ругать плохие переводы, читая оригинал «высоким, визгливым голосом». Такая жизнь не могла удовлетворить его, и вскоре, потеряв

всякие надежды на то, что брак спасет его от сомнений духа или от приступов раздражительности, он опять начал уповать на далекий Крэгенпутток. К концу пятого месяца семейной жизни план был готов. Брат Алек приедет и будет работать в поле, другой брат, Джон, займется врачебной практикой неподалеку, в Дамфрисе, а все остальные, писал он отцу, «будут работать на ферме, писать и трудиться каждый в своей области», Карлейль был уверен, что и здоровье его поправится вдали от города. А что думала об этом Джейн? «Нам с Джейн обоим очень нравится этот план», – уверял он отца.

Однако дело повисло в воздухе, пока Алек решал, ехать ли ему на положение арендатора на эту ферму среди мрачных шотландских болот, жить бок о бок со своим унылым и раздражительным братом. Тем временем Карлейль обдумывал предложение стать профессором этики в только что созданном Лондонском университете. Эта возможность представилась ему благодаря поэту Б. Проктору, который познакомил Карлейля с лордом Джеффри.

Фрэнсис, лорд Джеффри, по складу характера, пожалуй, не должен был полюбить Карлейля. Это был добродушный эпикуреец, дружелюбный и готовый помогать своим ближним, когда это в его силах, но неспособный не только почувствовать, а даже понять страстную озабоченность Карлейля судьбами мира. В манере поведения он был мягок в то время, как Карлейль был суров, в политике же был умеренным ортодоксальным консерватором, тогда как Карлейль был непримиримым и неортодоксальным радикалом. Казалось бы, достаточно уже этих различий, чтобы Джеффри считал Карлейля опасным разрушителем. С другой стороны, Карлейль должен был с горечью сравнивать тот легкий успех, который сопутствовал этому человеку в каждом деле, и те невероятные усилия, которых стоило ему самому каждое его достижение.

Во время встречи с Карлейлем Джеффри был, по-видимому, самым знаменитым адвокатом в Шотландии, но он пользовался также общественной и литературной славой. С тех пор, как он основал «Эдинбургское обозрение», в его карьере не было ни одной заминки. «Эдинбургское обозрение» немедленно встретило отклик у интеллектуально настроенной части богатых консервативных кругов общества как в Шотландии, так и в Англии. Умеренный консерватизм и осторожный утилитаризм этого издания понравился публике, а литературные суждения и предрассудки издателей оказывали решающее влияние и на писателей, и на узкий круг читателей. Из первых издателей остался один Джеффри, и его энтузиазм по поводу журнала, который, как

ничто другое, способствовал его литературной славе, теперь уже поугас. Сказалось это прежде всего на содержании «Эдинбургского обозрения», в чем сам Джеффри отдавал себе отчет. К тому же его беспокоило соперничество другого эдинбургского литературного журнала. Этим журналом был «Блэквуд», возрожденный кипучей энергией Джона Уилсона, который писал для него под псевдонимом Кристофер Норт те самые «Ambrosianae Noctes», которые являются для нас, пожалуй, наиболее удобочитаемым и интересным критическим произведением той эпохи.

Возможно, желанием найти «какого-нибудь умного молодого человека, который писал бы для нас», незадолго перед этим высказанным лордом Джеффри одному лондонскому другу, и объясняется радушный прием, оказанный им Карлейлю; возможно также, что он сразу распознал талант в этом неуклюжем, плохо одетом и странно выражающемся человеке, который явился к нему в дом однажды вечером с письмом от Проктора. Во всяком случае, прием оказался достаточно теплым, чтобы разогнать горькое чувство, оставшееся у Карлейля с тех времен, когда семь лет назад его рукопись, представленная в «Эдинбургское обозрение», была отклонена без всякого объяснения: «ни ответа не дали, ни рукописи не вернули – никакого внимания не обратили, для меня это означало катастрофу, более полную, чем я даже представлял себе!» У Джеффри в кабинете горели две свечи, стол под суконной скатертью был завален книгами, на полках также стояли новые книги, а Джеффри, этот «гомункулус ростом метр пятьдесят», как назвал его Саути, любезно вел беседу о немецкой романтической литературе, о Гете, о последнем переводе Карлейля из немецких романтиков. Карлейлю приходилось раньше видеть Джеффри, и не только в суде, и он смотрел на него, как на своего рода красивую игрушку, «хрупкую, прелестную, изящную фигурку» с блестящими черными глазами, овальным лицом, выражение которого мгновенно менялось от серьезного к веселому, с ясным, мелодичным голосом и, к сожалению, с каким-то хихикающим смехом. Вскоре лорд Джеффри вместе с женой навестил Карлейля. Он пришел в восторг от Джейн, и Карлейль писал своему брату Джону, что Джеффри «несомненно самый симпатичный из знакомых мне литераторов».

Ближайшим результатом этого знакомства с Джеффри, быстро перераставшего в дружбу, были две статьи Карлейля в «Эдинбургское обозрение»: одна о Рихтере, другая о «состоянии немецкой литературы». Но с этой дружбой Карлейль приобрел также в лице Джеффри ту литературную поддержку, в которой весьма нуждался, как ни готов он был обходиться своими силами. После нескольких визитов Джеффри, иногда с

женой, иногда без нее, и нескольких визитов Карлейлей в Крэгкрук, где жили Джеффри, адвокат понял (если не понял этого раньше), что имеет дело с незаурядным человеком. Та притягательная сила, которую неизменно имеет натура страстная для более умеренной, уважение и одновременно досада, которую испытывает человек, добившийся признания своих талантов, вблизи гения, не умеющего позаботиться о славе, все это, вместе с доброжелательным характером и симпатией к Джейн, заставило Джеффри искать для Карлейля какую-нибудь синекуру, которая избавила бы его от необходимости заточиться в Крэгенпуттоке. Впервые, он пытался своим влиянием добыть для Карлейля профессию в Лондонском университете, о чем уже говорилось. Он же рекомендовал Карлейля на место Чалмерза в Университете св. Эндрю. Из писем Карлейля видно, что он надеялся, найдя постоянное место, спастись от поденной кабалы; однако усилий Джеффри и Джона Уилсона, Брюстера и Ирвинга, его бывшего преподавателя математики Джона Лесли и старого Буллера оказалось недостаточно. Как часто случалось в подобных ситуациях и до и после Карлейля, кандидаты на эти места были наперед определены.

Лишившись этих надежд, Карлейль окончательно решил переехать в Крэгенпутток. Вместе с братом Алеком он отправился осматривать ферму и сообщил Джейн, что нашел здесь «зеленые поля – гораздо зеленее, чем ожидал; природу, которая делает все для благополучия ее детей; у людей же – такую нерадивость и убожество, какие вряд ли найдешь еще в целом графстве». Бедственное состояние всего хозяйства он приписывал лени арендующего его фермера: рассказ Карлейля об этом поверг бы всякого в отчаяние, но Джейн он не испугал. Ее ответное письмо говорит о том, что она либо смирилась с мыслью о Крэгенпуттоке, либо очень умело скрывала свое нежелание ехать туда. Оно также показывает меру воодушевления и оптимизма, свойственного ей в те дни; «Дорогой, дорогой, – я встретила почтальона... вчера утром, и что-то толкнуло меня спросить его, нет ли писем. Вообрази мое волнение, когда он дал мне твое письмо – на день раньше условленного! Я была так рада, и так боялась! так мне хотелось поскорее узнать все, что там написано, что я ничего не могла разобрать. В табачной лавке, куда я скрылась в поисках тихого уголка, я, наконец, с бьющимся сердцем прочитала драгоценное письмо и узнала, что мой милый все еще меня любит и что Крэг-о'Путта все же не безнадежна; а также, что если ты не вернешься к своей бедной жене раньше субботы, то не по своей воле. О! И не потому, что здесь посылаются к небу слишком мало самых страстных молитв, на которые только способна истомившаяся Джейн, а я истомилась, истомилась сердцем от этой разлуки, которую

потому только и могу выносить, что верю в ее краткость. Самый мой дорогой, я люблю тебя всем существом своим, гораздо горячее, чем можно выразить словами или даже поцелуями; хотя поцелуи (только не экспериментальные) по-своему очень красноречивы и мне по крайней мере говорили такие вещи! и они еще повторят то же самое – не так ли? – тысячи и тысячи раз? „Ожидаю, не сомневаясь“.

Увы, бедная Крэг-о'Путта! до чего довели ее эти ни на что не годные бездельники! Нужно ли мне советовать тебе сделать все возможное, – нет: «сделать невозможное», – чтобы удалить их оттуда. Даже если бы мы не хотели сами там жить, ужасно было бы оставить ее в таких руках».

Ответ Карлейля показывает с его стороны не меньшую любовь, он говорит также и о его вере в то, что по какому-то волшебству деревенский воздух мгновенно поправит его здоровье и даст ему ясное понимание путей, на которых могут быть спасены судьбы мира. «О, Дженни! Как счастливы мы с тобой будем в Крэг-о'Путта! Не то чтобы я искал здесь Аркадии или земли обетованной; но мы будем сидеть под своим собственным кустом ежевики и своим собственным деревом и будем сами себе хозяева, и моя жenuшка будет всегда со мной, а я буду здоров и счастлив, и продолжение моей жизни будет лучше ее начала. Я, наконец, смогу вознаградить драгоценную жемчужину, которую господь вручил мне, недостойному; я твердо знаю, что мне досталось самое дорогое сокровище этого подлунного мира – сердце моей благородной Джейн! Позор мне за то, что жаловался, как ни болен, как ни несчастен я был!..»

План переселения в Крэгепутток был ясен; на место негодного фермера приехал Алек Карлейль, начавший приводить хозяйство в порядок. Однако сам переезд откладывался на недели, а недели оборачивались месяцами. В конце концов, в Эдинбурге были такие возможности найти литературный успех, которые в Крэгепуттоке уже не представляются. Здесь была дружба Джеффри, добродушные нападки Джона Уилсона и блестящие беседы Де Квинси. («Чего бы только не отдал всякий, – говорила Джейн, – чтобы иметь его у себя в коробочке и вынимать оттуда для бесед».) Были здесь и такие удовольствия, как посещение Ирвинга, который приехал в Эдинбург, чтобы прочесть двенадцать проповедей о Страшном суде. Знаменитый проповедник теперь обнаруживал такие странности поведения, что заставлял некоторых сомневаться в его рассудке. Лекции читались в шесть утра, и толпы, собиравшиеся в этот необычный час, переполняли самую большую церковь в Эдинбурге. Неистовство, с которым он призывал готовиться к скорому судному дню, вызывало сильное недовольство. А неистовство это сопровождалось к тому же

странностью речи, одежды и поведения. Он носил старомодное платье с длинной жилеткой, он начинал свои теологические рассуждения словами: «Кто ты такой, о человек, что ты ранишь меня своим языком?», его длинные, прекрасные черные волосы вились вдоль спины. Восемнадцатилетняя сестра Карлейля Джейн гостила на Комли Бэнк, когда явился Ирвинг. Она спряталась где-то в углу и перепугалась до смерти, когда Ирвинг при виде пирога и вина вскочил и с чувством произнес: «Да благословит господь и эту чашу, и пищу, и маленькую ту девчушку, что живет здесь у вас!» Ирвинг пробыл всего полчаса, но и этого было достаточно, чтобы Карлейль с тревогой отметил его странную экзальтацию. Старый Джеймс Карлейль, когда ему рассказали об Ирвинге, высказался прямо. «Ты думаешь, что у него на уме – ездит туда-сюда по стране и рычит, как бешеный медведь?» – спросил он сына.

Разные причины держали их в Эдинбурге; к тому же Алеку понадобилось на устройство фермы больше времени, чем он предполагал. Денег было слишком мало на такие большие работы, как постройка верхнего этажа в старом доме или небольшого отдельного дома для Алека; да и такие сравнительно мелкие проблемы, как дымящий очаг на кухне, всерьез тревожили Карлейля. «Каждый человек от рождения имеет право на чистый воздух, – писал он брату. – Этот дымоход на кухне необходимо поправить, дорогой Алек; необходимо, говорю я, во что бы то ни стало... а если исправить не удастся, то подложить пороху и взорвать, но не позволить ему дымить». Но наконец все было готово, и весной 1828 года Карлейль и Джейн покинули Комли Бэнк. Два дня они пробыли у Джеффри в Крэгкруке, а затем последовали за шестью подводами, которые уже увезли их вещи в одинокий дом посреди вересковых пустошей.

Taken: , 1

Глава восьмая. Крэгенпутток

Здесь, в гористой местности, которую пересекает река Нит на своем пути к морю, недалеко от города Дамфриса, на хуторе под названием Крэгенпутток, он поселился в простом деревенском доме вместе со своей красивой и образованной женой. Гете. Предисловие к немецкому изданию «Жизни Шиллера» Т. Карлейля

Обстоятельства жизни Карлейля, пожалуй, освещены лучше, чем жизнь любого другого английского писателя. И Карлейль и Джейн были многословны в своих письмах: если уж они садились, чтобы написать, как они говорили, «наспех несколько строк», то из-под их пера, как правило, выходило достаточно, чтобы заполнить три-четыре печатные страницы. Причем многие из их адресатов сохраняли письма. Сами супруги также бережно хранили переписку. Вместо обычных для биографий более или менее достоверных предположений и подчас полного отсутствия сведений о герое в сложные моменты его жизни, здесь мы располагаем избытком материала, подчас до неловкости подробного. Ради полного представления о той или иной стороне биографии Карлейля иной раз стоит пренебречь хронологической точностью: нам удобней рассмотреть вместе переписку Карлейля с Гете и с братом Джоном, которая растянулась на многие годы и проливает свет на его характер и его стремления.

Переписка между Карлейлем и Гете началась, когда первому было двадцать девять, а второму – семьдесят пять. Немецкий мыслитель пользовался прочной всенародной славой; в течение полувека он состоял при Веймарском дворе министром, придворным моралистом и поэтом. Однако он по-прежнему оставался знаменитостью лишь национального масштаба, и ему лестно было получить из-за границы от незнакомого молодого почитателя перевод своего «Вильгельма Мейстера» вместе с письмом, полным благоговения, кончающимся такими словами: «Да будет жизнь Ваша долгой, долгой ради утешения и поучения нынешнего и будущих поколений». Ответ Гете был выдержан в любезном, но сдержанно-снисходительном тоне мастера, принимающего заслуженное поклонение; он прислал Карлейлю в подарок несколько своих стихотворений. Карлейль писал Джейн Уэлш, что письмо это было «почти как послание из Страны Фей, я не мог поверить, что вижу в действительности руку и подпись этого таинственного человека, чье имя витало в моем воображении, подобно заклинанию, с самого детства»; заклинание еще продолжало действовать

два года спустя, судя по самоуничижительному и благоговейному тону надписи, сделанной им на следующем подарке: он посылал «Жизнь Шиллера» и «Сборник немецких романтиков» с чувством, которое испытывает, по его словам, «Ученик перед своим Учителем, или нет – Сын перед своим Духовным Отцом».

Гете не остался равнодушным к высокой оценке, выраженной в этих словах, и дальнейшая переписка изобилует подробностями, как поучительными, так и нередко комическими. Вместе с «Жизнью Шиллера» Карлейль послал кошелек, сделанный Джейн, «прелестными руками и с искренней любовью». Гете ответил письмом на имя сэра Томаса Карлейля, за которым вскоре последовала «прелестная шкатулочка, какую только приходилось видеть». В шкатулке было пять томиков со стихами Гете с надписью «Глубоко ценимой чете Карлейлей»; записная книжка для Карлейля и черная металлическая цепочка для Джейн с головой Гете, вырезанной из цветного стекла и оправленной в золото; медаль с портретом Гете и другая медаль – с изображениями его отца и матери, наконец, там было еще несколько карточек со стихами Гете. Эти подарки украсили гостиную Карлейлей на Комли Бэнк, где уже висел один большой портрет Гете, а несколько других хранилось в папках. Медали расположились на каминной полке, книги заняли почетные места, а «из укромных тайников для ближайших друзей извлекаются Ваши письма». Со следующим письмом Гете прислал еще пять томов своих сочинений, маленькую шкатулку, календарь для Джейн и шесть бронзовых медалей. Две из них он просил передать Вальтеру Скотту, а остальные четыре – поклонникам Гете по усмотрению самого Карлейля. Эта задача требовала внимания: Карлейль обещал раздать медали «без поспешности, но по достоинству», и он долго размышлял, взвешивая достоинства подходящих кандидатов, прежде чем сделал окончательный выбор. Теперь следовало послать ответный дар: в Веймар отправился портфель работы Джейн, в котором был томик стихов Каупера, шотландский национальный головной убор и прядь черных волос Джейн. «Она просит... и надеется, – писал Карлейль, – что Вы пришлете ей взамен прядь Ваших волос, которую она сохранит как самое дорогое свое достояние и оставит после себя это драгоценное наследство только наиболее достойным».

В такой просьбе, обращенной к почти восьмидесятилетнему человеку, была некоторая доля бестактности: Гете был весьма огорчен своей неспособностью удовлетворить просьбу: «Во-первых, о несравненном локоне, который, правда, хотелось бы видеть вместе с милой головкой, но который, представ здесь моим глазам, испугал меня. Столь разителен был

контраст; ибо мне не нужно было ощупывать мой череп, чтобы удостовериться, что на нем сохранилась лишь жалкая щетина, не нужно было и зеркала, чтобы узнать, сколь обесцветил ее долгий натиск времени».

Далее Гете оставляет вопрос о локоне и обращается к более безопасному предмету – шотландскому головному убору, который показался ему «вместе с цветком чертополоха очень приятным украшением». Однако вся эта история его явно тревожила, и в постскриптуме письма, написанного два месяца спустя, он снова возвращается к ней. «Бесподобный локон черных волос заставляет меня прибавить еще страничку, чтобы выразить искреннее огорчение тем, что желаемый обмен, увы, невозможен. Скучная, бесцветная и лишенная всякой прелести старость вынуждена довольствоваться тем, что хоть какое-то цветение еще возможно внутри человека, когда внешнее давно уж прекратилось. Я стараюсь придумать какую-нибудь замену, но пока мне не посчастливилось ее найти».

На этом с вопросом о локонах было покончено. Однако обмен подарками и письмами продолжался. Последним был подарок к восьмидесятилетию Гете от «пятнадцати английских друзей», включая Уилсона, Скотта, Локартэ, Саути, Вордсворта, Проктора и Карлейля: это была печатка, на которой «среди превосходной резьбы и различных символов» на золотой ленте, обвитой змеей – символ вечности – стояли слова: «Немецкому Мастеру от друзей из Англии» – и дата. Идея принадлежала Карлейлю, и подарок понравился Гете, хоть он и не преминул заметить, что слова были написаны старинными немецкими заглавными буквами, «которые не помогают прочтению». Ответ на подарок был последним письмом, которое Карлейль получил от Гете: окруженный почетом, без каких-либо явных страданий, Гете скончался.

В некрологе, написанном для «Нового ежемесячника», Карлейль славил великого писателя, которого звал раньше своим духовным отцом, говоря о нем, как говорят о старых поэтах, что он был провидцем, подлинным властителем дум, мудрецом, подвинувшим мир вперед к «Постижению, Духовному Прозрению и Решимости». Венцом заслуг Гете, по мнению Карлейля, было провозглашение «Новой Эры», которая должна прийти на смену эпохе беспорядка и безверия. «Эта, наивысшая похвала книге, относится к его книгам: в них Новое Время: прорицание и начало Нового Времени. Здесь заложен краеугольный камень нового общественного здания, заложен прочно, на твердой основе. Мы видим здесь и наметки будущего здания, которые будут расширены последующими веками, поправлены и воплощены в реальность».

Вот что превозносил Карлейль, но ведь этим далеко не ограничивается роль Гете, многие же стороны в мировоззрении этого мастера казались его ученику темными или нелепыми. Их переписка ясно показывает поклонение Карлейля идеальному Гете, частично им же придуманному, и уважение Гете к оригинальности и нравственной силе ученика; но она также указывает на разногласия, которые скорее всего омрачили бы встречу с духовным отцом, которой так желал Карлейль.

Еще в начале переписки Гете высказал идею, владевшую им в старости, о взаимоуважительных человеческих отношениях, достичь которых можно было бы при помощи всемогущего искусства. То, что в искусстве одной какой-либо нации способствовало спокойствию мыслей и мягкосердечию, должно заимствоваться другими нациями. Национальные черты, разумеется, не должны при этом утрачиваться, ибо они, по мысли Гете, составляли соль того общения, о каком думал Гете: и все же «все истинно великое принадлежит всему человечеству».

Такой расплывчатости Карлейль вовсе не понял: его мысль шла более радикальными, но и более произвольными путями. Он осторожно отвечал, что, «насколько мог охватить значение» этой идеи, он с ней согласен. Однако, по существу, это был лишь вежливый отпор. Именно эти идеи Карлейль и считал у Гете нелепыми, эту идеалистическую веру в преобразующую силу искусства, о которой Карлейль писал: «Временами я мог бы пасть перед ним на колени и молиться на него, иногда же мне хотелось вытолкать его из комнаты». Кроме того, на протяжении переписки становится ясно, что Карлейлю надоело переводить сочинения других людей, какими бы великими они ни были. Предложение Эккермана, друга и биографа Гете, перевести «Фауста» Карлейль оставил без ответа; когда же Эккерман повторил его, говоря: «Если б я был на Вашем месте, я несомненно постарался бы заслужить благодарность моей страны тем, что посвятил бы лучшие часы досуга тщательному переводу „Фауста“, – Карлейль вяло согласился, но не стал ничего делать.

Гете, со своей стороны, не испытывал ни интереса, ни сочувствия к постепенно утвердившейся у Карлейля мысли о том, что мир возможно спасти лишь какой-либо новой религией, включающей новую идею о социальной справедливости. Почтенный служитель при Веймарском дворе ужаснулся бы от мысли Карлейля, что французская революция была великим и необходимым актом свержения растленных и прогнивших институтов. Напрасно пытался Карлейль добиться от Гете осуждения английского утилитаризма и бентамизма, напрасно расспрашивал его о влиянии этих тлетворных учений в Германии: на его вопросы мудрец не

дал ответа. Когда Карлейль получил письмо от революционеро-сенсимонистов я спросил мнение Гете о них, тот ответил предостережением: «От сенсимонистов держитесь подальше».

Свое официальное мнение о Гете Карлейль выразил в некрологе, наиболее сокровенные мысли он доверил лишь брату Джону в письме: «В моем сердце еретика с каждым годом все укрепляется странная, упрямая, однобокая мысль, что всякое Искусство в наше время – лишь воспоминание, что нам нынче нужна не Поэзия, а Идея (правильно понятая) ; как можем мы петь и рисовать, когда мы еще не научились верить и видеть!.. И что такое все наше искусство и все наши понятия о нем, если смотреть с такой точки зрения? Что такое сам великий Гете? Величайший из современников, которому, однако, не суждено иметь последователей, да и не следует их иметь».

*

Отношения отца и сына несколько раз и в разных вариантах воспроизводились в жизни Карлейля. Им, несомненно, руководило стремление компенсировать неудачу его отношений с отцом. Ирвинг, Джеффри и Гете в различной степени заменяли ему отца в их отношении к Карлейлю как старших к младшему. С другой стороны, и Карлейль бывал добрее и благожелательнее тогда, когда оказывался в положении старшего. Джейн Уэлш, как мы помним, он напоминал своим влиянием на нее и превосходством над ней ее горячо любимого отца. Да и его отношения с братом Джоном, который был моложе его всего на пять с небольшим лет, скорее походили па отношения отца с сыном.

К сожалению, мы не располагаем жизнеописаниями остальных родственников Карлейля, а отзывы современников весьма скудны. Из того, что известно, поражает прежде всего их грамотность, особенно при их скромном происхождении. Большая часть семьи прочла «Вильгельма Мейстера» и «Жизнь Шиллера»; хотя, когда Карлейль надписал «Сборник немецких романтиков» для своего отца, он говорил, что знает точно: Джеймс Карлейль не прочтет ни слова в этой книге.

Если Алек был, как утверждает один из биографов Карлейля, наиболее талантливым из братьев, то Джон, несомненно, проявлял наибольший интерес к литературе. На фотографии мы видим как бы уменьшенную копию самого Томаса Карлейля, с таким же, как у Томаса, вопросительным взглядом и такой же упрямо оттопыренной нижней губой, но без той

пламенной – вплоть до саморазрушения, – одержимости во взгляде, которая с юности была характерна для Томаса. Да и по сути своей Джон Карлейль был более сглаженным слепком со старшего брата; с интересом к литературе и склонностью к прямолинейной логике, которой он подчас доводил друзей до бешенства... На этого-то добродушного и несколько легкомысленного молодого человека, которого в семье звали «его сиятельством Луной» за круглое лоснящееся красное лицо, Карлейль и расходовал щедро свои огромные запасы нежности и значительную часть весьма скудных средств. Он частично платил за его образование и занятия медициной, когда они жили вместе в Эдинбурге; а когда, закончив свое медицинское образование, Джон получил приглашение в Мюнхен от барона д'Ейхталя, дяди двух молодых сенсимонистов, большую часть расходов опять-таки взял на себя Томас.

Чтобы ясно представить себе ту щедрость, с которой он всегда помогал семье – а он также посылал деньги отцу и матери, – нужно вспомнить, что он жил тогда на гонорары за рецензии (то есть на 250 фунтов в год), что недостаток денег помешал ему повидать Гете в Веймаре и что главным преимуществом Крэггенпуттока было именно то, что там можно было прожить на 100 фунтов в год – вполовину меньше того, что понадобилось бы в Эдинбурге. На протяжении всей своей жизни Карлейль не ценил ни денег, ни удобств, которые они могли доставить. Такого же отношения к деньгам он ожидал и от жены. Оно было, однако, другим; но ни тогда, ни позднее Джейн как будто не жаловалась на бедность. Она также никогда не ожидала от него, что он изменит себе и возьмется за какую-нибудь ненужную работу ради того скромного, но прочного дохода, который казался ей столь необходимым до свадьбы. Более того, наотрез отказавшись жить в одном доме с миссис Уэлш, Карлейль тем не менее ожидал, что Джейн поселится в Крэггенпуттоке вместе с его братом Алеком и будет принимать его мать и сестер и, разумеется, брата Джона, на Комли Бэнк. Против всего этого у его жены не находилось возражений – настолько изменилась Джейн Уэлш Карлейль по сравнению с Джейн Бейли Уэлш. Не жаловалась она и тогда, когда Джон на весь вечер уходил наверх наблюдать за звездами, а потом возвращался часов в десять и просил овсянки – «с посиневшим носом и красный как рак».

Уезжая в Мюнхен, Джон Карлейль оправдывался тем, что ему необходимо совершенствоваться в хирургии, без чего нельзя открывать собственной практики. Однако уехав, он не обнаруживал никакого желания возвратиться. Он добродушно принимал наставления брата, даже, возможно, вел дневник, как ему советовали; однако сомнительно, чтобы он

послушался Карлейля и попытался вникнуть в политическую обстановку в Баварии и определить природу общественного уклада и степень личной свободы, дозволенную там. Четыре месяца его семья вообще не имела никаких известий от «его сиятельства», а когда он наконец подал о себе знать, то лишь с тем, чтобы сообщить, что он желал бы еще год провести в Германии, если бы имел на это средства. В Германии он не остался, но и домой не возвратился. Полгода он пожил в Вене на средства Томаса, который изо всех сил старался уговорить его вернуться домой и начать по крайней мере практиковать в качестве врача. «Мне представляется совершенно ясным... что человек, обладающий положительным нравом и талантом врача, не может не добиться немедленного значительного успеха в наше время во многих частях Шотландии, из которых, впрочем, немногим уступит наше графство, наш город Дамфрис».

Наконец Джон возвратился на родину, но не с целью стать врачом в Дамфрисе. Да и в любом другом месте он не стремился к этому: после нескольких недель, проведенных в размышлениях в Скотсбриге и Крэгенпуттоке, он наконец сообщил свое твердое решение: он будет жить статьями. Он задумал две статьи – одну о магнетизме у животных, другую о немецкой медицине, – и Карлейль поддержал его словами, в которых слышится нотка отчаяния. «В тысячный раз повторяю, что тебе нечего бояться, так что налегай покрепче плечом на колесо. Пиши свои статьи, самые лучшие, на какие ты способен, обдумай наедине с собой, спроси совета добрых друзей – и не бойся дурного результата». С самыми лучшими намерениями и самой твердой решимостью Джон Карлейль отбыл в Лондон.

*

Что же происходило в это время в Крэгенпуттоке, в этой глуши, куда почту привозили раз в неделю, а единственными соседями на шесть миль кругом были крестьяне? Где зимой в течение трех месяцев ни одна живая душа не стучалась в двери, ни даже нищий, просящий подаяния? Дни, недели, месяцы текли здесь, следуя по кругу неизменной чередой. Карлейль ездил верхом по пустошам, размышлял о грядущей судьбе человечества, старался понять французскую революцию, которая все больше занимала его мысли, писал новые похвалы немецким романтикам и нападал на модных немецких драматургов, работал над критико-биографическими исследованиями о Вернее и Вольтере. О Вернее он писал

для «Эдинбургского обозрения», но Джеффри, хоть и получил одну из медалей Гете, все же решил наконец, что в Карлейле слишком много этого «тевтонского огня» и что его высокое мнение о Гете и других было «ошибочным». Пригласив Карлейля писать о Вернее, он предупредил, что не позволит ему открыто поносить величайших поэтов века. «Фелиция Хеманс приводит меня в восторг, а Муром я глубоко восхищаюсь... Я приведу вам бесчисленные места у Мура, с которыми сравните, если можете, что-нибудь у Гете или его последователей».

С этого времени Джеффри, которому это самовольное изгнание в Крэгенпутток казалось предосудительным чудачеством, старался заставить Карлейля изменить отношение к жизни и к литературе и вернуться в Эдинбург – эти шотландские Афины. Одержимость и подвижнические настроения Карлейля не нравились ему, он подозревал, что Джейн страдает, позабытая в этой погоне за химерами, как он считал. «Веселитесь, играйте и дурачьтесь с ней по крайней мере столь же часто, как ей приходится быть мудрой и стойкой с Вами, – писал он. – Нет у Вас на земле призвания, что бы Вы ни воображали, хотя бы вполтину столь же важного, как – попросту быть счастливым».

Эти опасения за благополучие Карлейлей были неоправданными: в целом жизнь их была достаточно счастливой. На конюшне имелись две лошади, и по утрам они отправлялись часок прогуляться верхом перед завтраком. Затем Карлейль писал у себя в уютном кабинете с зелеными шторами, в то время как Джейн осматривала хозяйство – дом, сад и живность, обрезала цветы и собирала яйца; после обеда Карлейль читал, а она лежала на диване и спала, читала или мечтала. Вечерами они иногда читали вдвоем «Дон-Кихота», изучая испанский язык. «В целом я никогда не была более довольна своей жизнью, – писала Джейн Бэсс Стодарт. – Здесь наслаждаешься такой свободой и спокойствием». Она с радостью замечала в себе дар приспособляться равно и к шумной эдинбургской жизни, и к «прелестным бескрайним мхам» Крэгенпуттока.

Так было в лучшие дни. Но бывали и плохие. Карлейль окреп от спокойной жизни, размеренной работы и упражнений, но здоровье Джейн ухудшилось. Она с юности была хрупкой, подверженной таинственным мигреням и приступам уныния; теперь же ей стало еще хуже, она страдала от простуд, мучилась горлом и желудком. Как и Карлейль, она верила в могущество касторки. Природная веселость в те дни еще не изменяла ей, но по утрам, когда нельзя было открыть двери, заваленной снаружи снегом, она с сожалением думала о жизни в Эдинбурге и ей страстно хотелось «увидеть снова зеленые поля или хоть черный мох – что угодно, только не

эту огромную пустыню слепящего снега».

Жизнь в Крэгенпуттоке представляла некоторые неудобства, но настоящих трудностей было немного. Из Эдинбурга с Карлейлями приехала служанка, кроме того, имелась еще молочница, и, как Карлейль называл ее, «скотница – нерадивая, непоседливая веселая баба». Здесь у Джейн вряд ли было больше грубой работы, чем в Комли Бэнк; но много лет спустя, вспоминая эту жизнь среди болот, она усиливала ее драматизм и, глядя из сумрака своей унылой старости, приписывала ей воображаемые лишения и печали. В письме, написанном ею тридцать лет спустя, уже будучи женой знаменитого человека, она вспоминала Крэгенпутток и особенно один случай в самом мрачном свете: «Я поселилась с мужем на маленьком хуторке посреди мшистых болот, который перешел ко мне по наследству через много поколений от самого Джона Уэлша, женатого на дочери Джона Нокса. Все это, к моему стыду, не заставило меня смотреть на Крэгенпутток иначе, чем на унылое болото, негодное для жизни... Более того, мы были очень бедны, а хуже всего было то, что я, единственный ребенок у родителей, которого они всю жизнь готовили к „блестящему будущему“, не имела ни одного полезного навыка, зато отменно знала латынь и совсем неплохо – математику! В таких невыносимых условиях мне надлежало еще научиться шить! С ужасом узнала я, что мужчины, оказывается, до дыр снашивают носки и беспрестанно теряют пуговицы, а от меня требовалось „следить за всем этим“; к тому же мне надлежало научиться готовить! Ни один хороший слуга не соглашался жить в этом глухом углу, а у мужа больной желудок, и это страшно осложняло жизнь. Более того, хлеб, который возили из Дамфриса, „плохо действовал на его желудок“ (боже праведный!), и мой долг как доброй и преданной жены явным образом состоял в том, чтобы печь хлеб дома. Я заказала „Ведение загородного хозяйства“ Коббетта и принялась за свой первый хлеб. Но поскольку я не имела никакого понятия ни о действии дрожжей, ни об устройстве печи, хлеб попал в печь уже в то время, когда мне самой пора было идти спать. И осталась я одна в спящем доме, посреди безлюдной тишины. Пробило час, затем два, три, а я все сидела в полном одиночестве, все тело мое ныло от усталости, а сердце разрывалось от чувства потерянности и обиды. Тогда и вспомнился мне Бенвенуто Челлини, – как он сидел всю ночь, глядя, как закаляется в огне его Персей. И вдруг я спросила себя, с точки зрения Высшей Силы – так ли уж велика разница между караваем хлеба и статуей Персея? Не все ли равно, какое именно применение ты нашел своим рукам? Воля человека, его энергия, терпение, его талант – вот что заслуживает восхищения, а статуя Персея – всего лишь

их случайное воплощение».

Сказано хорошо, но рассказ Карлейля о тех же событиях звучит достовернее. Он записал в своих «Воспоминаниях» в то время, когда никак не мог знать о письме Джейн: «Я хорошо помню, как однажды вечером она вошла ко мне поздно, часов в одиннадцать, с торжествующим и одновременно загадочным выражением лица и показала мне первый испеченный ею хлеб: „Взгляни-ка!“ Хлеб и вправду был превосходный, только корочка слегка подгорела; она сравнивала себя с Челлини и его Персеем, о котором мы до этого читали».

*

Посетители были редки в Крэгенпуттоке. Джеффри гостил здесь три дня вместе с женой, ребенком и болонкой, которую они повсюду возили с собой. Визитом все остались очень довольны. Карлейль позднее с гордостью вспоминал, что Джейн, несмотря на их сравнительную бедность, сумела создать впечатление изящества и изобилия. Очень повеселил всех Джеффри, который с блеском пародировал известных политических деятелей, расхаживал взад и вперед «полный электрического огня», меняя манеру, так что подчас «его маленькая фигура казалась огромной, если этого требовал воплощаемый им образ», пока наконец он не свалился под взрывы всеобщего хохота и не застыл в изнеможении, словно заколдованный, без движения, без звука, уставившись блестящими глазами в пространство».

Следующим посетителем был Ирвинг, который приехал восемь месяцев спустя, проездом, совершая очередную триумфальную поездку по Шотландии, и провел у них три дня. В один и тот же день он успел прочесть трехчасовую проповедь в Дамфрисе в присутствии 10 тысяч слушателей и вторую, четырехчасовую проповедь здесь же поблизости, в Голливуде. О нем шептались, что у него странные, крамольные взгляды на происхождение Библии; однако пока это был всего лишь шепот.

В следующем году приезжала на несколько недель мать Карлейля и на две недели его отец. Иногда молодая чета Карлейлей отправлялась верхом за четырнадцать миль навестить миссис Уэлш в Темплэнде, сорокамильные поездки в Скотсбриг предпринимались реже. Они и в самом деле жили очень уединенно, и если Джейн стойко сносила такую жизнь, то лишь потому, что не только любила своего мужа, но и преклонялась перед ним. Написанное Карлейлем в Крэгенпуттоке убеждало Джейн в том, что его

величие непременно будет когда-нибудь всеми признано.

Здесь, в глуши, посреди этих мрачных болот, из-под пера Карлейля начали наконец выходить работы глубоко, истинно оригинальные. Статьи о немецкой литературе стали теперь всего лишь доходным побочным результатом его собственных размышлений: защищая немецкий вкус, он отстаивал теперь собственную позицию, преклоняясь перед мудростью Гете и мистицизмом Новалиса, он на самом деле искал в них противоядия против французского рационализма. Тем не менее его работы о Вернее и Вольтере и статья под названием «Знаменья времени» отчасти выражают и его позитивную программу.

В наше время трудно понять, чем могла не понравиться Джеффри статья Карлейля о Вернее. В ней лишь намечен будущий собственный слог зрелого Карлейля, хотя стиль, заимствованный у Джонсона, здесь уже начинает преобразовываться и заменяться более сжатой, почти лишенной нарочитости прозой. Местами она спрессована до афоризма: «Сказано, что в глазах собственного слуги никто не герой, и, должно быть, это верно, но обвинить в этом можно с равным основанием и героя, и слугу». Том Мур и Фелиция Хеманс так и не удостаиваются здесь упоминания, зато критикуется Байрон за некоторую выпренность, заметную особенно в сравнении с простотой Бернса, критикуется, впрочем, весьма сдержанно и убедительно. Вся статья пронизана теплым чувством, которым отмечены далеко не все из более знаменитых работ Карлейля.

Такой представляется статья нам, но Джеффри судил о ней иначе. Он возражал против тона и слога статья: некоторые мысли, например, что поэты, «подобно миссионерам, посланы своему поколению», не встречали у него никакого сочувствия. Джеффри настаивал на сокращениях. По его мнению, и статья от них не проиграет, да и автор не пожалеет. Весьма оптимистическая точка зрения, если учесть, что выбросить он предполагал примерно пятую часть всей статьи. В корректуре Карлейль восстановил почти все сокращения, вызвав гнев Джеффри. Его упреки предвосхищали те обвинения, которые Карлейлю не раз предъявлялись в будущем: «Думается, что не следует впредь давать вам читать корректуру. Вас это только огорчает, а пользы никакой, так как правите вы дурно... Боюсь, что вы больше восхищаетесь собою, нежели приличествует философу, раз считаете необходимым цепляться за эти ничтожные обрывки красноречия – и отвергать мои безобидные исправления в вашем боговдохновенном труде. Как могло вам прийти в голову восстанавливать слово „фрагментарный“ или эту простенькую, избитую шутку о том, что платье делает человека и что портной поэтому – его создатель?» Однако «обрывки красноречия»

появлялись впоследствии даже чаще, да и шуткой о портном он еще воспользовался, причем весьма примечательно.

Берне привлекал Карлейля отчасти своим типично шотландским характером, неприязнь же к Вольтеру в большой степени основывалась на том, что тот представлял (как казалось Карлейлю) «врожденную легковесность натуры, полное отсутствие серьезности», отличавшие французов. На первый взгляд здесь выражен самый обыкновенный, пресный пуританизм. Однако в руках Карлейля эта мысль выростала и приобретала драматический смысл, знаменуя собой противостояние рационального ума, смотрящего на историю «не глазами благоговейного очевидца или даже критика, но всего лишь через пару антикатолических очков», – более цельному уму (такому, в сущности, как у самого Карлейля), ценившему и силу и остроту рационализма, но способному заглянуть дальше этого рационализма и поставить свои гениальные достижения на службу той Новой Эре, в наступление которой так верил Карлейль.

Противостояние заметно и в другом: яркая жизнь Вольтера и маркизы де Шатле, с их огромным духовным влиянием на современную им эпоху, была во многом похожа на то, чего Карлейль желал для себя и Джейн – и что было недостижимо в Крэгенпуттоке. Читая его рассказ о последней триумфальной поездке Вольтера в Париж, нельзя не прочесть сокровенной мысли самого автора: и он мог бы совершить такую же поездку и даже с большей пользой. Признавая в Вольтере «несокрушимый гуманизм, душу, которая никогда не оставалась глухой к крику обездоленных, не была слепой к свету истины, красоты, добра», Карлейль-моралист тем не менее считал его не более чем шутником, пусть и блестящим: «Если признать его величайшим из насмешников, то следует добавить, что в нравственном отношении он к тому же и лучший из них». Если нам такая похвала не покажется очень уж щедрой, вспомним, что эту статью Карлейль даже не стал показывать Джеффри, так как столь решительное одобрение крамольных религиозных взглядов Вольтера вызвало бы бурю протеста. В этих словах – человек, борющийся с собственной неприязнью ради того, чтобы понять. Пусть назовут ее недостаточно щедрой те, кто сделал равное усилие, чтобы понять Карлейля.

Идеи Вольтера возвестили французскую революцию; о каких революционных переменах в английском обществе возвещал наш новый пророк? «Придет время, – писал Карлейль, – когда сам Наполеон будет лучше известен своими законами, нежели своими битвами, а победа при Ватерлоо окажется менее значительным событием, чем открытие Института механики». В статье «Знамена времени» он впервые прямо

говорит о «Машинном Веке», когда ремесленник оказывается изгнанным из мастерской, челнок покидает руки ткача, а моряк оставляет весла. Он высказывает мысль – и она до сих пор владеет умами людей – о том, что механика духа важнее для современного общества, чем даже этот замечательный стремительный рост сил, вызванный машинным производством, как бы неотвратно – и быстро – он ни видоизменял старые отношения между богатыми и бедными. Утилитаристам, представителям наиболее распространенного передового течения эпохи, казалось очевидным, что развитие машинной техники приведет человечество к благоденствию. Противоположную точку зрения отстаивали на практике луддиты, ломая все машины, до которых они могли добраться. Карлейль приветствовал век машин, но доказывал, что он потребует переустройства общества: «Противоборство заложено глубоко в самой ткани общества; это бесконечная жестокая схватка Нового со Старым. Французская революция, как теперь легко понять, не породила это мощное движение, но сама была его детищем. ...Пока все усилия были направлены на достижение политической свободы, но на этом они не должны и не могут остановиться. Человек безотчетно стремится к свободе более высокого порядка, нежели простое избавление от гнета со стороны своих ближних. Все его благородные начинания, все его упорные попытки, все величайшие достижения суть лишь отражение, приблизительный образ этой высшей, небесной свободы, которая и есть „справедливый удел человека“.

Оригинальность этих мыслей не укрылась от внимания его современников, хотя «Знамения времени» вызвали скорее тревогу, чем одобрение. Исключение составили сенсимонисты, которые даже вступили в регулярную переписку с Карлейлем, надеясь внушить ему свои взгляды, например, на необходимость строгого уравнивания доходов. Впрочем, Карлейль и сам был не столь далек от этой идеи, когда писал в своем дневнике, что политэкономам следовало бы изучать условия жизни людей, узнать количество занятых физическим трудом и среднюю заработную плату; и когда он обнаружил, что доход иных людей в семь-восемь тысяч раз превышает заработную плату других. «И что делают эти благодетельные особы, имея такой доход? – охотятся на куропаток! Может ли так продолжаться? Нет, во имя бессмертия души – так не может, не должно и не будет продолжаться!»

Стремясь внести свою лепту в переустройство общества, он приступил к работе над сочинением, которое сам охарактеризовал в письме к брату как «весьма своеобразную вещь, уверяю тебя! Она устремляет взгляд с Небес

на Землю и обратно в каком-то странном, необычном сатирическом
исступлении; хороша ли она – пока рано судить».

Taken: , 1

Глава девятая. Работа над «Сартором»

Что такое человек, если взглянуть на него с точки зрения логики, рассудка? Жалкое голодное двуногое существо, одетое в брюки. Часто, когда я читаю о торжественных церемониях, пышных приемах, коронациях, вдруг в моем воображении одежда слетает со всей компании, и они стоят, жалко переминаясь, одновременно нелепые и жуткие.

Томас Карлейль. Дневник, август 1830

В ответ на частые упреки Джеффри, что он похоронил себя и, главное, свою жену в пустыне, Карлейль сказал как-то, что поселился здесь не по своей воле, а из необходимости зарабатывать по крайней мере 100 фунтов в год на текущие расходы. Джеффри в трогательном и милом письме немедленно предложил ему эту сумму, с которой, как он писал, может «легко расстаться при моем доходе; мне будет стыдно бессмысленно копить эти деньги или тратить их на бесполезные прихоти, когда можно такого человека, как вы, избавить от неудобств и волнений». Карлейль отказался от денег, правда, поразмышляв в своем дневнике над греховной сущностью гордыни; а два месяца спустя сам написал Джеффри, прося помочь. Джеффри прислал ему шестьдесят фунтов, хотя Карлейль просил о пятидесяти: «зная, что человек, который полагает, что ему необходима эта последняя сумма, на самом деле нуждается, по крайней мере, в лишних десяти фунтах».

Если Карлейль нуждался, то в первую очередь потому, что он помогал брату Джону, чьи дела в Лондоне шли все хуже и хуже. Почти в каждом своем письме Карлейль убеждал брата заняться каким-нибудь делом, которое приносило бы ему твердый доход. Он предложил грандиозный план статьи о диетическом питании, которую Джон вскользь упомянул. Есть ли какие-нибудь особенности в диете континентальной Европы? Следит ли какое-нибудь из правительств за питанием своих граждан, а это, несомненно, обязанность всякого правительства? Как питаются боксеры? Что ели атлеты прошлого? «Ограничься по крайней мере следующим: человек может питаться всем, от ворвани (как в Гренландии) до глины (как в устье Ориноко, смотри у Гумбольдта). Получишь зависимость страстей и

проч. от еды...» Вряд ли работа над такой статьей входила в планы доктора Джона. Писал он мало, распродалось и того меньше, и в конце концов Карлейлю пришлось признать, что у его брата «не было склонности к медицине» и он не мог зарабатывать литературным трудом. К этому времени Карлейль израсходовал на образование и поддержку брата почти 250 фунтов. Куда его теперь пристроить? И снова затворник из Крэгенпуттока обратился за помощью к Джеффри; маленький Герцог Крэгкрук, как называли его Карлейли, сперва одолжил доктору Джону денег, а затем нашел ему место домашнего врача графини Клер, которая большую часть времени разъезжала по Европе. В этом качестве доктор Джон получал 300 гиней в год на полном содержании и вскоре начал возвращать долги Карлейлю и Джеффри. Однако доктор Джон был не единственной заботой. Планы завести хозяйство в Крэгенпуттоке, державшиеся на деньгах Карлейля, вскоре рухнули, и брат Алек, потеряв в три года 240 фунтов, бросил предприятие, «к которому он, очевидно, не пригоден», как сухо заметил Карлейль. Большим ударом была для Карлейля смерть его любимой сестры Маргарет от туберкулеза в возрасте двадцати шести лет. Осложняло жизнь и то, что все труднее становилось печатать статьи о немецкой литературе и что была отвергнута частично написанная им книга «История немецкой литературы», так и оставшаяся неизданной.

Среди этих грустных обстоятельств Карлейль находил утешение в идее отречения, выраженной немецким словом *Entsagen*, и все более резко отзывался о том, что он сам называл гигманизмом и гигманистами. Поводом для этих обозначений послужил диалог на одном из судебных разбирательств того времени: В опрос: Что за человек был мистер Уир? Ответ: Он всегда был уважаемым человеком. Вопрос: В каком смысле уважаемым? Ответ: Он держал кабриолет¹⁸. В свой дневник Карлейль записывал самые разнообразные и случайные мысли и соображения, пытаясь отделить свои истинные убеждения от предрассудков. Как может он понять Англию, постичь ее историю? Не церковь ли составляет в ней половину ее? «Не заблуждаюсь ли я? Разве не правда, что мне достаточно увидеть шляпу священника, чтобы почувствовать неприязнь к ее обладателю?» Правда, к тому же, что он «отчасти презирает, отчасти ненавидит шотландскую аристократию... От этого также следует излечиться... Ведь не все же из них только и делают, что собирают ренту да охотятся». Смерть Шлегеля, личность Лютера, статьи самого Карлейля о Вольтере и Новалисе – все это в его сознании сливалось в общую мысль об общественном упадке и о задачах политэкономии и философии. «Политическая философия должна быть

наукой, вскрывающей потайной механизм человеческого взаимодействия в обществе... те причины, которые заставляют людей быть счастливыми, нравственными, набожными или напротив. И это вместо всего, что толкуют нам о том, как обменять „шерстяные кафтаны“ на „свиные окорока“. Такие мысли перемежаются у него с обещаниями самому себе оставаться в стороне от дел человеческих: „Держись, человек, и не жалея себя. В мире ты бессилён изменить что-либо; пробиться ты никогда не сможешь и не найдешь себе верных союзников, но над собой ты властен“. Однако не прошло и недели, как была высказана противоположная точка зрения: „Иногда я странным образом предвижу силу духовного единения, союза людей, имеющих одну и ту же цель“. Глубокое сострадание к обездоленным, страстная ненависть к „высокопоставленным дилетантам“ – вигам и тори, взволнованная реакция на скоро подавленную революцию 1830 года – „Долой дилетантизм и маккиавеллизм, на их место – атеизм и санкюлотство!“ – все эти мысли быстро сменяют друг друга в его дневнике. В Англии виги пришли к власти, и Джеффри стал генеральным прокурором Шотландии. „Виги у власти, барон Брогам на посту лорда-канцлера! Горящие скирды по всей южной и средней Англии! Чем-то кончится? Или еще сто лет – одна революция за другой?“

*

Если у человека родятся фантастические замыслы, говорит Ницше, то наверняка у него неразбериха в мыслях. У Карлейля из неразберихи в мыслях родился «Сартор Резартус» – буквально «Перелицованный портной». В этой необычной книге он хотел поместить все мистические, радикальные, антигигманистские мысли, которые пришли ему на ум, используя в качестве канвы вымышленную биографию герра Тейфельсдрека (буквально «чертов навоз»), профессора всеобщих вещей в университете Не-пойми-откуда, автора книги по Философия Одежды, изданной Молчи-ни-Звука и компанией.

В 1900 году вышло девять отдельных изданий «Сартора Резартуса». С тех пор прошло лишь полвека, а книгу настолько прочно забыли, что полезно было бы привести ее краткое содержание. «Сартор» состоит из трех частей: в первой со множеством шуток и отступлений рассказывается о карьере Тейфельсдрека и пути, каким рукопись о нем попала в руки предполагаемого редактора; вторая часть повествует о детстве и юности Тейфельсдрека; в третьей излагается Философия Одежды. Книга

представляет собой картину интеллектуального и духовного развития ее автора и критику различных сторон британской жизни с позиции, выраженной в «Знамениях времени».

В кратком описании, однако, невозможно передать ни манеры, в которой написана книга, ни степени ее воздействия. По манере ее можно в самых общих чертах сравнить со Стерном; профессор перескакивает с темы на тему, с политического спора на комедию, от педантизма к полной нелепице, когда история Тейфельсдрека обнаруживается в шести бумажных пакетах, помеченных знаками зодиака, где, кроме нее, оказываются еще счета за прачечную и «Метафизикотеологическое изыскание, разрозненные мысли относительно парового двигателя». Затем комедия внезапно превращается в безжалостную сатиру, когда профессор комментирует проект своего ученика, надворного советника Саранчи, который предлагает создать Институт угнетения населения. Саранча, убежденный мальтузианец, боится, что люди на перенаселенной земле начнут пожирать друг друга. На это профессор говорит: «Древние спартанцы знали лучший способ; они устраивали охоту на своих рабов и пронзали их копьями, когда те становились слишком многочисленными. При наших усовершенствованных способах охоты, герр надворный советник, да после изобретения огнестрельного оружия и с постоянной армией – насколько упростилась бы задача! Может быть, для какой-нибудь густонаселенной страны хватило бы трех дней в году, чтобы отстрелять всех пауперов, которые накопились за год. Неплохо бы правительствам подумать над этим. Расходы ничтожны – да что там, настрелянное мясо окупит и их. Насолите его и уложите в бочки, и если оно не пойдет впрок ни вам, ни армии и флоту, то уж несчастные пауперы роскошно проживут на нем у себя в рабочих домах и проч., то есть те из них, кого просвещенные благотворители сочтут достаточно безвредными, чтобы их можно было оставить в живых».

Главным героем «Сартора Резартуса» является, конечно, сам Карлейль, изображенный здесь иронически как человек «гениальных качеств, омрачаемых слишком часто грубостью, неотесанностью и недостатком общения с высшими сословиями», его книга «торжественна, как тихое, окруженное горами озеро, возможно даже кратер потухшего вулкана»; он «умствующий радикал, причем самого мрачного оттенка; он ни в грош не ставит, как правило, обряды и атрибуты нашей цивилизованной жизни», за которые мы все так держимся. Характер героя виден в основном из его суждений, но во второй части «Сартора» мы встречаем подробный рассказ о школьных годах самого Карлейля (только Тейфельсдрека приносит к его

приемным родителям в корзинке какой-то незнакомец), о его увлечении Маргарет Гордон и его «возрождении». Такая смесь автобиографического повествования с социальной сатирой сама по себе трудна для восприятия; к этим трудностям прибавляется еще своеобразный стиль Карлейля, впервые в полную силу продемонстрированный в этой книге.

Язык Карлейля – единственный в своем роде во всей английской прозе. Он одновременно обескураживает простотой и разговорностью и поражает обилием изоощренных метафор; слова-связки пропущены, чем достигается большая сила и выразительность; слова переставлены в предложении на первый взгляд без всякого смысла, но это неизменно служит усилению выразительности и делает язык более сжатым, напористым; части речи теряют свои обычные функции и образуют новые, фантастические сочетания. Это язык, не имеющий ничего общего с тем, что во время Карлейля считалось правильной английской прозой: он необуздан, как само беспорядочное многообразие жизни, в то время как в моде был классицизм; в одном абзаце, даже часто в одном предложении неожиданно оказываются рядом неологизмы и сложные слова, необычные прозвища, вроде имени Тейфельсдрек, и фантастические метафоры; все это пронизано юмором – изысканным и шутовским одновременно, бьющим через край. Этот стиль оказал огромное влияние на всю литературу девятнадцатого столетия. Так же, как Вордсворт и Кольридж покончили с классицистическим штампом в поэзии, так Карлейль уничтожил его в прозе. Он придал небывалую до того свободу и гибкость историографии, а романистам показал, что можно о самых сложных и серьезных вещах писать метафорически. В особенности Диккенс, Мередит, Браунинг и Рескин обязаны Карлейлю, да не найдется, пожалуй, такого писателя во второй половине прошлого столетия, который в той или иной степени не испытал бы его влияния.

Естественно спросить, как сложился этот стиль у самого Карлейля? Карлейль объяснял, что такой слог, одновременно отрывистый и изысканный, отличал речь его отца в повседневном разговоре, а что юмор он унаследовал от матери. Это, конечно, правда, но не объясняет всего полностью. Он перенял от Ирвинга отвлеченную риторику, которая теперь является наименее привлекательной для нас чертой его произведений. А к аннандэльской разговорности и Ирвинговой риторике прибавлялось к тому же влияние немецких оборотов речи, столь добросовестно изученных им. Лучший разбор стиля Карлейля содержится в его же критике языка Жана Поля Рихтера, который представляет, по словам Карлейля, «для критиков грамматического пошиба непростительное, часто непреодолимое

нагромождение кощунственных вольностей»: «Нет, он знает грамматику и не питает ненависти к правописанию и синтаксису, но и с тем и с другим он обращается очень вольно. Он с легкостью вводит обороты, целые предложения, расставляет тире; изобретает сотни новых слов, переиначивает старые, соединяет их дефисом попарно или цепочкой в самые фантастические комбинации; короче говоря, он строит самые беспорядочные, громоздкие, бесконечные предложения. Без конца иносказания, вообще все составляет у него сплошь метафоры, сравнения, аллюзии к самым разнообразным предметам на Земле, в Море и Воздухе; и все это перемежается эпиграммами, порывами исступления, злобными выпадами, восклицаниями, афоризмами, каламбурами и даже ругательствами! С виду настоящие индийские джунгли, бесконечный и беспримерный ребус; со всех сторон ничего, кроме тьмы, разноголосия и отчаянной путаницы!»

Чем оправдан такой стиль? Отчасти имея в виду этот же вопрос, Карлейль спрашивает по поводу Рихтера: отражает ли этот стиль его истинный образ мысли и жизни? (И отвечает утвердительно.) Но главное не в этом, а в том, что Карлейль не мог предпринять атаки на существующие институты и официальный образ мыслей его эпохи, объясняясь прозой восемнадцатого столетия; в том, что, «взрывая все здание языка Джонсона, революция видна и в этом, как во всем остальном».

«Это создание гения», – сказала Джейн по первом прочтении. Она была права; но «Сартор Резартус», по собственным меркам Карлейля, был неудавшимся созданием гения.

Примечательно, что книга описывает общественный хаос, а сама столь же хаотична; что из-за тех же самых революционных черт, которые делают язык отличным оружием для атаки на общество, он становится до крайности непригодным для изображения Новой Эры. Революция и грядущая за нею Новая Эра всецело занимали ум Карлейля. Несомненно, писал он сенсимонисту Густаву д'Эйхталю, что лозунг «от каждого по его способности, каждому по его труду» является целью всякой истинной общественной доктрины. В «Сарторе» нет позитивных идей относительно переустройства общества; вместо этого в книге есть рассказ о путешествии самого Карлейля из «Нескончаемого Нет» через «Точку Безразличия» в «Нескончаемое Да». Вот бы всем пережить такое превращение! Если б можно было сорвать со всего мира одежды притворства и гигманизма, если б можно было освободиться от всякого рода обмана, заблуждений, а гонитель и жертва, землевладелец и батрак, принц и его вассал предстали

бы в одинаковом, нагом виде...

Книга была закончена в августе 1831 года, а несколькими днями позднее Карлейль уже был в Лондоне и хлопотал об ее устройстве в издательство. Он в тот момент, возможно, действительно был близок к нищете, так как «Историю немецкой литературы» ни один издатель не согласился взять, как не взяли и его перевод «Нового христианства» Сен-Симона; Маквей Нэпьер, заменивший Джеффри на посту редактора «Эдинбургского обозрения», остерегался брать статьи от этого подозрительного радикала. Карлейль предполагал пристроить в Лондоне одну или даже все свои книги, он по-прежнему надеялся, что Джеффри, который жил теперь в Лондоне, сумеет найти ему какое-нибудь место; и ему страстно хотелось увидеть вблизи, как проводятся те самые социальные реформы, о которых он думал с таким возмущением. С рукописью «Тейфельсдрека» (как назывался тогда роман) в кармане и с «решительным, бесповоротным и всеобъемлющим проклятием в адрес гигманизма...» на устах Карлейль приехал в Лондон. В октябре Джейн последовала за ним, и они пробыли здесь вместе до марта следующего года.

Этот приезд в Лондон имел решающие последствия. Джейн совершенно ясно поняла, что ей хочется жить только здесь; и так же ясно было, что здешним издателям не нужен «Сартор», да и сам Карлейль. Сперва один «степенный, осторожный и деловой человек» в издательстве Лонгмана с улыбкой выслушал краткий очерк истории немецкой литературы и вежливо отказал. «Сартора» Карлейль сам забрал у Меррея после того, как книга пролежала там десять дней, а Меррей к ней даже не притронулся; у Лонгмана рукопись «Сартора» отвергли с такой же учтивостью, как и «Историю немецкой литературы». Карлейль обратился к Джеффри, но тот был чрезвычайно занят и не имел возможности поговорить с ним наедине. Он продержал рукопись несколько дней, после чего сказал, что успел прочесть только двадцать восемь страниц, и по тону было ясно, что эти страницы не вызвали у него энтузиазма. Он, однако, написал рекомендацию к Меррею, который предложил издание на довольно жестких условиях: от продажи первых 750 экземпляров Карлейль не получал ни гроша, а затем ему передавалось авторское право; но и это предложение было затем взято назад под тем странным предлогом, что Карлейль уже предлагал рукопись другому издателю. «Правда состоит в том, – писал Карлейль Джейн, – что устроить Тейфельсдрека в Лондоне в настоящее время нельзя». Книга была убрана в дорожный сундук и перевязана той же тесемкой, которой перевязала ее дома Джейн. Терпение

и достоинство, с каким Карлейль переносил это довольно небрежное обращение с собой, поистине удивительны; столь же удивительно было сочувствие Джейн. Когда он сообщил ей, что Джеффри порекомендовал книгу Меррею, она усомнилась: «Не могу не улыбнуться при мысли, что Джеффри может рекомендовать твою рукопись Меррею. Он не сделает этого, милый, не посмеет». Когда Меррей окончательно отказал, она писала: «Раз они не хотят его издавать, вези его обратно, и я сохраню его и буду читать и восхищаться им, пока мы не сможем издать его на собственные средства».

Письма Карлейля к жене во время этой разлуки дают превосходную картину его стремлений и занятий. Он возобновил старые знакомства, а иногда и старую вражду. В Энфильде он нашел Бэдамса, который пять лет назад пытался вылечить его желудок, – умирающим от алкоголизма, «его-то кабриолет уже развалился вместе с ним на полной скорости и на мелкие куски». Неподалеку от Бэдамса жил Чарльз Лэм, чья смесь чудачества с легким юмором никогда не нравилась Карлейлю. Теперь же он пришел в ужас от его привычки к спиртному и был настолько раздражен его фривольностью, что счел знаменитого эссеиста полубезумным и записал в своем дневнике: «Бедняга Лэм! Бедная Англия, раз такой отвратительный обрубок сходит в ней за гения!» Тем же метким ироническим взглядом, способным рассмотреть характер за любой внешностью, Карлейль смотрел теперь на Джеффри в Палате лордов: «бедный милый малыш в седом парике, в каком-то странном сюртучке со стеклярусом и пуговицами на рукавах – что-то говорит и выкрикивает там, в чужой стране, посреди совершенно незнакомых ему людей». Так же он смотрел и на Джона Боуринга, радикала, редактора «Вестминстерского обозрения»: «Представь себе худого человека примерно моего роста и согнутого в середине под углом в 150, с совершенно прямой спиной, с большими серыми глазами, огромным вздернутым носом с прямыми ноздрями до самого его кончика и большими, выпяченными, плотно сжатыми губами». Карлейль сказал, что они долго беседовали, «он как законченный утилитарист и радикал, я – как законченный мистик и радикал».

В этом настроении мистического радикализма он встретил философа анархизма Вильяма Годвина, который давно уже отошел от дерзких убеждений молодости на умеренные и осторожные позиции, более подходящие старости. Нетрудно представить себе эту сцену (даже без того юмора, с которым описывал ее Карлейль) : худой и хмурый голубоглазый шотландец в мучительном нетерпении ожидает в гостях приезда ведущего политического философа Англии. Наконец явился Годвин, «лысый, с

кустистыми бровями, толстый, седой, бодрый маленький человечек... носит очки, глаза серые, навывкате, очень большой тупой невыразительный нос и такой же подбородок». Он говорил с воодушевлением, но, к разочарованию Карлейля, не сказал ничего, кроме банальных общих фраз. Годвин рассматривал Карлейля – из интереса или из страха, мы никогда не узнаем, – и «потихоньку я пробрался к нему и начал с ним разговор», когда вдруг Годвина увели играть в вист. Его окружили шумные дети и говорящие без умолку женщины; две женщины стучали по пианино, издавая звуки «громче кузницы»; философского спора здесь быть не могло. Карлейль пробыл еще час, глядя, «иногда не без грусти, на длинноносого игрока в вист», и ушел домой.

Впечатление, что Карлейль был нелюдимым человеком, в общем, ошибочно (за исключением отдельных случаев, когда он бывал неучтив до грубости). В Лондоне во время этого приезда и позднее он был даже замечен как большой охотник до знакомств, и если он нашел мало пользы во встречах со старшим поколением, то его утешило появление, как он выразился, «остатков школы мистиков». Среди этих молодых людей, большинство из которых вовсе не было мистиками и составляло школу только по мнению Карлейля, был и Чарльз Буллер, теперь ярый радикал, и друг Джона Карлейля по имени Уильям Глен, который, как сказал Карлейль, «смотрит на меня снизу вверх, как на пророка». Главным среди них был Джон Стюарт Милль, чьи статьи Карлейль с удовольствием читал в радикальном «Наблюдателе». Милль был похож на Карлейля тем, что его отец был шотландцем, но различия в характерах, воспитании, в образе мыслей этих двух людей были столь велики, что приходится только удивляться тому, что они сумели подружиться.

Джеймс Милль, отец Джона Стюарта, был из числа тех философов и политиков утилитаристского склада, которые, даже больше чем откровенные тори, выводили Карлейля из себя своей покорной верой в благотворную роль технического прогресса. Холодный, любознательный, критичный, но лишенный воображения, Джеймс Милль представлял собой одновременно и слепок с таких борцов за духовную свободу разума, как Дидро, Руссо и Вольтер, и пародию на них. Он предпринял сокрушительную атаку на этические понятия в своей работе «Анализ человеческого разума» и написал научную «Историю Индии», которая принесла ему прочное положение в управлении по делам Индии. Свой логический, аналитический, точный, но узкий ум он приложил и к воспитанию сына. Он начал учить сына греческому языку, когда тому было три года, а в возрасте от трех до восьми лет ребенок прочел несколько

греческих авторов, включая басни Эзопа, «Анабазис» Ксенофонта и Геродота; по-английски он прочел несколько книг по истории и не один трактат о государстве. Приятно добавить, что ему позволили также прочитать «Робинзона Крузо», «Тысячу и одну ночь» и романы Марии Эджворт. С восьми лет он начал читать по-латыни; в двенадцать изучал уже логику (Аристотеля и Гоббса), политическую экономию (Рикардо и Адама Смита). Ежедневно мальчик ходил с отцом на прогулку, во время которой должен был отвечать на вопросы по уроку, пройденному за день.

Раннее образование, по мнению отца, раз и навсегда должно было определить образ мыслей Милля; но по крайней мере в молодости он проявлял такую свободу мыслей и такую пылкость чувств, какие никогда не были знакомы отцу. Шестнадцати лет Джон Стюарт Милль прочел впервые о французской революции и был поражен тем энтузиазмом, который идеи свободы и равенства пробудили в те годы повсеместно во Франции. Его величайшей мечтой в то время было сыграть роль жирондиста в английском Конвенте. Ко времени его первой встречи с Карлейлем Миллю было двадцать пять лет; как и Карлейль, он переписывался с д'Эйхталем и высоко ценил сенсимонистов.

Между рациональным складом ума Милля и интуитивным мышлением Карлейля, по правде говоря, было мало общего; но несомненно, что Карлейль, а возможно и Милль, не подозревал об этом. Во время первой или второй встречи молодые люди проговорили четыре часа. Карлейль был в восторге. Милль, писал он Джейн, несомненно, полюбится и ей, и в нескольких строках точно запечатлевал образ молодого человека: «Стройный, довольно высокий и изящный юноша, с ясным лицом, римским носом, небольшими, серьезно улыбающимися глазами; скромный, с поразительной способностью найти точное слово, энтузиаст, однако невозмутим и спокоен; не гениальный, но явно одаренный и привлекательный юноша».

При дальнейшем знакомстве Карлейль с сожалением обнаружил, что Милль не умел «смеяться от души»: сам Карлейль смеялся громко, сотрясаясь всем телом, и склонен был порицать в других сдержанность. Он также заметил, что Милль любил все объяснять, так что, «попав в рай, он вряд ли успокоится, пока не выяснит, как там все устроено». И все же симпатия Карлейля к Миллю была почти безгранична; через Милля он познакомился с кругом молодежи: дипломатов, членов парламента, – которые готовы были слушать, когда он распространялся на тему «Знамений времени».

В такой обстановке застала его приехавшая в Лондон Джейн, проведя

сутки в море на пути в Ливерпуль, в течение которых она непрерывно страдала морской болезнью. Дальше до Лондона она добиралась дилижансом, и Карлейль с братом встречали ее. На квартире у Джона, где и Томас снимал комнату, они приготовили для нее обед из жареного мяса с рисовым пудингом. Почти все путешествия Джейн имели для нее мучительные последствия. На этот раз она также слегла на два дня от тяжелых приступов головной боли. Кроме того, она обнаружила здесь клопов (как и на многих квартирах, где ей приходилось жить). Джон Карлейль прожил в этом доме уже много недель. Интересно, он не замечал клопов или просто не обращал на них внимания? Или же они были плодом ее фантазии? Как бы то ни было, как только Джейн стало лучше, она отправилась вместе с мужем искать другое жилье, и вскоре они нашли приятную квартиру на Эмптон-стрит возле Мекленбургской площади. Джейн заметила, что это был первый чистый дом, который она видела с тех пор, как покинула Шотландию.

Казалось бы, знакомство с Лондоном началось неудачно. Но, сообщая Элен Уэлш, своей кузине из Ливерпуля, что Лондон ей очень нравится, Джейн признавала важную для себя истину: в Лондоне она действительно чувствовала себя как дома. Ее все здесь радовало: друзья, с которыми они встречались, от семейств Монтагю и Стрэчи до Джеффри, Милля, Чарльза Буллера и Аллана Каннингэма; возможность поболтать; посещение театра, где «дамы... удивили меня своим почти поголовным уродством», и сумасшедшего дома, который привел ее в такой восторг, что, по ее мнению, всякий нормальный человек пожелал бы сюда попасть; приятные неожиданности, как в тот день, когда Карлейля не оказалось дома, и ей пришлось одной развлекать сенсимониста Густава д'Эйхталя. Даже неприятные моменты приносили своеобразное удовольствие: когда Чарльз Лэм зачерпнул своей ложкой из ее тарелки, чтобы рассмотреть еду, она не преминула дать ему сокрушительный отпор.

В числе тех немногих событий, которые не доставили Джейн никакой радости, были их визиты к Ирвингу. Пик славы был позади, и он неуклонно катился теперь вниз. На одном из тех сборищ, о которых Ирвинг рассказывал Карлейлю в Шотландии, все присутствующие под влиянием Ирвингова красноречия сошлись на том, что конец света и второе пришествие Христа уже близятся; на следующей встрече определили уже и срок – 1847 год – и решили, что следует искать признаков надвигающегося Страшного суда в проявлениях возрастающей духовной силы: дара исцеления или прорицания, или вещания на неизвестных языках. Ирвинг и сподвижники поэтому ничуть не удивились, когда получили известие, что

две молодые шотландки, живущие в пятнадцати милях друг от друга, были отмечены способностью говорить на неведомых языках. С обоими случаями ознакомились и сочли подлинными. Одна из женщин, Мэри Кэмпбелл, начала проповедовать и прорицать перед большими собраниями, и вскоре ее привезли в Лондон. Чудодейственный дар оказался заразным. Вскоре еще несколько человек в приходе Ирвинга заговорили на разных языках и начали прорицать на английском. Поскольку эти проявления божественной силы были самопроизвольными и их нельзя было приурочить к определенному месту и моменту, они часто приводили к скандалам. К тому времени, когда Карлейли гостили в Лондоне, Ирвинг был уже покинут своими поклонниками, и его слава приобретала мрачный оттенок.

Ирвинг был все так же обаятелен, мил и искренен, как прежде, хотя в его волосах появилась проседь и он выглядел усталым. Присутствуя на богослужении в церкви Ирвинга, Карлейль был тронут тем состраданием, тем призывом к вере, которые выражались во взгляде проповедника. В тот раз никаких откровений не произошло, зато когда они однажды навестили Ирвинга, то сверху в доме послышались крики, и Ирвинг воскликнул: «Вот одна из них начала прорицать. Пойдемте послушаем ее». «Мы были в нерешительности, но он заставил нас пройти в каморку наверху, откуда мы слышали, как несчастное создание вопило на разные голоса, словно одержимое, причем смысла в ее речах было столько же, как если б она до этого проглотила полбутылки бренди. Минут через десять она как будто устала и затихла».

Джейн была так удручена этим происшествием, что чуть не лишилась чувств: Карлейль же сказал Ирвингу, что дар говорить на разных языках ниспосылается из Бедлама. Ирвинг мягко возражал, но с трудом сдерживал слезы: было очевидно, что сам проповедник не был пока отмечен этим даром.

Пока они были в Лондоне, внезапно умер Джеймс Карлейль. За последние два года он сильно сдал, и из обыкновенной простуды развилось воспаление легких, с которым ослабевший организм не мог уже бороться. Карлейль был глубоко потрясен смертью отца и написал длинные письма в утешение матери и доктору Джону. Облегчение он нашел в большом некрологе, который сочинил за несколько дней. Этот документ интересен и сам по себе, но тот факт, что он написан вскоре после смерти Джеймса Карлейля, заставляет нас удивиться его объективности. По дороге назад в Крэгенпутток он узнал о смерти Гете и почувствовал, что потерял второго отца.

За месяцы, проведенные в Лондоне, Карлейль написал две блестящих статьи: одна из них о книге Бозвелла «Жизнь Джонсона», уже преданной анафеме Маколеем, но с иных позиций, другая же, под названием «Характерные черты», повторяла основные мысли из «Знамений времени». В этой статье под видом метафизических рассуждений Карлейль наносит чувствительные удары своим противникам: литературным критикам, философам-утилитаристам с их «вечной мечтой о Рае, о роскошной Стране Изобилия, где текут реки вина и деревья склоняются от готовых к употреблению яств». Маквей Нэпьер, напечатавший статью в своем «Эдинбургском обозрении», сказал, что сам ее не понял, но что на ней, несомненно, печать гения, а лондонские поклонники Карлейля прочли ее с большим удовольствием. Но вряд ли другие издатели после этого захотели иметь дело с человеком, который намеренно усугублял сложность содержания эксцентричностью формы (а таково, несомненно, было их мнение). Статья, написанная им уже по возвращении в Шотландию, по поводу «Стихов о хлебных законах» одного рабочего-металлиста из Шеффилда, Эбенезера Эллиота, должно быть, еще больше оттолкнула от него издателей. В этой статье крамольны и его мысли о состоянии поэзии в ту эпоху, и его взгляды на творческие возможности рабочих-поэтов. «Раньше говорили, что львы не рисуют, а рабочие не пишут стихов, но теперь положение изменилось», – замечает автор и продолжает: «в наше странное время не так уж страшно вырасти среди малограмотных слоев, а не в образованном обществе, напротив, из двух зол это, пожалуй, наименьшее».

Такие убеждения не вызывали сочувствия, и когда в 1833 году «Сартор Резартус» начал выходить по частям в «Журнале Фрэзера», а труд автора был вознагражден по специально заниженным ставкам, коммерческий успех Карлейля достиг низшей точки. Как сообщил Карлейлю издатель Фрэзер, книга была встречена бешеной бранью; журнал потерял на ней многих подписчиков, а сам редактор, как и другие издатели, впредь зарекся печатать этого автора. В 1833 году Карлейль выпустил статью о стихах Эллиота, короткую статью по истории, две большие полубиографические работы – одну о Дидро, другую о графе Каллиостро; в последующие же три года он не написал ничего, за исключением совсем короткой статьи об Эдварде Ирвинге.

Возможно, после Лондона им обоим показалось не так уж хорошо в

Крэгенпуттоке. Карлейль продолжал переписку с Миллем, в которой явственно проступает владевшее им тогда тревожное чувство, что жизнь проходит мимо и что способность к решительному действию, заложенная в его душе, не находит применения. Временами он старался убедить себя в том, что жизнь среди скал и мшистых болот, где обитают овцы да рябчики, прекрасно подходила для философа; но ему не терпелось узнать о событиях в Лондоне, и не раз он говорил, что «мне вредно долее оставаться в этой пустынной долине Нита». Та же нотка слышна и в его письмах брату Джону, который в это время скитался по Италии вместе с графиней Клэр и изредка жаловался на свою одинокую жизнь. Карлейль отвечал ему, что, по его мнению, худшим местом во всем мире был Крэгенпутток, и описывал удовольствия от поездки в Эдинбург: «жить три месяца, раскрыв глаза и уши».

Его письма Миллю переполнены вопросами, предложениями, идеями. Неужто, спрашивал он, у нас не будет «своей печатной трибуны, доступ на которую будет закрыт для филистеров?». Или им следует «ринуться в совсем другую сферу деятельности», бросив литературу и философию? Милль посылал ему книги для его работы о графе Каллиостро и для предполагавшегося труда о французской революции. Но даже сейчас, по прошествии стольких лет, можно уловить беспокойство, которое, должно быть, мелькало в его «маленьких, серьезно улыбающихся» глазах, когда Карлейль в письмах называл его мистиком, почувствовать его опасения, что этот восторженный громкоголосый борец за Новую Эру когда-нибудь просто проглотит его, Милля, со всей его логикой. Когда, однако, Милль осторожно заметил Карлейлю, что они расходятся по многим вопросам, тот добродушно согласился с ним, отмечая тем самым возможность мысли, что они удаляются друг от друга. Когда же Милль решил, что ему лучше, учитывая все обстоятельства, не ездить к Карлейлю в Крэгенпутток, тот даже слегка обиделся. «Молчание, конечно, золото, по иногда и умная беседа двух людей чего-то стоит. Если ты знаешь сердце, которое способно понять тебя, которое страдало подобно тебе, – говори с этим сердцем... Это я советую не как врач; но предупреждаю: если вы не появитесь в августе, то вам очень трудно будет здесь оправдаться».

Осторожного Милля это не убедило, так же как приглашение в следующем письме Карлейля: «Приезжайте... и давайте с вами близко познакомимся... Вы того стоите, мне кажется. А что до меня, то вы знаете, что в глубине души я довольно безобидный парень». В конце концов Милль не приехал. Вместо него приехал столь же серьезный молодой американец, которому Милль дал рекомендательное письмо, где в то же

время сообщал, что этот американец «не подает больших надежд».

Молодого человека звали Ральф Уолдо Эмерсон. Это был убежденный унитарий, порвавший решительно с официальной церковью, и, как оказалось потом, с карьерой священника – по причине его особых взглядов на Тайную Вечерю. Это решение и внезапная смерть молодой жены совершенно вывели его из равновесия, и он отправился в Европу для поднятия духа.

Еще в Америке на Эмерсона произвели большое впечатление сочинения Карлейля: короткий список литераторов, которых он хотел навестить в Европе, включал Кольриджа, Вордсворта, Лэндора, Де Квинси и Карлейля. К этим гигантам он подходил с почтительной серьезностью, не лишенной, правда, критичности. Эмерсон был любезно принят в Италии Лэндором и старательно отмечал все его высказывания о поэзии, культуре, истории. Он побывал у Кольриджа, который разразился целой тирадой против унитариев. Когда же Эмерсон прервал его, чтобы сказать, что он «весьма признателен ему за разъяснения, но должен сообщить, что родился и воспитан унитарном», Кольридж только сказал: «Я так и знал», – и продолжал нападки с удвоенной яростью. Визит больше походил на спектакль, чем на беседу, и было досадно, что старый поэт не смог проявить снисхождения к новому знакомому.

Из Лондона Эмерсон направился в Эдинбург. Ему стоило большого труда узнать, где живет Карлейль, но в конце концов он нанял старый экипаж и отправился в путь «к дому среди пустынных холмов, покрытых вереском, где одинокий мыслитель питал свое могучее сердце». Его не ждали, но приняли радушно, коляску отослали обратно в Эдинбург до следующего дня. Эмерсон испытывал невольное восхищение перед Карлейлем, подобно Джеффри и Миллю: это восхищение боязливое перед бесстрашным, робкого и рассудительного – перед убежденным, верящим интуиции. К тому же Карлейль (Эмерсон заметил, что жена называла его по фамилии с ударением на первом слоге), не стеснявший себя условностями, умел быть – как и на этот раз – милым и занимательным хозяином. Эмерсону понравился и его северный акцент, и идиоматичная речь, и то, как он, когда его спросили о гении какого-то писателя, принялся хвалить необыкновенный ум и талант собственной свиньи.

Речь Карлейля, переходящая с пауперизма на бессмертие души и с книг на любимые лондонские булочки, была одним из трех самых сильных впечатлений, вынесенных Эмерсоном из поездки по Европе. Правда, похвала эта утратит силу, если назвать два других: бюст Клитии, поднимающейся из лотоса, в картинной галерее Таунли, и встреча в

Эдинбурге с одним человеком, в котором, как показалось Эмерсону, было что-то от духа Данте. День или два спустя после визита в Крэгенпутток Эмерсон повидал Вордсворта и очень огорчился, узнав его мнение, что Карлейль пишет невразумительно и часто бывает не в своем уме.

Это приятное посещение убедило Карлейля в возможности создать в Лондоне школу мистиков. Джейн, хоть и ничего не говорила, но стремилась к обществу после нескольких лет одиночества. Она частенько с горечью цитировала чей-то комплимент, сказанный в ее адрес Карлейлю: «В миссис Карлейль видны еще следы былой красоты». «Подумай только! – писала она Бэсс Стодарт. – В тридцать лет – „следы“!» Зима 1833 года выдалась суровой: ветер вырывал деревья с корнем, сносил черепицы с крыш, для четы Карлейлей она вряд ли была счастливой. В одном грустном стихотворении, написанном скорее всего Джейн, озаглавленном «Ласточке, вьющей гнездо под нашей крышей» и датированном «Пустыня, 1834», ясно передано ощущение Карлейлей в последнюю пору их жизни в Крэгенпуттоке. Вот две первые и последняя строфы стихотворения: И ты скиталась, трепетный комочек, Ты облетела мир и, верно, хочешь Склонить усталое крыло. Все отдала бы я, когда спросить могла бы, Какую радость для себя нашла ты Здесь вить свое гнездо. В полете видела ты сказочные дали, Весь мир лежал перед тобой – едва ли Не странен выбор твой. Из тысяч стран, твоим глазам представших, Из тысяч мест ты предпочла остаться В пустыне чахлой и скупой. Поторопись, чтобы божественная сила Потомством в срок твой дом благословила. Ты сердцу моему мила. Распорядилась жизнью ты умело. А я? – не спрашивай! И я бы так хотела, Но – если б только я могла!

Однако и эти мрачные дни приносили с собой относительные радости: приезжал друг Карлейля Уильям Грэм и пробыл с ними два дня (правда, «при плохой погоде и довольно скучных разговорах»); его ученик Глен, тихо помешавшийся, жил на ферме неподалеку, и Карлейль ходил к нему читать Гомера; он имел свободный доступ в одну домашнюю библиотеку на расстоянии верховой прогулки от Крэгенпуттока. И все же Карлейль рвался в большой город. В январе он сделал последнюю попытку найти через Джеффри какое-нибудь место. Попытка не удалась, и эта неудача расстроила их дружбу.

Когда Карлейль безуспешно пытался пристроить в какое-нибудь издательство «Сартора», он думал, что Джеффри в общем-то не очень стремится ему помочь. Поскольку и тема, и тон книги задевали самые глубокие струны в маленьком прокуроре, то у него, разумеется, не было иных причин помогать Карлейлю, кроме природной благожелательности.

Теперь Джеффри стал важной политической персоной, и его терпению по отношению к Карлейлю приходил конец. Хотя он и продолжал писать письма Джейн, начинавшиеся словами «Мое милое дитя!», и при встрече неизменно испытывал восхищение перед Карлейлем, это именно он сделал все, чтобы устранить Карлейля из «Эдинбургского обозрения», написав Маквею Нэпьеру, что «Карлейль не пойдет» – точно теми же словами, какими он задолго до этого написал о Вордсворте. Карлейль, со своей стороны, употребил в адрес Джеффри роковое слово «гигманист». Именно под этими несчастливыми звездами случилось, что Карлейль увидел в газете объявление о том, что в Эдинбурге открылось новое место профессора по астрономии, и написал Джеффри. Разве не говорил ему генеральный прокурор, чтобы он обращался к нему в любое время, «когда бы Вы ни решили, что я могу сделать что-нибудь для Вас или Ваших близких?» Разве не ясно было, что, если дело это и не было непосредственно в его ведении, все же его слово очень много значило? Чем больше Карлейль думал об этом месте, тем больше оно ему нравилось: он вполне подходил для него, и, во всяком случае, это было синекурой. Он никак не мог ожидать отказа даже в рекомендации, но именно его он получил. С обратной почтой Джеффри прислал ответ, что у Карлейля нет ни малейших шансов получить кафедру астрономии и не стоит даже подавать бумаг. Он продолжал, что тон писаний Карлейля был «дерзким, злобным, невразумительным, антинациональным и неубедительным», и добавлял в таких выражениях, которые в устах менее мягкого человека, чем Джеффри, означали бы угрозу: «Теперь, когда Вы начинаете ощущать последствия, Вы, возможно, даете больше веры моим предупреждениям, чем раньше». В этих словах – отчаяние извивающегося червя, слабого человека, выведенного из границ его терпения; мало кто сумел бы ответить на них так, как ответил Карлейль: беззлобно поблагодарить Джеффри за то, по крайней мере, что не заставил долго понапрасну надеяться, и заметить в письме брату Джону, что ему полезны время от времени такие удары по самолюбию. С тех пор, однако, дружеский тон их переписки был утрачен, а вскоре прекратилась и сама переписка, хотя Джеффри еще несколько лет продолжал обмениваться письмами с Джейн.

Лишившись этой последней надежды на место, они решились перебираться в Лондон, и в мае 1834 года Карлейль отправился на поиски дома внаем. По дороге он из дилижанса с серьезным видом приветствовал какую-то процессию тред-юнионов и получил такой же серьезный ответ. После некоторых поисков в Кензингтоне, Бейсуотере и Челси он остановился на доме No 5 по Чейн Роу, «старом, крепком, просторном

кирпичном доме, построенном сто тридцать лет назад». Дом был трехэтажный, позади была узенькая полоска сада. Были у них, разумеется, некоторые сомнения: у Карлейля – подходящее ли это место для жизни – Челси, у Джейн – нет ли клопов за деревянными панелями стен. Но низкая рента – 35 фунтов в год – решила дело. 10 июня 1834 года, в сырой и пасмурный день, Карлейль, Джейн и их служанка Бэсси Барнет двинулись с Эмптон-стрит в Челси. Когда они пересекали Белгрейв сквер, маленькая канарейка, привезенная Джейн из Крэггенпуттока, громко запела.

Taken: , 1

Глава десятая. История французской революции

Главным желанием моей души снова стало – написать шедевр, неважно, признанный или нет... А в настоящий момент я пишу лишь вполголоса о ситуации, о таком потоке чувств, который требует грома для своего выражения.

Томас Карлейль. Дневник, 1833

Сочинения Карлейля напоминают мне звук одинокого топора в девственных лесах Северной Америки. Монктон Милнз. Из записной книжки

Итак, птичка запела. Жизнь на Чейн Роу в первые годы известна нам в основном из писем, которые писала Джейн своим подругам и родственникам в Шотландии; они настолько полны остроумия и веселья, насколько вообще позволяет человеческий язык. Ни один претенциозный жест не ускользал от ее меткого глаза, любая, даже самая ничтожная подробность домашней жизни обращалась ею в комедию. Что с того, что они заводили дом, имея всего лишь 200 фунтов денег и самые мрачные финансовые перспективы? «Представь себе, – писала она Джону Карлейлю, – я никак не могу проникнуться заботами о том, как свести концы с концами... Где-то внутри во мне сидит твердая уверенность в том, что, если кончится хлеб, можно будет прожить на пирогах».

Хлеб пока что не кончился, но хватало других забот. Например, ее очень занимала непредусмотрительность англичан, проявлявшаяся в том, что они выбрасывали остатки хлеба целыми тарелками. Затем была деятельная миссис Ли Хант, которая жила по соседству и почти ежедневно посылала к ним то за рюмками, то за чашками, крупой, чаем, даже однажды за каминной решеткой. Та же миссис Ли Хант, узнав, что Джейн возилась с кистями и краской, страшно разочаровалась, выяснив, что предметом ее занятий был шкаф, а не портрет. Нужно было к тому же сообщать потрясающие новости о здешних модах матери Карлейля: «Теперь модные дамы имеют в диаметре ярда три, они носят турнюры размером примерно с один настриг со средней овцы».

Ее бережливая натура возмущалась всеобщим расточительством. «Обедая вне дома, приходится видеть, как на десерт (от которого никакой пользы, а только колики в желудке) тратится столько денег, сколько нам хватило бы, чтоб прожить три недели!»

Однажды явился ее старый поклонник Джордж Ренни. Он прожил десять лет в Индии и был теперь богатым человеком. Джейн язвительно заметила, что он был из породы тех людей, с которыми приходится с умным видом разговаривать о состоянии искусства в Англии. В первый момент встречи она, правду сказать, была близка к обмороку, однако дальнейшее знакомство обнаружило, что он, увы, погряз в отвратительнейшем гигманизме. «Несмотря на то, что у него теперь больше тысяч, чем у нас когда-либо будет сотен или даже десятков, самый вид его подтвердил правильность моего выбора». Матери Карлейля Джейн писала: «Право, я по-прежнему довольна моей судьбой; можно было бы пожелать, чтоб он был поспокойнее и не такой желтый, но не более того».

Спокойствие покинуло Карлейля: он приступил наконец к работе о французской революции, которая так долго вынашивалась в его голове. Спустя годы он говорил, что считал бы мир безнадежным, если бы не французская революция, и в этом замечании выразилось его отношение к истории вообще. Он старался схватить суть каждого явления, прежде чем брался за перо, а схватить суть значило у Карлейля – увидеть явление во всей его исторической, моральной и религиозной значимости. Академический подход к истории никогда не удовлетворял его, он скорее стремился истолковать и историю и литературу как некую бесконечную религиозную поэму. Опасения Милля, что, обратившись к революции, Карлейль неизбежно обнаружит недостаток собственной веры, совершенно не тронули Карлейля. У него были свои сомнения, хотя и смутные, но гораздо более глубокие. Посещая дважды в неделю Британский музей, где он рылся в огромном, тогда еще не снабженном каталогом собрании современной ему литературы, или сидя дома в окружении ящичков с книгами, которые давал ему Милль, он видел предмет своих исследований «мрачным, огромным, безграничным по значимости; но смутным, неясным – слишком глубоким для меня; должен сделать и сделаю все, что в моих силах». Он замечал также, что «отблески творения искусства витают вокруг меня, – словно должно получиться творение искусства! Горе мне!».

С этими сомнениями сочеталась у него страсть к точным, проверенным фактам, владевшая им всю жизнь, – из него вышел бы превосходный репортер. Он осаждал доктора Джона, который находился в то время в Париже со своей графиней, просьбами прислать ему ноты «a iга»

и сходить на улицу Фобур Сент-Антуан, проверить, живо ли еще Дерево Свободы, посаженное в 1790 году. Наконец он начал писать: работал от завтрака, с девяти утра, до двух, затем гулял пешком до четырех, после обеда читал или прогуливался с Джейн у реки, наблюдая за простыми лондонцами в белых рубашках, спящими в зеленых лодках по воде, или за стариками, вышедшими на улицу покурить. Он очень любил бродить по Лондону, облачившись в свою новую шляпу, новое коричневое пальто с меховым воротником и новый же темно-зеленый сюртук («Просто щеголь!» – писал он матери). Постепенно работа подвигалась, не очень быстро, но зато она удовлетворяла автора. Необычная получается книга, думал он, но вполне сносная.

В этом доме, должно быть, не принимали помногу гостей, если судить по записи Карлейля в дневнике: «пять дней не говорил ни с кем, кроме Джейн; сидел за письменным столом в трагическом, мрачном настроении, как проклятый, которому остается лишь – выполнить свою задачу и умереть». Впрочем, и Карлейль и Джейн имели склонность к эффектным высказываниям: посетителей было больше, чем можно заключить из этих слов. Каждое воскресенье являлся Милль, чтобы прогуляться с Карлейлем и поговорить о революции, ее истории и значении. Ли Хант, в то время редактор «Наблюдателя», приходил раза три-четыре в неделю, разговаривал, пел, играл на фортепиано, иногда съедал тарелку овсянки с сахаром. Однажды Джейн так обрадовалась его приходу, что вскочила и поцеловала его, и он тут же написал: «Джейн меня поцеловала». Часто приходили политики-радикалы, от Джона Стерлинга, молодого английского священника, отец которого редактировал «Тайме», до блестящего, небрежного Чарльза Буллера, который был теперь членом парламента от радикалов. Между этими крайностями были знакомые радикалы всех оттенков. Все эти реформаторы придерживались различных убеждений, но их объединяло восхищение перед Карлейлем, смешанное с недоверием. Например, когда Уильям Моулворт, богатый молодой человек, который защищал в парламенте шестерых рабочих, впоследствии известных под именем мучеников из Толпадла, решил дать 4 тысячи фунтов на основание радикального издания, и Карлейль надеялся стать его редактором, даже Милль, при всем его уважении к Карлейлю, не посмел рекомендовать в качестве редактора человека столь опасных и крамольных взглядов. Многие литераторы, подобно Вордсворту, считали Карлейля не вполне нормальным, другие решительно не замечали его. Получив от Фрэзера несколько экземпляров своего «Сартора», сшитых из журнальных листов, Карлейль разослал их шести литераторам в Эдинбурге. Ни один из них не

откликнулся на подарок. Карлейль, со своей стороны, презирал большинство лондонских радикалов не меньше, чем они опасались его. Некоторые, как Ли Хант и Буллер, были ему симпатичны, но казались чересчур легковесными; другие же, такие, как Милль, в чьей серьезности нельзя было сомневаться, были лишены того прямодушного энтузиазма, который отличал его самого. В компании этих радикалов ему часто не хватало Ирвинга, однако Ирвинг приближался к своему финалу.

За два года до переезда Карлейлей в Лондон Ирвинга лишили прихода за его отказ запретить прорицания во время богослужения. Некоторое время его приверженцы не покидали его, и он проповедовал им в помещении картинной галереи в Ньюмен-стрит, где семь мест па возвышении было специально отведено для прорицателей. Проповедь то и дело прерывалась божественными явлениями, «прорицатели начинали вещать по мере того, как на них снисходила благодать», – писалось в одном памфлете того времени. Благодать снисходила довольно часто: когда Ирвинг читал проповедь на тему «Примирение с Богом», ему редко удавалось вставить несколько предложений, а то и несколько слов – так часто его прерывали боговдохновенными речами. Когда Джон Кардейл, почтенный адвокат, почувствовал призвание стать первым апостолом католической апостольской церкви, власть Ирвинга над его паствой, да, вероятно, и его собственная вера в свою божественную миссию, начала ослабевать. Как и следовало ожидать, он был лишен сана и отлучен от шотландской церкви, причем суд, вынесший это решение, состоялся на его родине, в Аннэне. Несмотря на его славу провозвестника новой церкви, заправлять этим движением скоро стали новые, более умелые – в самом мирском смысле – люди. Ирвинга так и не посетили пророческие видения, не было у него, как видно, и апостольского призвания.

Карлейли с состраданием и изумлением следили за развитием катастрофы. Встречи с Ирвингом в эти последние дни были редки. Когда Карлейль приезжал на поиски квартиры, то в Кензингтонском парке черная фигура вдруг вскочила со скамьи и схватила его за руку. С ужасом узнал Карлейль Ирвинга. Его старый друг был похож на мертвеца, как Карлейль писал Джейн: «бледный и вместе с тем темный лицом, безжизненный». Впоследствии он подробнее вспоминал старообразного, поседевшего человека, с лицом, изборожденным морщинами, и белыми, как у старика, висками. Но это был все тот же старый друг Ирвинг, и «давно знакомый аннандэльский смех болью отозвался в моей душе». Вскоре Карлейль посетил Ирвинга и его жену в Ньюмен-стрит. Ирвинг лежал на диване и жаловался на разлитие желчи и боль в боку; жена его, тоже усталая и

разбитая, сидела у него в ногах и враждебно смотрела на Карлейля, недовольная тем, что этот крамольник имеет такое влияние на ее мужа. Встревоженный бедственным положением друга, Карлейль обратился к друзьям Ирвинга с призывом спасти его, но напрасно. Когда его пророки решили отправить Ирвинга в Шотландию, чтобы там провозгласить новое учение, он поехал без колебаний. Хмурым, дождливым днем он проезжал по Чейн Роу верхом на гнедой лошади и провел четверть часа у Карлейлей. Разглядывая их маленькую гостиную, обставленную Джейн, он сказал с былой высокопарностью: «Вы, как Ева, создаете маленький рай, где бы ни оказались». Карлейль проводил его до дверей, подержал повод лошади, пока тот садился, долго смотрел ему вслед. Больше они не виделись. Измученный и опустошенный, Ирвинг скончался в декабре 1834 года в Глазго; его последнее письмо к пастве было полно недоумения, сомнения в истинности дара прорицания.

Так ушел Эдвард Ирвинг, талантливый, даже, быть может, гениальный человек, мы же, люди XX века, можем вынести урок: гений, подобный этому, сам по себе – ничто, важна та форма, в которой он проявится. Карлейль написал короткий, но взволнованный панегирик своему другу, обвинив в его смерти порочное общество. Эпитафия Джейн была короче, но столь же верна: «Если б он женился на мне, не было бы никаких прорицаний».

*

«Не странно ли, – писала Джейн в письме к Бэсс Стодарт в Эдинбург, – что в моих ушах стоит нескончаемый шум толпы, голоса женщин, детей, омнибусы, повозки, коляски, вагоны, телеги, тележки, церковные колокола, дверные колокольчики и стук почтальонов, рассыльных – словно чума, голод, война, убийство, внезапная смерть сорвались с цепи, чтобы мне было не скучно. И где эта тишина, эта вечная неизменность последних шести лет? Эхо отвечает тебе – в Крэгенпуттоке! Мне по душе эта суматошная жизнь, к тому же она полезнее для моего желудка!»

Таковы были радости лондонской жизни; и все же Джейн была права, говоря, что им не хватало лишней шкуры для здешней жизни. Служанка пролила кипяток на ногу Джейн, и та неделю не могла ходить, и Карлейлю приходилось носить ее на руках вниз и вверх по лестнице. Сам Карлейль, хотя и отказался не раздумывая от работы в газете «Тайме», которую ему предложили через Джона Стерлинга, однако с горечью писал в своем

дневнике, что вот уже почти два года, как он ни копейки не заработал литературным трудом; закончив первый том «Французской революции», он заметил коротко: «Болен и телом, и душой». Однако Карлейли показали, что они способны стойко встречать любые трудности.

Только один человек видел работу над «Французской революцией» в процессе – это Джон Стюарт Милль. Когда первый том был закончен, он взял его, чтобы перечитать и сделать заметки. Милль тогда, к большому сожалению своих друзей, проводил почти все время в обществе Гарриет Тейлор, жены энергичного и деловитого торговца-унитария. Миссис Тейлор наскучил ее респектабельный муж, и хоть Милль, с чьей-то точки зрения, возможно, также не был блестящей компанией, эта светская львица-радикалка избрала его в качестве предмета для обольщения. Карлейль с меткой язвительностью описывал ситуацию: «Милль, который до этого времени ни разу даже не взглянул ни на одно существо женского пола – ни даже на корову, – оказался наедине с этими огромными темными глазами, которые, сияя, говорили ему невыразимые вещи». Она завернула его в кокон, продолжал он, хотя все из вежливости считали их отношения платоническими, она предпочла оставить мужа, но не разрывать дружбы с Миллем, который относился к ней, по его словам, так же, как относился бы к мужчине равного с ним интеллекта. Так и осталось неизвестным, переходила ли рукопись из рук Милля к миссис Тейлор; он ли, она ли положили ее однажды вечером на стол, собираясь идти спать, ее или его слуга, войдя утром, принял ее за стопку ненужных бумаг и использовал для растопки. Как бы то ни было, почти вся рукопись сгорела.

С этой новостью Милль, бледный и дрожащий от ужаса, прибежал к порогу дома, где жили Карлейли, оставив миссис Тейлор на улице в кебе. «Господи, кажется, он уезжает с миссис Тейлор», – воскликнула Джейн. Она покинула комнату, а Карлейль усадил Милля и тут узнал, что рукопись погибла. Милль при этом не говорил, выпускал ли он книгу из своих рук. Он явился сюда скорее за утешением, чем с какой-либо другой целью, и пробыл несколько часов, в течение которых Карлейли возились с ним, облегчая его муки. Когда он наконец ушел, Карлейль сказал Джейн: «Бедняга Милль совсем обезумел. Мы должны постараться и не подать виду, насколько это серьезно для нас». Первое потрясение было, таким образом, пережито; однако ночью Карлейль почувствовал острую боль, как будто обручем сдавило сердце, и ему снились умершие отец и сестра: «живые, но обезличенные сонной неподвижностью, могильной слепотой, они умирали вновь в каком-то незнакомом, жутком месте». На другой день он великодушно написал Миллю, что его, Милля, горе превосходило,

очевидно, его собственное и что он уже заказал себе «Всемирную биографию» и лучший сорт бумаги, чтобы начать писать книгу заново. Однако с потерей рукописи Карлейли оказались в отчаянной финансовой ситуации, и Карлейль согласился принять от Милля некоторую сумму – в виде компенсации и из деликатного желания (которому мы легко поверим) облегчить страдания Милля. Тот предложил 200 фунтов, из которых Карлейль принял половину: во столько, по подсчетам Карлейля, обошлось ему написание книги. Он сомневался, не будет ли гигманизмом, если он примет эти деньги, но наконец вопрос решился – оставалось только написать книгу заново.

Если Карлейль в первый раз создавал книгу в мучительной борьбе, то теперь он просто не находил в себе сил начать сначала. Матери он говорил шутя, что это перст судьбы, а брату – что он чувствует себя как мальчик, который прилежно выполнил урок, и вот учитель у него на глазах порвал тетрадь со словами «пойди-ка, мальчик, напиши лучше». Не только лучше написать, но написать вообще он был, казалось, не в силах. Во все время работы над книгой он был в самом мрачном расположении духа. Иногда написанное ему казалось бесформенной и бессмысленной массой, он даже хотел сам все сжечь. В другие минуты он думал, что все-таки есть в этом «одна-две верные картины». Работа так поглотила его, что он во всем видел связь с революцией, ее результат. Сидя в гостях у друзей, он различал сквозь смех и разговоры «присутствие Смерти и Вечности». Он, столь мало значения придававший искусству, теперь постоянно беспокоился о производимом книгой художественном впечатлении. С похвальной самокритичностью он замечал: «Вообще-то я довольно глуп, – то есть не глуп (ибо чувствую в себе силы понять многое), – но нет у меня навыка. Я темный, неумелый дикарь, потому что всякий цивилизованный, обученный работник обладает навыком, именно навык и делает его тем, что он есть: каменщик владеет мастерком, художник кистью, а писатель пером». Снова давал о себе знать больной желудок, вернулась бессонница. Он худел и желтел. Друзья, приходя к нему в дом, находили его осунувшимся и унылым, но потихоньку он оттаивал в беседе, успокаивался и воодушевлялся.

Что делала в это время Джейн? Она красила в доме, переставляла мебель и между делом изучала итальянский язык. Когда Карлейль ненадолго уезжал в Шотландию, она советовала ему пользоваться не касторкой, а куриным бульоном. Когда же он возвращался, чуть живой от препирательств с носильщиками и кебменами, она приносила ему большую рюмку хереса, прежде чем принималась расспрашивать и рассказывать о

новостях. Этим она пыталась, по ее выражению, «уничтожить мое „я“, то есть ту частичку ее, которая, видя своего мужа в центре внимания, вскрикивала подобно ребенку из „Вильгельма Мейстера“: „Я тоже здесь!“ Хорошо, что ей не удалось уничтожить свое „я“; правда, кое-кому не нравились ее колкости. „Знаете, миссис Карлейль, вы бы очень выиграли, если б не были так умны!“ – сказал ей Эдвард Стерлинг, редактор газеты „Тайме“, часто навещавший их.

Ее остроты всегда язвительны, даже когда они относятся к мужу, которого она горячо любила и глубоко уважала. «Мой муж совсем нездоров, да и вряд ли поправится прежде, чем закончит „Французскую революцию“, – писала она своей кузине Элен Уэлш и прибавляла: – Я и сама всю зиму чувствовала себя отвратительно, хоть, насколько мне известно, ничего не писала для печати». С ней нелегко было жить, пожалуй, не легче, чем с Карлейлем; когда она отправилась в 1836 году в гости к матери, возможно, причиной тому была не одна лондонская жара, но какие-то размолвки между супругами. Однако в Темпленде оказалось не слаще: мать и дочь и раньше постоянно раздражали друг друга, а теперь Джейн всем была недовольна в доме матери. К тому же она не могла спать и страдала от судорог. В письмах Карлейля, написанных ей во время этого визита, ясно слышны укоризненные нотки. Он убеждал ее не ожесточать свое сердце, но, напротив, смягчать его, не упорствовать в недоверии, а поверить. «Не спеши счесть жизнь невыносимой, отвратительной, но дай нам время в трудах и в досуге построить ее, как подобает супругам».

После двухмесячного отсутствия она с радостью возвратилась домой, вновь увидела своего Карлейля, в широкополой белой шляпе, неожиданно возникшего в дверях переполненного омнибуса, «словно безутешная Пери у Врат Рая». Оказавшись снова дома, она высказала мысль, часто приходившую ей на ум, что, хотя многие любили ее гораздо сильнее, чем она того заслуживала, «его любовь – особенная, и, пожалуй, она единственная подходит к такому причудливому существу, как я». К ее огромному облегчению, наконец была написана книга. Карлейль прочитал ей вслух заключительные фразы, в которых – грозная картина гибели мира, спасительного очищения от всякого обмана и лицемерия: «Респектабельность с воплями покидает землю, и все ее колесницы пылают высоким погребальным костром. Ей уж не вернуться сюда. Пылают Ложь, накопленная поколениями, сгорает – до времени. Мир – один лишь черный пепел – когда-то зазеленеет он вновь? Расплавятся идола, как коринфская бронза; разрушены жилища людей, обрушились горы, долины черны и мертвы. Мир пуст!.. Это конец царства Лжи, которое – мрак и густой

смерд; это гибель в неумолимом огне всех Колесниц Лицемерия, существующих на Земле».

Он сказал ей: «Не знаю, стоит ли чего-нибудь эта книга и нужна ли она для чего-нибудь людям; ее или не поймут, или вовсе не заметят (что скорее всего и случится), – но я могу сказать людям следующее: сто лет не было у вас книги, которая бы так прямо, так страстно и искренне шла от сердца вашего современника». К этому он мог бы добавить, как ему показалось позднее: «Бедная моя маленькая Дженни, эта книга чуть не стоила нам обоим жизни».

*

«Французскую революцию» встретили гораздо теплее, чем ожидал автор: Диккенс повсюду носил ее с собой; Теккерей написал о ней теплый отзыв в «Тайме»; Саути высказал горячую похвалу самому Карлейлю лично и говорил друзьям, что, пожалуй, прочтет ее раз шесть и что это «книга, равной которой не написано, да и не будет написано ничего на английском языке». Эмерсон считал книгу замечательной и предсказывал ей долгую славу; он уверял Карлейля, что в Америке, где «Сартор» разошелся больше, чем в тысяче экземпляров, эту книгу ждет несомненный успех. Милль обобщил мнения, сказав, что подзаголовок книги должен был быть не «История», а «Поэма». Джеффри высказался осторожнее, заметив, что, читая эту книгу, нельзя «не сознавать, что ее автор (каково бы ни было в остальном мнение о нем) обладает и талантом, и оригинальностью и способен создать даже более великие творения, чем это».

С другой стороны, такие ярые виги, как Маколей и Брогам, признавали в Карлейле сильного и опасного противника, осуждали его пафос разрушения; в это же время Вордсворт написал против книги сонет и выражал сожаление о том, что Карлейль и Эмерсон, которых он объединил как «философов, взявших в качестве оружия язык, принимаемый ими за английский», не посвятили себя «единственно подходящему им обоим занятию – взаимному восхищению». Однако враждебные голоса потонули в хоре похвал, которые заслужила первая книга, вышедшая с именем Карлейля на обложке. Не прошло и нескольких месяцев после ее выхода в свет, как он был уважаем, даже знаменит в литературном мире. Джейн высказывала опасения, что ее когда-нибудь разорвут почитательницы ее мужа, и шутливо перечисляла их: глухая Гарриет Марино, которая, «кокотливо краснея, обращает к нему свою слуховую трубку»; некая

госпожа Батлер, которая врывается в дом в костюме для верховой езды, в шляпе и с хлыстом, «но при том – никакой лошади нет – только коляска, а хлыстом она, очевидно, стегает подушки – ради упражнения»; рассеянная пышнотелая красавица американка, которая уверяет, что она безумно обожает Карлейля, и, уходя, всегда восклицает со страстью: «О мистер Карлейль! Я хочу долго, долго с вами говорить – о Сарторе!» Не странно ли, что сочинения ее мужа встречают полное понимание и одобрение только у женщин да у сумасшедших?

Круг друзей Карлейля, приобретенных благодаря успеху книги, вряд ли был так узок, как иронически изображает его Джейн. Такие консерваторы, как Саути, хвалили книгу за ее свободу от всякой доктрины и были еще больше обрадованы, увидев при встрече, что ее автор по многим вопросам согласен с ними. Радикалы восхищались силой слова, защищавшего, как они считали, их точку зрения. Ссылные революционеры, такие, как Маццини и Годафруа Кавеньяк, стали постоянными гостями на Чейн Роу.

Сегодня, когда прошло больше столетия с выхода «Французской революции», мы во многом иначе оцениваем и ее достоинства, и ее недостатки, нежели современники Карлейля. Эта борьба в одиночку с морем неувидимых фактов уже не вызывает изумления в наш век, когда к услугам историка дотошные ассистенты и подробные картотеки. Некоторые личности, не пользовавшиеся симпатией Карлейля, такие, как Робеспьер и Сен-Жюст, обрисованы у него однобоко, а его оценка Мирабо совершенно неприемлема с точки зрения современной науки. Но еще более серьезным недостатком придется признать неполное использование источников. Начиная со смерти Людовика XVI и до назначения Бонапарта генералом в 1795 году повествование ведется в очень узких пределах, не забегая ни вперед, ни назад, чем достигается, правда, большая сила и сжатость, но зато революция от этого предстает в лицах, а не в событиях. Карлейль понимал, что революция имела свои экономические причины, он видел, что она знаменовала конец феодализма во Франции. Однако при его подходе к изложению эти важные соображения оставались на втором плане.

«Копились многие столетия, и каждое приумножало сумму Порока, Фальши, Угнетения человека человеком. Грешили Короли, грешили Священники и Люди. Явные Плуты торжествовали, увенчанные, коронованные, облаченные в ризы; но еще опаснее Скрытые Плуты, с их благозвучными заклинаниями, благовидной внешностью, респектабельностью, пустые внутри. Шарлатанов этой породы

расплодилось не меньше, чем песка на морском берегу. Пока, наконец, не стало Шарлатанства столько, что Земля и Небо изнемогли от него. Медленно приближался День Расплаты; незаметно наступал он, среди треска и фанфаронства Царедворств, Завоевательств, Христианских Великомонархизмов, Возлюбленных Помпадурств; и все же взгляни – он все время надвигался, взгляни – он настал, вдруг, никем не жданный! Урожай многих столетий созрел и белел – все стремительней; и вот он созрел совсем – и теперь пожинается разом, в одночасье. Пожинается в этом Царстве Террора; и вот он уж дома, в Аду и в Могиле! – Несчастные Сыновья Адама: так бывает всегда, но они не ведают – и никогда не узнают. Приняв беззаботный и спокойный вид, они день за днем, поколение за поколением, подбадривая друг друга – Эй, поторапливайся! – трудятся, сея Ветер. Но есть Бог: они пожнут Бурю; воистину иначе не может быть, ибо в Боге – Истина, и в Мире, им созданном, – Истина».

Происходившая в душе Карлейля борьба между пуританизмом, воспитанным с детства, и стремлением к социальным преобразованиям путем свержения существующего строя разрешилась таким образом, как это было возможно только в XIX веке и только у английского мыслителя. Социальные преобразования необходимы, причем достичь их можно лишь революционным путем – в этом Карлейль был самым крайним радикалом и не разделял веры своих друзей в парламент, а отстаивал необходимость насилия. «За всю историю Франции двадцать пять миллионов ее граждан, пожалуй, страдали меньше всего именно в тот период, который ими же назван Царством Террора», – писал он. Эти крайние взгляды сочетались у него с верой в то, что люди нуждаются в лидере, причем лидер в его понимании во многом походил на сурового кальвинистского бога его отца. Поскольку революция, несомненно, была предначертана богом, то ее смысл состоял прежде всего в том, чтобы возвестить рождение нового мира, а последнее возможно лишь при благотворном влиянии признанного вождя – самого мудрого, героического и дальновидного человека Франции.

Из современников Карлейля привлекали наиболее гуманные и душевно щедрые люди, именно среди них и искал он героя, в лице которого история человечества достигла бы нового величия. Французскую революцию он приветствовал как шаг вперед на этом пути. Непреходящая ценность книги в том и состоит, что волнующая человеческая драма превращается талантливым художником в хвалебную песнь живительным силам общества, отмечающим прах прошлого и с надеждой устремленным в будущее. Только черствое сердце прочтет без волнения сцены этой драмы: взятие Бастилии, поход женщин на Версаль, натиск и ярость

последних лет революции. В этой грандиозной картине гибели старого мира и зарождения нового предмет книги и личность писателя редчайшим и прекраснейшим образом сливаются; результатом этого слияния является книга о революции – по-своему гениальное литературное произведение.

Удача «Французской революции» служила блестящим (и единственно полным) оправданием избранному Карлейлем своеобразному стилю. Эффект его, по словам Кольриджа, состоял в том, что читатель видел события как бы при вспышках молнии. Эти вспышки освещают поразительно живые картины, людей и событий, нарисованных с сочувствием и осуждением, юмором и печалью. В книге тысячи комических историй, подобных рассказу о Ломени де Бриенне, который всю жизнь чувствовал «признание к высшим служебным чинам» и стал наконец премьер-министром: «Жаль только, что столько таланта и энергии ушло на достижение цели, и совсем не оставалось ни того, ни другого на то, чтобы проявить себя на посту». Иные эпизоды поражают своим мрачным драматизмом, как этот портрет герцога Орлеанского, ставшего позднее Филиппом Эгалитэ: «Багровая луна, покачиваясь, идет дальше; лучи ее темны, лицо как неокисленная медь, в стеклянных глазах беспокойство, он ерзает нетерпеливо в своем кресле, как бы желая что-то сказать. Среди неслыханной пресыщенности – неужто новый аппетит, на новые запретные плоды, – проснулся в нем? Отвращение и жадность, лень, не знающая покоя; бесплодное тщеславие, мстительность, ничтожность: О! Какая смута смут в этой гноящейся шкуре!»

Он умеет обрисовать ситуацию одной метафорой: «Хаос дремлет вокруг дворца, как Океан вокруг водолазного колокола». Иногда же ему достаточно иронического замечания: «Был бы Людовик умнее – он бы в тот день отрекся. Не странно ли, что короли так редко отрекаются; и ни один из них, насколько известно, не покончил с собой?»

Конечно, главное в книге не ирония и жестокий юмор, не яркие образы Мирабо, Дантона, неподкупного Робеспьера, не способность оживлять мертвый документ прошлого. Главное в этой книге, более чем в остальных его сочинениях, – это ее пророческий дух, призыв к высоким идеалам, звучащий здесь еще сильно и ясно, чисто, без ноток разочарования. «Что ж, друзья, сидите и смотрите; телом или в мыслях, вся Франция и вся Европа пусть сидит и смотрит: это день, каких немного. Можно рыдать, подобно Ксерксу: сколько людей теснится в этих рядах; как крылатые существа, посланные с Неба; все они, да и многие другие, снова исчезнут в выси, растворяясь в синей глубине; все же память об этом дне не потускнеет. Это день крещения Демократии; хилое Время родило ее, когда истекли

назначенные месяцы. День соборования настал для Феодализма! Отжившая система Общества, измученная трудами (ибо немало сделала, произведя тебя и все, чем ты владеешь и что знаешь) – и преступлениями, которые называются в ней славными победами, и распутством и сластолюбием, а более всего – слабоумием и дряхлостью, – должна теперь умереть; и так, в муках смерти и муках рождения, появится на свет новая. Что за труд, о Земля и Небо, – что за труд! Сражения и убийства, сентябрьские расправы, отступление от Москвы, Ватерлоо, Питерлоо, избирательные законы, смоляные бочки и гильотины; и, если возможны тут пророчества, еще два века борьбы, начиная с сегодняшнего дня! Два столетия, не меньше; пока Демократия не пройдет стадию Лжекратии, пока не сгорит пораженный чумой Мир, не помолодеет, не зазеленеет снова».

Совместим эти черты Карлейля: иронию и сострадание, возмущение и нескончаемый юмор, плащ ветхозаветного пророка на плечах великого художника – не напрасно опасался он, что создал, вопреки всем своим пуританским устремлениям, произведение искусства.

Taken: , 1

Глава одиннадцатая. Признание

«В конце концов, – спросил меня на днях Дарвин, – что это за религия такая у Карлейля, – да есть ли она у него вообще?» Я покачала головой, сказав, что знаю об этом не больше, чем он.

Из письма Джейн Уэли Карлейль – Томасу Карлейлю, 1838

Успех «Французской революции» радовал, но на материальном положении Карлейлей он сказался не сразу, и Карлейль незадолго до ее выхода в свет договорился при содействии Гарриет Мартино прочесть курс из шести лекций о немецкой литературе. Программа, объявленная в проспекте, была грандиозна: она включала историю германцев, строй немецкого языка, Реформацию, Лютера, мейстерзингеров, возрождение немецкой литературы, характеристику современной немецкой литературы, драму. Все это завершалось замечаниями об итогах и перспективах. Ясно было, что лекции задуманы не с целью поразвлечь публику, не требуя от нее умственного усилия. Тем не менее билеты, по гинее за весь курс, расходились очень бойко, а публики собралось много, притом самая фешенебельная.

Мы видели, каких мук стоило Карлейлю уже в зрелом возрасте выступить даже с небольшой формальной речью в Эдинбурге. Несомненно, это первое свое публичное испытание он перенес гораздо тяжелее. Он настаивал на том, что лекции не будут заранее подготовлены – под тем предлогом (а это можно расценивать только как предлог), что он занят корректурой «Французской революции». Поэтому никаких записей для лекций не было сделано. Ему необходимо было появиться перед публикой таким же безоружным, как она, и в противоборстве мнений победить ее. За неделю до первой лекции он дрожал при одной мысли о ней. Себя он сравнивал с человеком, выброшенным за борт: либо научится плавать, либо утонет. Он молил о том, чтоб спокойствие не покинуло его в тот момент и – хоть это, возможно, ему и не угрожало – чтоб его не одурманила слава. Один друг дома опасался, что Карлейль от волнения обратится к публике «Господа и дамы» и обидит своих слушательниц, но Джейн успокаивала его: скорее всего Карлейль выйдет и скажет: «Ну-ка, глупые создания,

послушайте, что я вам расскажу». Ее больше волновало другое. Может быть, Карлейль и не опоздает к началу лекций – к трем часам, особенно если она подведет все часы в доме на полчаса вперед, но вот закончить лекцию ровно в четыре он вряд ли сумеет, разве только с ударом часов на столе сама собой появится зажженная сигара. Всю зиму Джейн болела простудами, и Карлейль, сидя у себя среди книг и бумаг, очень расстраивался, слыша из-за стены ее кашель. К первой лекции она немного поправилась, но так волновалась, что не пошла на нее. На остальных она присутствовала и перед каждой наливала Карлейлю рюмку бренди с водой точно так же, как сделала и много лет спустя перед его поездкой в Эдинбург.

К счастью, Карлейль не сказал «Господа и дамы», а если лекция и кончилась позднее срока, то это произошло с согласия публики. И очень даже возможно, что волнение лектора способствовало успеху лекции: публика видела ту борьбу, в которой рождается каждая высказанная им мысль. Глаза его во время лекции были опущены вниз, на стол перед ним, который нервно ощупывали пальцы, речь была более отрывистой, чем обычно, а лицо, по словам Гарриет Мартино, – желтое, как золотая гинья.

Трудно слушать, когда говорящему доставляет муку его выступление, поэтому поразительно, что с каждой лекцией аудитория все росла. Более того: впоследствии Карлейль прочитал еще три курса лекций, и всякий раз фешенебельная публика благодарно слушала его. В 1838 году он прочел двенадцать лекций о европейской литературе начиная от древних греков – о римских, испанских, немецких, итальянских, французских и английских писателях. Через год он читал на тему «Революции в современной Европе», и опять все прилегающие улицы были запружены экипажами, а лекции прошли с огромным успехом, хотя сам он считал лекцию о французской революции неудавшейся и отметил, что публика «в основном состояла из тори и от нее нельзя было ожидать сочувствия к теме». Последний из прочитанных курсов в 1840 году и единственный опубликованный и поэтому дошедший до нас был посвящен роли героя в истории. Список выбранных героев может вызвать недоумение: языческий бог древних германцев Один, пророк Магомет, затем Данте, Шекспир, Лютер, Джон Нокс, Руссо, Берне, доктор Джонсон, Наполеон и Кромвель. Сами лекции в записанном виде производят гораздо меньшее впечатление и менее убедительны, чем другие сочинения Карлейля. Эти четыре курса принесли и некоторый доход – несколько сот фунтов. После 1840 года Карлейль уже не нуждался в деньгах, и его редко удавалось подвигнуть даже на короткое выступление.

На протяжении этих четырех курсов он так и не привык к публичным выступлениям. Накануне лекции о героях и культе героев он сравнивал себя с человеком, идущим на казнь. Иногда же скованность исчезала, и он мог проговорить двадцать минут сверх положенного часа, ни разу не заглянув в свои записи. Порою своим пылом и красноречием он увлекал аудиторию, как всякий, кто испытывал насущную необходимость выразить то, что он чувствует. В такие минуты лицо его оживлялось, глаза блестели, а голос звучал страстно, и его жена находила, что он на редкость красивый мужчина. Но она судила предвзято. Другие же замечали и его акцент, непривычный для ушей южан, и гримасы, искажавшие его лицо, когда он искал нужное слово, и неуклюжие жесты.

Ясно, что не манерой чтения он удерживал свою аудиторию; и его слушатели не были ярыми радикалами, чтобы прощать недостатки формы ради провозглашаемых им истин. Среди них были люди противоположных политических взглядов, как, например, канцлер лорд Брогам, виг по убеждениям, прусский дипломат Бунзен, аристократы вроде маркизы Лэнздаун, молодые повесы вроде Монктона Милнза и актеры – такие, как знаменитый Макреди. Числом они гораздо превосходили сидящих там и сям радикалов, которые, впрочем, также не приходили в восторг от всего, что слышали. Тори Бунзен, например, с улыбкой рассказывал, что во время одной из лекций о революции публика сидела в немом изумлении от того, что ей приходилось слышать; однако на другой лекции Милль вскочил и крикнул: «Нет!», когда Карлейль сказал, что идея Магомета о Рае и Аде и Страшном суде исходит из более глубокого понимания мира, чем взгляды утилитариста Бентама. Лектор продолжал говорить, как будто ничего не произошло, но этот крик протеста, вырвавшийся у друга, сочувствующего, был важным симптомом.

Секрет успеха этих лекций, если судить по отзывам современников, был в том, что присутствующие воспринимали Карлейля как пророка, возвещающего грядущие перемены в мире. В каком-то смысле Карлейль, в понимании стоявших перед ним задач, был похож на своего друга Ирвинга. Он говорил нервно, тогда как Ирвинг завораживал свободно льющейся речью; неуклюже размахивал руками, тогда как у Ирвинга каждый жест был эффектен и красив. Но в главном они были похожи: Карлейль был так же уверен в скором конце – правда, в социальном смысле, а Ирвинг в религиозном, – которого можно избежать, ступив на путь истины. В середине прошлого века публика легко верила таким пророчествам: наиболее талантливые и просвещенные ее представители чувствовали вину за бедственное положение своих ближних, и это находило выход в спорах

об истинности Библии или в интересе к вопросам внутренней политики. Такие люди слушали Карлейля как пророка. Что же проповедовал этот пророк? Ответить на этот вопрос непросто. В чем состояла его религия, как справедливо спрашивал старший брат Чарльза Дарвина, Эразм? Или хотя бы в чем заключаются политические убеждения этого санкюлота, которого с таким интересом слушают тори? Добивался ли он насильственного свержения строя? Так можно подумать, если прочесть наиболее сильные места из «Французской революции». Тогда почему он говорил о достоинствах Новой Аристократии, ведомой Героем, как о надежде человечества? И наконец, какую программу действий мог он предложить своим последователям, помимо прекрасных нравственных позиций?

Современники не задавались этими вопросами, во всяком случае, в первую пору его славы, когда он с горящим взглядом, громовым голосом бичевал тупость политических лидеров и закоснелость интеллектуальной элиты. Спустя много лет один современник в письме к Эмерсону выразил общее мнение, сказав: «Подумать только, где мы оказались. Карлейль завел нас в пустыню и оставил здесь». Будущее несло разочарование, но пока пророку удавалось обращать в свою веру.

Новообращенных было много. Их равным образом привлекало и убеждение в правоте Карлейля, и обаяние Джейн. Гарриет Мартино, эту львицу со слуховой трубкой, поднаторевшую в политэкономии, мы уже видели. Она часто приходила к Карлейлям и приводила друзей, среди которых были самые глубокомысленные борцы за преобразования, которые только встречались в этот век глубокомыслия и жажды преобразований. «Ее любовь велика, нет – даже слишком велика, – писал Карлейль. – Эта толпа странных темных личностей, которую она напускает на вас – все эти проповедники, памфлетисты, борцы против рабства, талантливые редакторы и прочие Атланты (не известные никому), держащие мироздание на своих плечах, – их даже слишком много». Карлейль иногда огорчал ее. То он высмеял ученых, то заявил, что ему безразлично, есть ли потусторонняя жизнь, или нет. Однако она находила здесь и свои маленькие радости: можно было два часа поговорить с Джейн, очень красивой в ее черном бархатном платье, «о подробностях жизни знаменитых литераторов, которые, кажется, оправдывают те слухи, которые о них распространяются». Да и в самом Карлейле, если только она не расспрашивала его о бессмертии души, Гарриет видела под внешней резкостью большую доброту, сострадание к другим. Она, возможно, удивилась бы, узнав его мнение о ней. Похвалив ее проницательность, самообладание и искренность, он сказал: «С ее талантом она могла бы

стать прекрасной начальницей в каком-нибудь большом женском заведении, но сложные нравственные и социальные проблемы ей явно не по силам».

Немало поклонников Карлейля было среди литературной молодежи. Самыми заметными из них были Диккенс, поэты Теннисон и Браунинг; самым преданным – Джон Стерлинг. Восхищение Диккенса перед талантом Карлейля – писателя, мыслителя было безгранично. Карлейль, напротив, довольно сдержанно относился к Диккенсу. Он прочел «Записки Пикквикского клуба» по рекомендации Чарльза Буллера и сказал о них, что «более жидкого кушанья, со столь мало различимым вкусом, еще никогда не предлагалось читателю». Чем же объяснить тогда, что он просидел почти весь день за чтением этой книги? Сама личность Диккенса, которого он встретил в гостях, вызвала у него только приятные чувства: «Умные, ясные голубые глаза, удивленно поднятые брови, большой, довольно мягкий рот, лицо, до крайности подвижное, которое он странным образом приводит в движение, когда говорит: брови, и глаза, и рот – все!»

Теккерей, по его мнению, обладал куда большим литературным талантом, но Карлейль всегда относился к романам как к досадным пустячкам и потому не делал больших различий между двумя писателями. О Диккенсе он говорил с некоторым снисхождением, что он единственный писатель, чьи писания сохранили искреннее жизнелюбие.

Более теплое чувство питал он к Теннисону, с которым познакомился у себя дома. Карлейлю, как правило, больше нравились высокие люди, чем маленькие, а Теннисон обладал большим ростом: «человек с лохматой головой, крупными чертами лица, туманным взглядом и бронзовым цветом лица – вот каков Альфред»; к тому же Карлейль любил курящих людей, а Теннисон был «один из самых крепких курильщиков, с которыми мне приходилось иметь дело». Теннисон, разумеется, был еще и поэтом, и хотя в более поздние годы Карлейль поставил стихи в один ряд с романами как пустячное занятие, недостойное внимания в такое серьезное время, он уговорил Монктона Милнза хлопотать о пенсии для Теннисона.

Замечено, что Теннисон – почти единственный поэт в окружении Карлейля, которого тот не уговаривал перейти на прозу. Впрочем, поскольку поэзия тоже падала в глазах Карлейля, ничего лестного в этом нет. Другой поэт, Браунинг, послав на Чейн Роу свои произведения «Сорделло» и «Пиппа проходит», получил дружеский, хоть и не очень полезный, совет: Карлейль находил у него редкий дар, поэтический, изобразительный, а может быть, интеллектуальный, который, однако, пока не имел возможности полностью развиться. Не попробовать ли ему в

дальнейшем писать прозой? «Следует сперва добиться верного воплощения мысли, тогда может получиться и верное поэтическое воплощение», – писал он ему, впрочем, довольно туманно. «Всякие картинки – всего лишь геометрическая игра, и их можно нарисовать только после того, как тщательно составлены простые диаграммы». К Джону Стерлингу, сыну редактора газеты «Тайме». Карлейль испытывал самую сильную личную привязанность. Англиканский священник, одолеваемый сомнениями, самый незначительный из всех второстепенных поэтов, автор дидактического романа, в котором в качестве персонажей действовали Карлейль и Гете, – таков был этот мягкий и обаятельный человек, уже во время встречи с Карлейлями обреченный на смерть от туберкулеза. В своих письмах он шутил с Джейн и отчаянно спорил с Карлейлем о стиле и этике в то время, как жизнь потихоньку угасала в нем.

Монктона Милнза, молодого, любезного, очень остроумного и очень влиятельного молодого человека, привел на Чейн Роу Чарльз Буллер. Он приходил сюда часто, и ему Карлейль обязан многими знакомствами в высших литературных кругах. На обеде Карлейль встретился с Галламом и Гладстоном, которые, впрочем, ничем особенным себя там не проявили. На одном из знаменитых завтраков Роджерса он встретил Маколей, которого считали тогда надеждой английской литературы. Маколей, только что возвратившийся из Индии, завладел всеобщим вниманием за столом и говорил один весь завтрак. Милнз, выходя на улицу вместе с Карлейлем, выразил сожаление по поводу говорливости Маколей. Карлейль развел руками в напускном изумлении: «Так это был Почтенный Том? Я никак не думал, что это и есть Почтенный Том. Ага, зато теперь я знаю Почтенного Тома». Хозяина на том завтраке, Роджерса, Карлейль запечатлел в блестящей меткой зарисовке, каких немало было в его письмах: «Старый полузамороженный сардонический господин из виггов: волос нет вовсе, зато череп необыкновенно бел и гол, глаза голубые, хитрые, грустные и злые; беззубый подковообразный рот поднят до самого носа: тягучий квакающий голос, злой ум, безукоризненные манеры; это парадные покои, где всякий пустой вздор принимается благосклонно; по сути же – жилище Синей Бороды, куда никто не ступит, кроме хозяина».

Среди гостей Роджерса был и некто Рио, французский роялист, заметная фигура своего времени, теперь совершенно забытая. Он был противником Наполеона, но и Бурбонов не любил. Господин Рио в течение часа наблюдал, как спорили между собой Галлам и Маколей, и был поражен их дружелюбным тоном. Они, должно быть, были бы не менее поражены, если б узнали, что Рио принял их обоих за консерваторов,

только разных оттенков. В Англии, однако, бытует и другая точка зрения, писал в своем дневнике господин Рио. Эту точку зрения представляет шотландец Карлейль. Рио не мог не восхититься его «Французской революцией», однако одобрительный взгляд автора на террор наполнил душу французского роялиста ненавистью, которую, казалось, ничто не пересилит. Каково было его удивление, когда, встретясь с Карлейлем через вездесущего Милнза, он вместо «дикого республиканца» нашел в нем «дружелюбного и приятного человека, приемлемого со всех точек зрения». По многим вопросам политики и религии они были совершенно одного мнения. Неужели это тот самый человек, который поддерживает дружбу с людьми самых крайних убеждений? Очевидно, он самый. «Он пригласил меня к себе на обед, – писал Рио, – в обществе Годафруа Кавеньяка, во-первых, а во-вторых, самого ужасного Маццини».

Годафруа Кавеньяк был республиканцем, старшим братом того генерала Кавеньяка, который после революции 1848 года короткое время был президентом Французской республики. Это был, по описанию Джейн, «французский республиканец самых прочных убеждений, который пользовался славой человека, настолько замечательного, что он не только сидел в тюрьме, но чуть не лишился головы; мужчина с красивым, смуглым, немного жестоким лицом, с каким обычно рисуют падших ангелов». Джейн, возможно, не без злого умысла спросила Рио, знаком ли он с Кавеньяком, и, если верить ее записи, между ними произошел весьма живой диалог:

«– А кто же не слышал о Кавеньяке? Но я, как вы знаете, являюсь жертвой его партии, а он – жертва Луи-Филиппа. Кавеньяк бывает у вас?»

– Да, мы давно с ним знакомы.

– Боже мой! Как странно было бы нам оказаться в одной и той же комнате. Вот было бы забавно!

– Почему нет, он обедает у нас в понедельник.

– Я тоже приду. Ах, это будет так странно!»

По мнению Джейн, Рио был в восторге от этой перспективы, но едва гость ступил за порог, как Карлейль спросил ее, о чем она думала, приглашая вместе таких ярых противников. Джейн заказала пирог с мясом вдобавок к бараньей ноге, которой собиралась угостить Кавеньяка и его друга Латрада, и решила надеяться на лучшее. Лучшего, однако, не случилось: «Рио явился на сцену в половине четвертого, как будто ему не терпелось. Латрад пришел, когда часы пробили четыре. Но Кавеньяк – увы! Два его друга поссорились, и он пошел их мирить. Пока он их не урезонит, на обед не придет. ...И вот прошло полчаса, и я уже собиралась

предложить, чтобы его не ждали, как подъехала коляска с актером Макреди и его сестрой. Удивительно не везло бедной бараньей ногой! Однако делать нечего – приходилось быть любезной. ...Через полтора часа после того, как обед был сварен, мы наконец сели за стол: Рио, Латрад и мы. А когда начали убирать со стола, явился Кавеньяк с какими-то бумагами в руках и бог знает с чем в голове; он не промолвил ни одного путного слова за весь вечер. Рио, правда, ничего плохого о нем не сказал, но наверняка подумал: „Боже мой! Лучше бы никогда не оказываться с ним в одной комнате!“

Посетители Чейн Роу принадлежали к самым разнообразным группировкам и национальностям, и всем оказывалось гостеприимство в этом доме, в то время вовсе не богатом. В этот дом мог неожиданно прийти граф д'Орсэ, известный денди, и предстать пред Карлейлем в сером костюме с небесно-голубым галстуком, весь в золотых цепочках, в белых перчатках и пальто с бархатной подкладкой. В этом доме ссыльные революционеры пили чай с аристократами, глубокомысленные вольнодумцы вступали в спор со священниками-радикалами, профессиональные политики беседовали с начинающими поэтами.

Иногда давали обед для узкого круга друзей, а однажды Джейн даже устроила, как писал Карлейль в письме матери, «нечто под названием суаре... это когда гостям нечего делать, кроме как бродить по комнате или комнатам, они толкаются и разговаривают друг с другом как только могут». Все прошло вполне удачно, писал Карлейль, но, закуривая последнюю ночную трубку, он все-таки молился, чтобы как можно дольше не устраивали бы таких, суаре. Надо думать, что он молился не про себя и не в полном одиночестве.

Самого замечательного из революционеров-эмигрантов, посещавших дом Карлейля, привел сюда простоватый и прямодушный муж Гарриет Тейлор, приятельницы Милля. Это был человек немного ниже среднего роста, с поразительно красивым лицом: смуглость кожи оттеняла совершенство черт, выражение было открытое и необыкновенно приятное, темные глаза блестели природным весельем. Это был Джузеппе Маццини, двадцати с небольшим лет, но уже легендарный герой у себя на родине, в Италии, где основанная им «Молодая Италия» была разгромлена в первом же восстании – одном из тех многочисленных неудачных или удавшихся лишь наполовину выступлений, с которыми было связано имя Маццини. К моменту своего знакомства с Карлейлем Маццини пробыл в изгнании уже три года. В Англию он приехал из Швейцарии и чувствовал себя очень неуютно в этой незнакомой, холодной стране. Жизнь политического эмигранта в любом случае печальна. Денег у Маццини было мало, да и те

он делил с еще более бедными друзьями. Он попал в руки ростовщиков, которые давали ему деньги под тридцать, сорок или даже сто процентов. Питаясь одной картошкой и рисом, не имея доступа к книгам, не зная поначалу языка, Маццини чувствовал себя так, как будто и его жизнь, и время проходили бесплодно. Если б он мог заглянуть в будущее, то увидел бы еще больше причин для разочарования и отчаяния: крушение своей мечты о единой Италии, о республике, в которой всеми гражданами руководит лишь высокое религиозное и нравственное чувство. Но в то время он боялся лишь одного: что не сможет сам участвовать в великой национальной революции, которой он надеялся достичь путем заговоров. «Молись за меня, – писал он другу, – чтобы я успел принести пользу, прежде чем умру». В другие моменты он начинал верить в свое бессмертие – иначе он давно умер бы от физических страданий и душевных мук.

В более поздние годы, когда Карлейль далеко отошел от республиканских симпатий тех лет, он писал с несвойственной ему забывчивостью, что разговаривал с Маццини «раз или два», но что они «скоро наскучили друг другу». В действительности Маццини был в течение нескольких лет одним из самых частых посетителей их дома. Поначалу Маццини сидел молча, говорил только по-французски, стеснялся своих ошибок в английском. Постепенно и Карлейль и Джейн полюбили его. Карлейль признавал в нем святого человека, до конца преданного делу родной Италии, и эти качества Карлейль всегда глубоко уважал, хотя в конце концов они с Маццини и разошлись. В Джейн Маццини вновь вызвал к жизни романтические чувства, которые дремали в ней, скрытые за внешней язвительностью. Ее поразила и его красота, и неукротимый характер революционера. Она любила в письмах к друзьям и родным приводить те причудливые английские фразы, которые часто слетали с его языка: «заботы хлеба», «надену мой чепец» и другие. Она писала короткие записки матери Маццини в Геную и даже зашла так далеко, что послала ей медальон с двумя переплетенными локонами – своим и Маццини. Медальон, однако, мог ввести в заблуждение, и Маццини поспешил написать матери, что он любит синьору Карлейль «как брат». Джейн помогла Маццини найти другую квартиру – в нескольких минутах ходьбы от Чейн Роу, где он наслаждался почти деревенской тишиной. В течение восьми лет, пока революция 1848 года не заставила его поспешить обратно в Италию, он неизменно раз в неделю обедал у Карлейлей. В остальные дни Карлейль мог пригласить его на прогулку или Джейн могла прислать записку, прося его сопровождать ее к собору св. Павла или по магазинам, или во время визита к знакомым. Карлейли так старались, чтобы Маццини

больше встречался с людьми, что временами он даже этим тяготился.

Во многих вопросах мнения Карлейля и Маццини совершенно совпадали. Оба восхищались Данте и Гете, оба ненавидели распространенную в то время доктрину утилитаризма. Они оба придавали большое значение вере и считали добром труд, даже независимо от его цели. Однако вера Маццини (которую он пронес через всю жизнь) в то, что Италию можно возродить путем стихийного подъема всего народа, казалась Карлейлю беспочвенной. Даже с практической точки зрения такое восстание, по мнению Карлейля, имело мало шансов на успех. И правда, во все планы Маццини, даже осуществленные, обязательно вторгалось какое-нибудь глупое недоразумение. Например, его попытка поднять восстание через двух молодых аристократов из Венеции нелепо провалилась, когда какой-то полицейский шпион уговорил их пойти на помощь несуществующему восстанию в Калабрии. Позднее он участвовал в еще более безнадежном заговоре в Генуе. Маццини был жертвой самого опасного заблуждения многих революционеров: он переносил свои мечты непосредственно в реальность. Однажды он в присутствии Джейн пришел в необычайное волнение от плана вторгнуться в Италию на воздушном шаре. В таком случае, сказала Джейн, она не участвует. Маццини был искренне изумлен. Разве ей не казалось прекрасным спуститься с неба для того, чтобы спасти страдающий народ? Все это говорилось, по воспоминаниям Джейн, «с глазами, сияющими надеждой, верой и щедрым самопожертвованием! Не кощунственно ли, не преступно ли шутить с таким человеком? Он живет, движется и существует только в истине, а вынь его оттуда – и он всего-навсего несмышленный, доверчивый двухлетний ребенок».

Карлейль также находил доверчивость Маццини трогательной, но это не мешало ему нападать на него за то, что он называл революционным прожектерством. В это самое время, когда он становился известным как великий оратор монологического склада, Карлейль начал ценить золото молчания. Некоторые слова или громкие фразы, часто повторяемые друзьями, немедленно вызывали с его стороны пространные дифирамбы молчанию. На эту тему он иногда говорил в течение получаса, а если кто-либо его прерывал, на его голову сыпался град метафор, сказанных тоном, одновременно и ироническим, шутливым, и предупреждающим о близкой грозе. Один гость в присутствии Маццини имел неосторожность сказать: «В конце концов, главная задача – добиться счастья для народа», за что на него обрушился сокрушительный удар Карлейлева красноречия. Молнии сыпались вокруг незадачливого болтуна, имя которого, кстати, осталось

неизвестным. В конце концов, «скорее мертвый, чем живой», он поднялся, и Джейн проводила его до двери, на ходу шепотом утешая его. Гроза тем временем перекинулась на Маццини. Счастье, счастье, кричал Карлейль, шагая по комнате и тряся гривой, как рассерженный лев в клетке, на цепь бы посадить всех дураков. Только труд имеет смысл, один лишь труд – умственный или ручной – приносит покой душе. Труд и молчание – вот лучшие достоинства человека. Молчание, молчание! И не только отдельные люди, но целые народы должны молчать, пока голос гения не заговорит с ними. Не была ли Италия, пусть разделенная, униженная, угнетенная, все же великой, когда от ее имени говорил Данте? И, указывая на Маццини, он мгновенно спустился на землю: «Вы, вы не добились ничего, потому что слишком много говорили, за этим главного не сделали!»

Маццини в ответ сумел улыбнуться и заметить, что Карлейль сам «любит молчание как-то уж слишком платонически». В начале их знакомства он пытался спорить, но постепенно понял, что с пророком спорить невозможно. Неизвестно, видел ли он те различия, о которых сказала Джейн после одного вечера, когда Карлейль особенно яростно напал на «розовые безумства» Маццини: «Для Карлейля это всего лишь вопрос точки зрения; для Маццини же, который ради этой цели отдал все и привел на виселицу своих друзей, это вопрос жизни и смерти».

Трудно рассказать об этом, не создав у читателей впечатления, что Карлейль был просто жестоким деспотом. Однако те, кто лично знал Карлейля, видели в нем прежде всего душевную щедрость. В конце концов, и Маццини не прекратил из-за этих нападков свои еженедельные визиты. А Карлейль, хоть и обвинял его в личных разговорах в провале восстания, написал, однако, разгневанное письмо в «Тайме», когда стало известно, что правительство вскрывало переписку политических эмигрантов и переправляло сведения их противникам в Италию. Растроганный Маццини назвал этот поступок Карлейля «благородным», причем употребил это слово действительно с полным основанием.

«В течение нескольких лет я имел честь знать г. Маццини; каковы бы ни были мои взгляды на его понимание и навык в практических делах, я могу свидетельствовать перед всеми, что он человек доблести и гения, негибавшей преданности, гуманности и благородства ума, если мне вообще приходилось видеть такого человека. Это один из тех редких людей, каких, к сожалению, в мире лишь единицы и которые достойны того, чтобы их назвать мучениками веры, которые молча, свято, каждую минуту помнят и претворяют в жизнь то, что стоит за этим словом».

Столь же решительно Карлейль защищал его и в более узком кругу.

Когда пьемонтский посланник в Англии позволил себе пренебрежительно высказаться о Маццини, Карлейль с гневом воскликнул: «Сэр, вы ничего не знаете о Маццини, равным счетом ничего!» – и вышел.

*

Маццини был самой заметной фигурой из числа тех бедных, мечтательных изгнанников свободы из разных стран, которых Джейн взяла под свою нежную опеку.

Их трагикомическое существование складывалось из несбывшихся надежд, нелепых поступков, странных оборотов речи и глубокого личного горя. Среди них был, например, граф Пеполи, эмигрант из Италии, женившийся на подруге Джейн, Элизабет Фергус из Киркольди; был тут и Гарнье, «бежавший из Германии, пыльный, прокуренный, покрытый шрамами от дуэлей», который погиб, сражаясь в Бадене в 1848 году; а также полноватый молодой немец из хорошей семьи, по фамилии Платнауэр, и многие другие. Об их жизни в изгнании можно судить по письмам Джейн, которая, хоть и подшучивала над ними, сочувствовала им всей душой.

Чейн Роу посещало много американцев, так как в Америке Карлейль получил признание с выходом «Сартора», и слава его с каждым годом росла, благодаря усилиям Эмерсона, который вел дела с издателями и держал Карлейля в курсе. От Эмерсона Карлейль получил и первый гонорар за «Французскую революцию» – чек на 50 фунтов, который Джейн со слезами на глазах переслала Карлейлю в Скотсбриг.

Дружба между Карлейлем и Эмерсоном росла и крепла на расстоянии: из обширной переписки можно довольно скоро понять, что частые встречи, пожалуй, привели бы к разногласиям. Эмерсон так же, как и Милль, мыслил абстрактными категориями, но в отличие от Милля, он не сразу понял особый склад ума Карлейля. Едва ли Карлейля прельщало предложение Эмерсона приехать в Америку и редактировать там издание под названием «Трансценденталист, или Искатель духа», вряд ли также ему польстили бы слова некоего священника, прилежно записанные Эмерсоном: «Нет таких слов, которые могли бы выразить мое страстное желание, чтобы он приехал к нам». Несомненно, его лишь оттолкнуло предложение Эмерсона: «Привезите рекомендацию от какого-нибудь кальвиниста из Шотландии в адрес какого-нибудь здешнего кальвиниста – и ваше благополучие обеспечено». Насколько мало подходил темперамент

Эмерсона для того, чтобы оценить Карлейля, видно из его высказываний о «Сарторе»: «Форму, которую мой недостаток юмора не позволяет мне оценить, я оставляю на вашей совести».

Большинство американцев приводило к Карлейлю восхищение или простое любопытство. Их принимали здесь любезно, но особенно не церемонились. Элегантного Джорджа Тикнора, который сетовал на недостаток изящных манер у Карлейля, тот отрекомендовал Монкстону Милнзу как первостатейную зануду. Другой американец, Элкот, почитаемый Эмерсоном, сумел обратить Теннисона в вегетарианца, но был поднят на смех Карлейлем и Браунингом. «Когда я увижу вас вновь?» – спросил его Карлейль после одного из посещений, на что получил ответ: «Думаю, никогда». Однажды на протяжении двух недель здесь перебивало четырнадцать американцев, включая «одного чистокровного янки», который явился, когда ни Карлейля, ни Джейн не было дома, прошел в библиотеку, уселся за письменный стол Карлейля и стал писать ему письмо. Когда же вернулась Джейн, он подверг ее форменному допросу о привычках и образе жизни Карлейля. Ее сухие ответы «так и отскакивали от его носорожьей шкуры».

Маргарет Фуллер, одно время редактировавшая «Циферблат», поначалу произвела в Челси благоприятное впечатление. «Странная, картавая, худая старая дева, совсем не такая скучная, как я ожидал», – писал Карлейль Эмерсону. Мисс Фуллер, со своей стороны, была в восторге от его разговоров, от длинных оборотов, произносимых нараспев, как баллады, от юмора: «впору умереть со смеху». Но, увы, вскоре выяснилось, что Карлейль говорил все-таки слишком много и прервать его не было никакой возможности. «Если тебе удастся вставить словечко, он повышает голос и заглушает себя». Ее рассказ, пожалуй, дает достаточное представление о манере Карлейля:

«Даже привыкнув к богатому и остроумному языку его книг, трудно не растеряться, оказавшись лицом к лицу с его живой беседой. Он и не беседует – он вещает. И это ни в коей мере не означает, что он не желает оставлять свободы другим. Напротив, никто так не жаждет встретить мужественное сопротивление своим идеям. Это привычка ума следовать своим путем, как ястреб преследует свою добычу, и полная неспособность прервать погоню. Карлейль действительно резок и высокомерен; но в этом нет мелочного себялюбия. Это – героическое высокомерие древнего скандинава-завоевателя; это в его природе, это его неукротимость, которая дала ему силу сокрушить драконов. Он, пожалуй, не внушает восхищения или почтительности; возможно, он сам бы рассмеялся, если б было иначе.

Зато его нельзя не полюбить всей душой, полюбить его в роли могучего кузнеца Зигфрида, переплавляющего старое железо в своем горне, к которому близко лучше не подходить – обожжет. Он показался мне совершенно изолированным – совсем одиноким в пустыне, – хотя никто, как он, не создан для того, чтобы вознаградить друга, если бы только такой нашелся. Он находит друзей, но только в прошлом.

Он скорее поет, чем говорит. На вас изливается своего рода сатирическая, героическая, критическая поэма с ритмически правильными периодами. Высших форм поэзии он не признает. Его высказывания на этот счет нелепы до очарования. Иногда он останавливается, чтобы самому над ними посмеяться, затем начинает с новой силой. Его речь, как и его книги, полна живых картин, а критика бьет без промаха».

В один из таких вечеров, проведенных в беседе, Маргарет Фуллер сказала: «Я принимаю Вселенную», на что Карлейль заметил: «Да уж, пожалуй, это в ваших интересах».

Очень легко неверно оценить ту противоречивость в мыслях, которая свойственна Карлейлю в конце тридцатых – начале сороковых годов. Можно свысока осудить его горячность, его нападки на парламент, можно снисходительно улыбнуться его вере в нравственную силу труда, но при этом окажутся забытыми и его способность глубоко сочувствовать всем обездоленным, и возмущаться теми, кто их угнетает; его страстная мечта о возрожденном человеческом достоинстве, осуществить которую он надеялся путем устранения нужды и распространения универсальной образованности. В то время и в последующие годы эта мечта определяла все его дела и поступки.

Среди вопросов, волновавших Карлейля, главным был вопрос о положении в Англии. Тридцатые годы начались с закона о реформах, которому философы-утилитаристы рукоплескали как символу грядущего благоденствия. Но в те же годы начали расти и тред-юнионы: Всенациональный союз трудящихся классов за установление новой морали, основанный в 1833 году под влиянием идей Роберта Оуэна, в котором одно время состояло, как считается, больше миллиона человек. Этот союз был безжалостно раздавлен тем самым правительством реформ, на которое утилитаристы возлагали столь большие надежды. Вслед за расправой над мучениками из Толпадла последовала атака со стороны хорошо организованных заправил строительных, трикотажной и швейной компаний на самый принцип рабочих объединений. Всенациональный союз распался. На смену ему пришла Лондонская ассоциация рабочих, которая выработала хартию из шести пунктов, в которых требовалась реформа избирательного

права, тайное голосование, ежегодный созыв парламента, равные избирательные участки, жалование членам парламента, отмена имущественного ценза для участия в парламенте. Принятие этих требований означало бы полное свержение правящего класса. В феврале 1839 года собрание из 53 делегатов, в основном от промышленных районов, подготовило петицию для представления хартии в парламент. Петиция, под которой стояло 2 миллиона 283 тысячи подписей, наконец была представлена в парламент. Ни малейшей надежды на то, что парламент ее утвердит, разумеется, не было: когда это правящий класс подписывал свой собственный смертный приговор? Вопрос о том, поставить ли хартию на рассмотрение в парламенте, был решен отрицательно большинством голосов: 235 против 46. Чартисты начали готовить всеобщую забастовку, но затем оставили это намерение. Правительство же, не теряя времени, арестовало чартистов по обвинению в антиправительственной агитации, в незаконных сходках, в незаконном ношении оружия. Поднявшееся в Уэльсе восстание было подавлено, его организаторов судили, заключили в тюрьму или сослали на каторгу. Правительство торжественно объявляло об уничтожении чартизма. На самом же деле он был лишь ослаблен правительственными мерами.

Такова была атмосфера тех лет, и Карлейль прекрасно чувствовал себя в ней, хотя сам, возможно, и не признался бы в этом. В столкновении больших масс людей, в надежде на полное разрушение старого и затем рождение нового порядка всегда было нечто притягательное для него. Он, несомненно, согласился бы с русским революционером Желябовым: «История движется слишком медленно. Ее нужно подталкивать». Незадолго до рождения чартизма Карлейль присутствовал на собрании радикалов, на котором председательствовал Чарльз Буллер, и заметил с удовлетворением присутствие «двух тысяч очень угрюмых личностей с решимостью на лицах. Удержать 10 миллионов таких молодцов по системе солдатской муштры – задача, какая Веллингтону до сих пор не доставалась. Бог с ним! Если он хочет войны – может быть спокоен – получит предостаточно; на этом и не такие люди теряли головы. Что до меня, то я вижу для всей этой затеи только один конец – провал».

Зимой 1839 года Карлейль написал за четыре-пять недель небольшую книгу о чартизме. Типично, что ему захотелось опубликовать ее в консервативном «Обзрении», однако его редактор, Локарт, признался, что не решается брать вещь. Милль также читал «Чартизм» и несколько неожиданно заявил, что это «вещь замечательная», пред-пожив напечатать в последнем номере своего радикального «Вестминстерского обозрения».

Карлейль, однако, еще не забыл, как двумя годами раньше «Вестминстерское обозрение» отказалось заказать ему статью о положении в Англии. Он решил издать «Чартизм» отдельной книжкой. Первое издание тиражом в тысячу экземпляров разошлось в течение недели. Издатель, кроме того, выпустил второе издание «Вильгельма Мейстера» и книгу, составленную из статей и очерков Карлейля. Из Америки Эмерсон прислал восторженный отзыв о «Чартизме» и, как обычно, принялся хлопотать о гонорарах и условиях издания.

«Чартизм» принадлежит к числу самых блестящих работ Карлейля. В ней утверждается, что чартизм не может быть окончательно подавлен, так как он проистекает из глубокого недовольства, назревшего в рабочем классе Англии. От этого движения не удастся отмахнуться, назвав его подлостью, безумием или подстрекательством. Он обрушивается на парламент реформ, который отказался рассмотреть положение в Англии, но нашел время обсудить вопрос о спальне ее величества, закон об охоте, законы о ростовщичестве, решить вопрос о скоте в Смитфилде и многие другие, причем обрушился с такой блестящей иронией, что и теперь эта книга читается с увлечением, хотя чартизм давно стал страницей истории. Однако тогда Карлейль нападал и на консерваторов, и на радикалов за то, что они не смогли понять: чартизм – это «наша Французская революция», которую можно осуществить при помощи веских аргументов, а не ударов, но нельзя ни подавить, ни оставить без внимания. Не были забыты и верхи общества. Что сделали они, на которых лежала естественная ответственность за огромную безмолвную массу низов, для блага этих низов? Устроили столовые для нищих, усовершенствовали дисциплину в тюрьмах, ходили на благотворительные балы да ввели тяжелый, однообразный труд на заводах. И все это под лозунгом защиты частной собственности.

Карлейль критикует с позиций человека, искренне озабоченного положением народа, однако в его позитивной программе нет ничего нового. Образование и эмиграция – вот что противопоставлял он пессимизму экономистов мальтузианского толка. Каково будет всеобщее изумление, писал он, если «какой-нибудь подходящий, облеченный властью человек» объявит, «что после тринадцативекового ожидания он, облеченный властью человек, и с ним вся Англия решили наконец посвятить в тайны азбуки всех жителей этой страны?» Разве такое известие не потрясло бы страну? А какие возможности для человечества заключает в себе мир, в котором есть нетронутые леса Канады, дикие прерии Америки, где девять десятых планеты взывает к человеку: «Приди и возделай меня! Приди и пожни!»;

где стоящие без дела английские суда могли бы доставить новых поселенцев к новым берегам. Можно ли в таком мире слушать без гнева бредни Мальтуса о необходимости сократить население или тем более читать предложения некоего чартиста, скрывающегося под псевдонимом «Маркус», насчет того, чтобы в рабочих семьях убивать безболезненно всех детей, начиная с четвертого?

Однако за всем этим Карлейль увидел в чартизме стремление масс обрести вождя. Разве не было право идти за своим вождем самой большой привилегией темного человека? Разве эти священные права и обязанности – со стороны вождя и ведомых – не составляли сущность свободы? С годами он все больше и больше склонялся в своих изысканиях о человеческом обществе на эту точку зрения.

Taken: , 1

Глава двенадцатая. Дома и в пути

Он слишком велик для нашей повседневной жизни. Сфинкс выглядел бы нелепым в нашей гостиной, но с большого расстояния он фантастически величествен! Вы должны гордиться, что принадлежите ему, и он достоин обладать вами.

Из письма Джеральдины Джусбери к Джейн Карлейль, 1843

Счастье в большой степени зависит от темперамента человека. Карлейль в силу своего склада не был счастливым человеком, хотя и умел с большим мужеством переносить неудачи. Здесь, в Лондоне, окруженный славой, он не был счастливей, чем когда жил в неизвестности в Крэгенпуттоке.

Отовсюду сыпались похвалы его красноречию и мудрости, все жаждали встретиться с ним; простой ткач из Пейсли признал в Карлейле своего духовного отца, а молодая квакерша выражала свое восхищение его книгами и от всего сердца убеждала его продолжать писать. Чего-то да стоит тот факт, что столько молодых людей избрали его своим духовным отцом, что ему пришлось даже отвечать публично тем, кто просил наставления в жизни и занятиях наукой. Стоит, но не многого. В дневнике, а часто и в письмах Карлейль жаловался на свою жизнь, был недоволен собою. Он был принят высшим обществом, бывал на приемах среди лордов и знаменитостей. Однако, едва покинув чью-то гостиную, где он выглядел вполне счастливым, он начинал жаловаться: «Это нездорово и для моего тела и для моей души. Хорошее самочувствие, или, по крайней мере, не плохое самочувствие, возможно для меня только в полном одиночестве». В иные минуты ему хотелось, напротив, объездить оба полушария, читать лекции – и тем обеспечить себе «хоть самый маленький доход, чтобы потом уединиться в хижине где-нибудь на берегу моря и затаиться, пока не придет мой час». Уединение, так же как и молчание, он любил платонической любовью: обычно он с радостью возвращался в общество.

Счастье ускользало от Карлейля в дни его славы, да и Джейн чувствовала скорее какое-то нервное возбуждение, нежели спокойное довольство жизнью. Гарриет Мартино писала, что Джейн по восемь раз в

год болела гриппом, и хотя это и преувеличение, верно то, что ее действительно всю зиму мучили простуды, а петушиного крика или воя собаки было достаточно, чтобы она не заснула всю ночь. В 1840 году супруги решили, что ей лучше иметь собственную спальню, и с тех пор спали в разных комнатах. Подобно Карлейлю, она не склонна была преуменьшать свои страдания, и часто, когда Карлейль заглядывал к ней утром, чтобы справиться о ее здоровье, она говорила ему, что раз тридцать вскакивала этой ночью или что вообще не сомкнула глаз. Карлейль при этом никогда не выражал сомнения – он мог бы рассказать ей о таких же мучениях, – но вот доктор Джон, который был не щедр на утешения, меньше доверял ее словам. «Этого не может быть, – говорил он ей, – ибо иначе тебя давно не было бы на свете».

Доктор Джон и другие члены его семьи давно не появлялись на этих страницах, но ни из жизни Карлейля, ни из его писем они не исчезали. Луноликий доктор появлялся на Чейн Роу всякий раз, когда его графиня приезжала в Англию; а Карлейль часто подумывал отправиться пешком вокруг света с мешком за плечами, чтобы повидать своего брата в Риме. «Здесь терять нечего, и это вполне возможно, нужно только решиться», – писал он, но, разумеется, оставался дома. В другой раз он хотел навестить брата в Париже, а однажды Джон прислал ему тридцать фунтов, чтобы оплатить дорогу в Германию, где он в это время находился. «Джейн говорит, надо поехать встряхнуться», – и снова не поехал. Карлейль редко признавался самому себе в том, что его брат обладает незаурядным талантом праздного ничегонеделания. Но, когда они встречались, его неизменно раздражал этот человек, с каждым годом все более и более довольный своим безмятежным существованием. По письмам Карлейль еще мог представить себе брата идеальным доктором Джоном, беспредельно преданным медицине, но все иллюзии исчезали, стоило ему хотя бы день видеть доктора во плоти и крови. Обычно Карлейль терпимо обходился со своим любимым братом; но однажды, когда доктор осмелился в ответ на какое-то замечание возразить Карлейлю, что у него неверное представление об аристократах, так как он не имел возможности подолгу их наблюдать, то получил уничтожающий отпор: «Да, сударь, скорее всего не имел! Я никогда не состоял при аристократке лакеем – или в любом другом домашнем качестве!!» Бедный доктор, спеша загладить свою вину (хотя это чувство в данном случае скорее было к лицу Карлейлю), прислал на Чейн Роу отрез шерстяной материи для брата, а для Джейн апельсинов, инжира, слив и большой окорок.

Отношения со Скотсбригом, однако, не омрачались подобными

мелочами. Переписка Карлейля с матерью трогает его нежностью и ее стремлением понять сына и гордиться его достижениями. Карлейль обычно сообщал ей новости, которыми надеялся развлечь ее, часто он посылал ей деньги. Получив деньги по чеку, присланному из Америки, он немедленно послал часть ей: «котенок обязан носить старой кошке мышей – в данном случае это американская мышь!» Она по-прежнему имела обыкновение, жалуясь на холодную зиму, замечать, что господь все ж посылал лучшую погоду, чем заслуживало это грешное поколение, которому он никогда не воздавал по заслугам. И все же она, насколько могла, примирилась с ересью своего старшего сына. Она с жадностью прислушивалась ко всем новостям о сыне, которые доходили до нее, и однажды плакала, прочтя в газете «Тайме» статью о его лекциях.

Отношения между Джейн и матерью Карлейля всегда были натянутыми. Джейн, против своего обыкновения, редко писала свекрови, и письма ее были довольно сдержанны, как будто она опасалась, что ее юмор, будучи обращенным на Карлейля, не понравится старой пуританке. Переписывая для нее письмо, присланное Карлейлю молодой квакершей, она не могла не добавить от себя: «Для квакерши это довольно смело, не правда ли? Представьте только, как она говорит все эти комплименты из-под жестко накрахмаленного чепчика и какой-нибудь старомодной шляпки! Хотела бы я знать, сколько ей лет; замужем ли она, или была когда-нибудь, или надеется выйти замуж? Как вам кажется?» Старая Маргарет Карлейль вполне могла усмотреть в этих словах неуважение к ее сыну или к религии.

Некий мануфактурщик из Лидса подарил Карлейлю лошадь, и это скрасило для него жизнь в городе. Верхом на этой лошади Карлейль почти ежедневно объезжал предместья города, радуясь местности – «зеленой, плодородной, совершенно подчиненной человеку». Однако не тронутая человеком природа радовала его гораздо больше, и он просто блаженствовал во время своих ежегодных поездок в Шотландию, которые он предпринимал неизменно один. Закончив работу над «Французской революцией», он отправился в Скотсбриг, а Джейн уехала погостить у Эдварда Стерлинга и его жены в Большом Малверне. Их переписка во время этой разлуки довольно типична: Карлейля тянет домой из Скотсбрига, он чувствует, что долго здесь не задержится. Его брат Алек собирается открыть в Эклфекане лавку; Карлейль считает это пустой затеей. Он надеется, что Джейн хорошо в Малверне. Джейн, однако, уже уехала из Малверна в Клифтон, но и там ей не нравится. Каждое утро она встает с головной болью, ночи проходят ужасно. Природа здесь великолепна, но «человек обошелся с ней, как критики обходятся с

гениальными произведениями», поэтому и природа ее не радует. Напрасно старина Стерлинг подходит то и дело к двери, за которой она лежит в полном изнеможении, и спрашивает, верит ли она, что ему ее очень жаль: она только может крикнуть ему: «Да, да!» Она часа два или три проплакала над письмом Карлейля. Ей хотелось целовать, утешать его, хотя она скорее должна сердиться на него. Ей хочется домой: «Милый, нам несомненно будет лучше дома – нам обоим, правда?»

Когда путешествия и визиты приносят столько душевных и физических мук, лучше оставаться дома. Но и дома им недолго было хорошо. И Карлейль и Джейн считали, что после нескольких сезонов в Лондоне им просто необходимо отдыхать время от времени и от него, и друг от друга. На расстоянии нескольких сотен миль их любовь становилась безоблачной, а взаимопонимание абсолютным. Но оба они были неспособны подолгу выносить общество другого человека, не испытывая раздражения. В 1838 году он довольно долго гостил в Скотсбриге, где ежедневно купался в море, иногда даже перед завтраком, и прекрасно себя чувствовал. Джейн в это же время провела несколько недель без единой головной боли. На следующий год они вдвоем отправились навестить миссис Уэлш в Темплэнде, а в апреле 1841 года Карлейль нанес первый из своих многочисленных визитов к Монктому Милнзу во Фристон, откуда поехал дальше к матери. Следующая зима была для обоих особенно беспокойной. Карлейль, который всегда страдал от чувства вины, когда не работал, а когда работал, то от недовольства своей работой, все же больше всего мучился тогда, когда новый замысел только вынашивался в его голове. В ту зиму он прочитал огромное количество книг о Кромвеле, причем и книги, и сам Кромвель показались ему необыкновенно скучными; он беспрестанно жаловался, к тому же простудился вскоре, а в конце концов еще получил повестку явиться присяжным в суд. От всего этого обстановка на Чейн Роу была очень тяжелой.

Просидев два дня в суде на деле, которое затем вдобавок было отложено, он твердо заявил, что больше сюда не придет: «Вы можете наложить на меня штраф, можете казнить меня, но на скамью присяжных я больше не сяду». Желая уберечь его от лишних беспокойств, Джейн сожгла следующую повестку, не показывая Карлейлю. Она сама написала ответ, заявив, что человек, находящийся «в таком безумном состоянии, не может ясно представить себе обстоятельств дела», закончила же следующими словами: если он пойдет в суд, «то только проклиная в сердце всю систему британского суда...».

Весной Карлейль провел несколько дней на острове Уайт с Джоном, на пасху ездил к Милнзам, а от них в Скотсбриг. Джейн, наслаждаясь полным одиночеством, целыми днями лежала на диване и читала – или не читала – популярные романы. Карлейль вернулся в Лондон ненадолго: даже увещеваниями, что всякий смертный должен знать свой долг и исполнять его, он не мог заставить себя сесть за книгу о Кромвелле. Он поехал назад в Скотсбриг, снял домик на берегу моря неподалеку от Аннана, куда летом к нему приехала Джейн, привезя с собой служанку, которая готовила для них. По дороге из Лондона Джейн день-два пробыла в Ливерпуле, Карлейль же встретил ее в Аннана, и они вдвоем поехали к миссис Уэлш в Темплэнд. Но оказалось, что в Темплэнде гостят родственники из Ливерпуля, и Карлейлям пришлось спать не только в одной комнате, но и в одной постели. В три часа ночи, ранним июльским рассветом, Карлейль, так и не заснув, вскочил, оделся, запряг лошадь в коляску и отправился в Дамфрис досыпать остаток ночи. Оттуда он прислал Джейн извиняющееся письмо, прося ее «объяснить мой внезапный отъезд твоей матери и нашим милым друзьям». В таких случаях его начинали одолевать мрачные мысли о браке и жизни вообще, и в записке он признавался, что «целый день только и делал, что плохо думал о моей бедной девочке».

При таких несчастливых обстоятельствах началось их лето под Аннаном. Карлейль купался ежедневно, ездил верхом, но никого из многочисленных друзей, живших в той округе, не навещал. Он был зачарован пустынным пейзажем, нескончаемым шумом волн, грандиозной картиной атлантического прибоя. Он читал статьи Эмерсона и обнаруживал в них правдивость тона, голос человеческой души. Он полагал, что Эмерсон может стать для Америки своего рода провозвестником Новой Эры. Он бродил и размышлял. Такая жизнь, думал он, непременно должна после принести свои плоды, и он, кажется, не спешил собрать урожай.

Джейн не скрывала, что ей здесь не нравится. «Еще месяц такой жизни – и я или сойду с ума, или начну пить», – писала она кухне Элен Уэлш. Ей было скучно, ее кусали блохи, и она с трудом успокаивалась после «невообразимых ужасов» жизни в этом идеальном домике на берегу моря. Ей казалось, что и для Карлейля лето не прошло бесследно, так как он несколько образумился: уже не рвался уехать из Челси, а, напротив, стал откладывать деньги на новые ковры. Он был разочарован. В его дневнике появилась такая запись: «Вся эта затея – сплошные мучения, унижительные, ужасные; потрачено на все, кажется, 70 фунтов. В следующий раз не будем так спешить к простой жизни». Мог ли он теперь приступить к работе над Кромвеллем? Он начал писать, но уничтожил все. «Мои мысли свалены в

кучу – невнятные, сырые, неперебродившие и бездонные, как огромное страшное болото». Его мысли о жизни, о своем месте в ней были в полном беспорядке. «Что же такое жизнь, как не делание смысла из бессмыслицы?»

*

Тому, кто пытается описывать жизнь людей, столь глубоко чувствующих, столь откровенно выражающих свои мысли и муки, трудно не допустить искажения. Поэтому и читатель должен, вслед за автором, более тщательно проверять и взвешивать факты, он должен так же, как делали это супруги, видеть комичное в их обоюдном раздражении, он должен вместе с Джейн понимать, что ее муж, будучи невнимательным в мелочах, никогда не забывал о главном, а вместе с Карлейлем – помнить о стоической любви, которая скрывалась за сарказмом его жены. В поздние годы жизнь получит более темную окраску, сарказм из шутливого станет поистине ранящим; но пока их размолвки все еще можно воспринимать как шутку, а не как трагедию. Говоря об этой несчастливой поре, не следует, однако, забывать о трогательном поведении Карлейля после смерти миссис Уэлш и о появлении на Чейн Роу Джеральдины Джусбери.

В феврале 1842 года письмо из Темпланда сообщило, что с миссис Уэлш случился удар. Джейн немедленно отправилась поездом к своим кузинам в Ливерпуль, но по приезде туда узнала, что ее мать скончалась. Джейн слегла, и все дела по продаже имения пришлось вести Карлейлю. В течение двух месяцев он жил в Темпланде, в доме, полном воспоминаний, вел переговоры с агентами по продаже и другими людьми и все это время писал письма Джейн, стараясь поддержать ее. Карлейль хотел оставить дом и сад и сдать в аренду землю, но Джейн настаивала на продаже всего имения. Оно было оценено и продано, а затем Карлейль занялся распродажей имущества. В день распродажи он оставил все дела на брата и отправился на могилу своей тещи за двадцать миль, а по возвращении с болью наблюдал, как развозят мебель.

По всей видимости, он ежедневно писал Джейн, и ему удалось частично развеять ее горе. Выйдя замуж, Джейн уже не могла подолгу выносить общество своей матери, теперь она винила себя с пылкостью, свойственной людям той эпохи. Карлейль считал подобные изъятия скорби поверхностной сентиментальностью, и мы легко ощущаем то усилие, с которым он говорил, убеждая ее заняться чем-нибудь: «Сколько

раз я нарочно спорил с тобой обо всем этом! Я постараюсь больше никогда этого не делать». Джейн оценила доброту друзей и великое терпение мужа; но по-прежнему она была погружена в меланхолию, от которой ее не могли спасти усилия Маццини, уверявшего, что ее мать не умерла, а «все знает, сильнее любит, наблюдает и ждет, и охраняет свое дитя, чтобы оградить его и придать ему сил». То, что Джейн не обратила никакого внимания на слова Маццини, проливает свет на ее религиозные чувства, если только здесь не влияние ее мужа.

Однажды, в 1840 году, Карлейль получил письмо от молодой женщины, двадцати с небольшим лет, по имени Джеральдина Эндзор Джусбери. Она жила в то время в Манчестере, где вела хозяйство своего брата. Именно таким молодым людям, которые, подобно Джеральдине Джусбери, сомневались в христианстве и искали объяснения миру, особенно нравились идеи Карлейля: первое же сочинение Карлейля, прочитанное ею, ошеломило ее. Она разом освободилась и от христианской веры, и от романтического восторга перед Шелли, взамен обретя, как ей казалось, понимание суровой красоты мира. После непродолжительной переписки она приехала с коротким визитом на Чейн Роу, где произвела благоприятное впечатление. «Одна из самых интересных молодых женщин, которых я видел за последние несколько лет, – писал Карлейль. – Ясный, тонкий ум и мужество в хрупкой, эльфоподобной девушке». Она, по его словам, «отчаянно искала какого-то Рая, который можно было бы завоевать», но находилась в настоящее время под зловещим влиянием Жорж Санд.

Джеральдина Джусбери представляла собой особу маленького роста, хрупкую, с копной рыжеватых волос и лицом, единственным украшением которого был большой чувственный рот и внимательный взгляд близоруких светло-карих глаз. Страстность была главной чертой ее романтической природы. В нескольких истерических, но не вовсе лишенных таланта и интереса романах, написанных ею, раскрывалась ее глубокая потребность быть любимой – настолько сильная, что для того времени казалась не совсем приличной. Она была умна, порывиста, бескорыстна и безрассудна. Она влюблялась почти во всякого мужчину, который был с ней хотя бы просто вежлив. Влюбилась она и в Джейн Уэлш Карлейль.

Между нею и Джейн шла очень оживленная переписка все время, с первой встречи и до того момента, когда смерть оборвала ее. Письма эти по обоюдному торжественному соглашению подлежали сожжению. Джеральдина честно сдержала слово, уничтожив все письма Джейн во время своей предсмертной болезни; Джейн, однако, старавшаяся, как и

Карлейль, сохранять все письма, не сделала этого. В этой половинчатой картине их отношений ясно видно мужское начало в характере Джейн, которое не получало выражения в ее жизни с Карлейлем. Джеральдина не просила ничего, кроме возможности обожать: через несколько месяцев после их знакомства она уже писала, что относится к Джейн так же, как католики относятся к своим святым, что она любит ее и старается подражать ей. «Я нашла тебя и теперь удивляюсь, как я могла раньше без тебя жить, – писала она. – Я не чувствую в тебе женщины».

А что чувствовала в это время Джейн? Всегда приятно быть предметом поклонения, особенно если тебе приходится все время видеть своего мужа вознесенным на пьедестал. В то же время Джейн была слишком умна, слишком остроумна и слишком любила здравый смысл, чтобы не заметить нелепости всей этой истории. Джеральдину она искренне любила, находила ее занимательной, даже восхищалась ею иногда, но в то же время девушка порядком действовала ей на нервы. Легко поэтому вообразить ее удивление, когда Карлейль однажды предложил ей позвать Джеральдину пожить с ними. Под ее изумленным взглядом он со все большей горячностью доказывал здравость своей идеи. Но не будет ли это ужасно утомительно, спросила Джейн. В ответ Карлейль выразил свое возмущение: Джейн не хочет доставить Джеральдине небольшое удовольствие, а ей будет, несомненно, приятно, если ее пригласят пожить на Чейн Роу. Этого было достаточно, чтобы Джейн полночи не могла заснуть. В длинном письме к своей любимой младшей кузине Дженни Уэлш она с большим сомнением говорила о радостях предстоящего визита Джеральдины. «Несмотря на то, что я не ревную своего мужа (пожалуйста, прочти это наедине и сожги письмо), несмотря на то, что он не только привык предпочитать меня всем другим женщинам (а привычки в нем намного сильнее страстей), но к тому же равнодушен ко всем женщинам как к женщинам, и это вполне защищает от необходимости ревновать, – все же молодые женщины вроде Джеральдины, в которых есть, при всех их достоинствах, врожденный вкус к интригам, представляют опасность для супружеской жизни». Поразмыслив, Джейн все же решила «некоторым образом» пригласить Джеральдину пожить с ними «две-три недели».

Получив такое неопределенное приглашение, Джеральдина нанесла им свой визит, обернувшийся полной катастрофой. Во-первых, она пыталась очаровать Маццини, Эразма Дарвина и доктора Джона, которые ее панически боялись. По воскресеньям она спускалась в наряде «с голой шеей – в черном атласном платье – или в цветном шелке! – и все безрезультатно, уверяю тебя!». Она вывела из себя Карлейля тем, что

растянулась у его ног на коврике и заснула там. Его мнение о девушке стремительно менялось. «Эта девица, – говорил он, – круглая дура; ее счастье, что она так некрасива». Вскоре после ее приезда Карлейль перестал спускаться даже по вечерам и просиживал у себя наверху целые дни. Джейн все резче отвечала на ее лесть и ласку. Джеральдине приходилось туго: по утрам ей нечего было делать, кроме как писать письма, а по вечерам она спала. Не может же ей нравиться такая жизнь, думала Джейн. Должна же она наконец уехать? Но когда в конце третьей недели Джеральдина получила от друзей приглашение погостить у них в Сент-Джонс Вуде, она попросту ответила, что предпочитает остаться здесь, в Чейн Роу, пока ее не попросят удалиться. Попросить вряд ли можно было, хотя ее присутствие с каждым днем было все труднее выносить: даже ее сон по вечерам в конце концов начал причинять неудобства. По прошествии пяти недель Джеральдина наконец собралась уезжать, обливаясь слезами. «С нашей стороны прощание прошло без слез, при душевном спокойствии, не нарушаемом даже ее посягательством на сочувствие». В первый вечер после ее отъезда Карлейль сказал Джейн: «Что за блаженство сидеть спокойно, без того, чтобы эта ужасная женщина глазела на меня».

Таким образом, Джеральдина уехала, как можно думать, навсегда. В течение нескольких месяцев, однако, все было прощено, если и не забыто, и переписка возобновилась с прежней аккуратностью. Поссориться с Джеральдиной оказалось невозможным. Кто еще, кроме нее, вздумал бы тереть ноги своей подруге, едва войдя к ней в дом («Я уверена, что никто как следует не потер тебе ноги с тех пор, как я это делала год назад»). Кто еще писал гениальные романы, «которые даже наиболее раскрепощенные души из нашего числа считают „слишком откровенными“? Кто еще мог бы „предложить себя на бумаге“ мужчине, который написал письмо, ругая непристойность ее романов? Кто еще смог бы, наконец, улизнуть от этого обещания, завязав роман с французом из Египта, страстным сенсимонистом? На Джеральдину нельзя было долго сердиться: одно время Джейн даже думала выдать ее замуж за доктора Джона. В какой-то момент казалось, что план удастся, но Джеральдина слишком уж далеко зашла в своих капризах. Она требовала, чтобы ее водили в театр и на другие дорогие развлечения; доктору Джону это скоро разонравилось. „Его бескровное чувство не выдержало постоянных нападков на его кошелек“, – писала Джейн.

Джеральдина, чьи поступки часто приводили в замешательство других, и сама могла испытать шок от чужого поступка. Кажется, писала

Джейн своей кузине Дженни, что она «ужасно ревнует, – нет, даже шокирована» частыми визитами Карлейля в дом леди Гарриет Беринг. А что миссис Карлейль? «Что до меня, то я исключительно устойчива к ревности, и скорее рада, что он нашел по крайней мере один дом, в который ходит с удовольствием».

Taken: , 1

Глава тринадцатая. Новая аристократия

Меня водили в оперу... вместе с леди Беринг – это был мой дебют в высшем обществе, очень утомительное удовольствие, от которого до сих пор не по себе и болит голова. Карлейль тоже был в опере – боже правый, ездил в парке верхом, когда там ездят все сливки общества, потом вернулся и стал одеваться в оперу!!! Никто не знает заранее, на что он способен – или, вернее, на что способна такая вот леди Гарриет!!!

*Джейн Уэли Карлейль в письме своему дяде,
Джону Уэлишу, 28 июня 1845*

В начале марта 1839 года Карлейль побывал на одном званом обеде в Бат Хаусе на Пиккадилли, который давал лорд Ашбертон вместе со своей невесткой, леди Гарриет Беринг. Леди Беринг принадлежала к наиболее образованному светскому кругу; будучи на шесть лет моложе Джейн Карлейль, она пользовалась прочной репутацией хозяйки модного салона. Внешне доброжелатель сравнил бы ее с величественной статуей, злопыхатель назвал бы почтенной матроной, но огромная властность ее характера была очевидна для всех.

Она держалась величаво по праву рождения. Дочь шестого графа Сэндвича, она гордилась своей родословной и с презрением относилась к разбогатевшим выскочкам. В юности она была любознательна, дерзка и даже в какой-то степени свободна от предрассудков. Выйдя замуж за робкого, мягкого, очень богатого Бингама Беринга, она свысока смотрела на его родню. Значило ли это, что леди Беринг восставала против правил общества? Вовсе нет: ею руководило лишь раздражение сильной и одаренной женщины против сковывающих ее социальных предрассудков. Когда она заявила, что одобряет полигамию и этим повергла в ужас друзей, она всего лишь хотела сказать, что ради свободы предпочла бы уступить свое место другой женщине. Если она и роптала на светские условности, которым в общем-то строго подчинялась, то лишь Потому, что они мешали ей в данный момент поступать по своему желанию. Она была умна и ценила ум в других, но радикальной ее никак нельзя было назвать. Она как будто сознавала, что оказывает огромную любезность всем этим

знаменитостям, которых собрала вокруг себя и которых удостоила своего внимания: львы могли рычать, но не слишком громко. Одного из этих львов ей представил Монктон Милнз, а горячо рекомендовал Буллер: это был Карлейль. На том обеде леди Гарриет в течение часа беседовала с ним. Карлейль был потрясен: «Эта женщина, – писал он матери, – умнейшее из существ, живое и остроумное, внешне она не очень красива».

Так произошла первая встреча. Однако ближе они познакомились лишь через три года. Первый шаг сделала леди Беринг: она написала ему, что больна, что ей не позволяют выходить по вечерам и что ни с кем ей так не хотелось бы поговорить, как с Карлейлем. Из милосердия он не должен ей в этом отказать. «Когда красивая, умная и, по общему мнению, очень гордая женщина взывает к милосердию такого простодушного человека, как Карлейль, можно не сомневаться, что ее призыв будет услышан», – писала Джейн. Итак, Карлейль отправился на Пиккадилли, в большой, некрасивый дом, выкрашенный желтой краской, в котором жили Беринги. Если б Джейн могла знать, как часто Карлейль будет приходить сюда, она не писала бы с такой легкостью об «ухаживаниях леди Беринг за моим мужем».

Впервые обе женщины встретились благодаря хлопотам миссис Буллер. Поверх чашки с чаем Джейн внимательно рассмотрела леди Гарриет, и та ей в общем понравилась. Некоторую резкость она отметила, но не нашла ни той развязности, ни высокомерия, о которых столько слышала. «Она несомненно очень умна – и это самая остроумная женщина, которую я только встречала; но с аристократическими предрассудками, – я даже удивляюсь, что Карлейлю это, кажется, совсем не претит в ней. Одним словом, мне она показалась милым ребенком, баловнем судьбы, которому нужна время от времени небольшая порка, и тогда получится вполне превосходная женщина». Что, интересно, думала леди Гарриет о Джейн?

Что-то определенно думала, судя по «странным взглядам», какие она время от времени на нее бросала. Можно предположить, что Джейн ее ничем не поразила. В своем домашнем мирке Джейн считалась очень остроумной женщиной; на Чейн Роу, в обществе эмигрантов, американцев и молодых поклонников, она в совершенстве разыгрывала роль светской львицы даже затмевая иногда Карлейля. Молча выслушав его очередной монолог, она могла невозмутимо заметить: «Дорогой, твой чай совсем остыл – это удел всех пророков». Такие милые колкости сходили в ее кругу, возле домашнего очага, но теряли всю прелесть или попросту оставались непроизнесенными в разреженном воздухе высшего общества, которым от

рождения привычно дышала леди Гарриет. Здесь блистал более мощный талант леди Гарриет.

Такой же контраст представляли эти две женщины внешне. Леди Гарриет, хоть и не была красавицей, пленяла женской силой и великолепием. Джейн, напротив, утратила прелесть молодости и с годами выглядела все более маленькой и хрупкой. На портретах, выполненных ссыльным итальянцем Гамбреллой в 1843 году и Лоуренсом в 1849 году, мы видим все более заостряющиеся черты, морщинки; лицо поблекло, и только горящий взгляд темных глаз, полный лукавства, иронии, нежности, грусти, напоминает цветущую молодую женщину, которая когда-то выходила замуж за Карлейля. В соперничестве с леди Гарриет она была бы вынуждена занять оборонительную позицию, признавая в более молодой противнице преимущество ясной, естественной уверенности в себе.

Однако открытого соперничества не было. Нет никакого основания полагать, что Джейн уже с самого начала была недовольна предпочтением, которое Карлейль оказывал обществу леди Гарриет. А он писал леди Гарриет:

«В воскресенье, моя благодатная, пусть будет так! Темный человек вновь увидит дочь солнца, ненадолго осветится ее лучами». Джейн как будто забавляла та покорность, с которой ее муж принимал все приказания леди Гарриет, которая, по ее мнению, была «ловкой кокеткой». Джон Милль, который также явился к леди Гарриет с визитом, был, «по всей видимости, совершенно влюблен в нее»; разговаривая с Маццини, она хвалила Жорж Санд, а когда их беседу хотели прервать, то она, по словам самого Маццини, «нетерпеливо замотала головой – жест, как бы ото сказать? – слишком откровенный для женщины, особенно здесь у вас в Англии».

Обаяние леди Гарриет подействовало и на Джейн; она называла ее самой умной, занимательной и обходительной женщиной, которую она когда-либо знала, и с сожалением добавляла: «Я полюбила бы ее всей душой, если б это не было ей так безразлично». Леди Гарриет всегда была с Джейн любезна и даже дружелюбна, но, видимо, не нуждалась в ее привязанности. Джейн в ее присутствии часто, особенно поначалу, чувствовала себя провинциалкой. Возволнованность и тревога звучат в ее рассказе о четырех днях, проведенных ею на вилле Эддискомб в гостях у Берингов в то время, как Карлейль ездил в Шотландию. Ей, разумеется, не спалось: «За все три ночи, что я провела в Эддискомбе, мне удалось заснуть только на час сорок минут, судя по моим часам». Дом был полон блестящих людей, неизменно и невыносимо остроумных, один лишь лорд Ашбертон

вел себя естественно, и только с ним Джейн могла разговаривать. Джейн это обстоятельство, разумеется, не радовало, но в то же время она признавала, что леди Беринг была женщиной большого ума, безукоризненного воспитания, благородных манер и вовсе не была высокомерной. Леди Гарриет настояла на том, чтобы Джейн согласилась вместе с Карлейлем провести целую зиму в Альверстоке, где у Берингов был дом на берегу моря, Бей Хаус. Откуда же было у Джейн это непобедимое ощущение, что «она не любит меня и не полюбит никогда»?

Карлейль у себя в Скотсбриге с тревогой узнавал о столь грандиозных планах. Он написал укоризненное письмо леди Гарриет и довольно резкое – Джейн, на которое получил столь же резкий ответ: «Обещала ли я провести зиму у леди Гарриет! Когда ты видел, чтобы я делала что-либо столь необдуманное! Это она сказала, будто я раньше ей обещала, вот и все». В конце концов Карлейли поехали на три недели, а пробыли полтора месяца. Они не были очень довольны этим визитом, но и не жалели о нем. Жизнь круга, главой которого была леди Гарриет, состояла в основном из праздного ничегонеделания, достижению которого служили все средства, доступные викторианской эпохе. Джейн, привыкшей считать, что для дома достаточно одной служанки, странно было видеть эту жизнь. Тут были многочисленные горничные, бесчисленные лакеи, бесконечное количество съестных припасов. Единственной обязанностью гостей было вести блестящую беседу. Притом не серьезную беседу, как понимали ее Карлейли, но легкий, непринужденный, необязательный разговор, свободно скользящий по поверхности жизни; болтовня высшего света, который не трогают громоподобные речи Карлейля о скором бедствии; света – любителя до умных теорий, но, в сущности, равнодушного к ним, довольного собой и своими привычками. Остроумная леди Гарриет вовсе не была синим чулком. «Из моих друзей некоторые пишут, остальные же вообще не открывают книг, никто из них ничего не читает», – писала она с уверенностью человека, знающего, что его не поймут буквально.

В такой атмосфере в Джейн сильнее проявлялся ее пуританский практицизм. Она чувствовала себя неуютно, беспокойно и в конце концов скатилась на роль заурядной маленькой жены знаменитого шотландца. За столом леди Гарриет острили с размахом, под стать собравшемуся здесь обществу, и юмор Джейн выглядел здесь мелким, домашним. Ей этот визит не доставил удовольствия. Дом, конечно, великолепен, сама леди Гарриет прекрасная женщина и вовсе не кокетка, но вся эта мишура и праздность, весь тот вздор, который здесь болтали! «С этим ничто не сравнится по великолепию – и по бессмысленности!» Она с радостью возвратилась к

себе в Челси.

А что думал обо всем этом Карлейль? Казалось бы, он, певец труда, враг аристократических бездельников, никак не подходил к этой компании. Не сравнивал ли он этот разгул праздности и чревоугодия с жалким существованием бедного парода? Как ни странно, не сравнивал. Он, разумеется, роптал на вынужденное безделье, на слишком изобильную еду, на бесплодные разговоры. «Такая судьба на всю жизнь – все равно что смерть. Между тем пожить так сезон приятно и, может быть, небесполезное. Сказано очень мягко – должно быть, он надеялся здесь, в обществе леди Гарриет, найти зародыш той новой аристократии, спасительницы народа, о которой он теперь часто мечтал. Эти люди праздны, но умны. Нельзя ли убедить их пойти на самопожертвование во имя спасения? Он положительно отказывался верить, что леди Гарриет устраивала та жизнь, которую она вела. Он все время придумывал для нее различные просветительские и научные задачи, все время пытался „вырвать ее из призрачной жизни“, которая одна и составляла все ее существование. В его отношении к леди Гарриет есть даже некоторое высокомерие. Она казалась ему идеальной представительницей той Новой Аристократии, которую он искал, вернее, идеальной в том случае, если убедить ее осознать свой долг. Она была, по его словам, дочерью героического племени, родившейся в неудачное время. Даже после ее смерти он писал, и эта фраза невольно прозвучала у него комично: „Благородно и отважно она переносила свое безделье“.

*

«Когда же, – писал Карлейль Миллю в 1840 году, – ты, наконец, напишешь о Новой Аристократии, которую нам следует искать? Вот в чем, по-моему, состоит вопрос. Всякая Демократия – лишь временная подготовка к ней». Милль, однако, видел вопрос совсем не в этом, и их передиска, поначалу теплая и дружеская, постепенно прекратилась. У них давно уже оставалось мало общих убеждений, но решающую роль в их разрыве сыграла та дама, которую Карлейль называл миссис Платоникой Тейлор. И Карлейль и Джейн любили позлословить, и Милль, который порвал уже со своей семьей, так как она плохо отзывалась о миссис Тейлор, кажется, не пощадил и своей дружбы с Карлейлем. Миссис Тейлор (которая к тому же обиделась на Карлейля за то, что тот отказался быть опекуном ее детей) позднее называла Карлейлей «нравственно слабыми, узко

мыслящими, робкими, бесконечно высокомерными и злопыхательными» людьми. Со своей стороны, и Джейн называла миссис Тейлор, ставшую уже женой Милля, удивительно напыщенной и пустой особой.

Госпожа Тейлор, несомненно, считала своим долгом разлучить Милля с этим человеком, который высказывал столь странные идеи о какой-то Новой Аристократии. Большинство друзей-радикалов с тревогой наблюдали в это время за направлением, которое принимали его мысли. Проблема положения в Англии продолжала занимать его и после того, как был написан «Чартизм». Более того, она с новой силой встала перед Карлейлем, когда он в сентябре 1842 поехал в Саффолк, где Джейн в это время отдыхала вместе с Буллерами у их сына Реджинальда, сельского священника. В Саффолке Карлейль собирал материал о Кромвеле для книги, которую ему предстояло написать; видел он также рабочий дом, где работоспособные мужчины сидели без дела. Несколько раз он ездил в монастырь св. Эдмунда, осматривал руины аббатства.

Из этих впечатлений выросла книга, написанная в течение четырех или пяти месяцев, давшаяся автору без больших мук, – «Прошлое и настоящее». Посещение рабочего дома описывается в первой главе книги, с иронией повествующей о судьбе тех, кто вынужден жить в рабочих домах – «носящих это милое название потому, что работа там невозможна». С одной стороны, эта книга – протест «угнетенных Бедных против праздных Богатых». Что может быть справедливей, чем требование заработной платы за честный труд? Он приветствовал недавнее выступление рабочих Манчестера, с негодованием развенчивал викторианскую ложь о перепроизводстве (к которой, впрочем, прибегали еще совсем недавно). «Слишком много рубашек? Вот так новость для нашей вечной Земли, где девятьсот миллионов ходит раздетыми... Два миллиона раздетых сидят как истуканы в этих Бастилиях – рабочих домах, еще пять миллионов (по некоторым сведениям) голодают, как Уголино, а для спасения положения, говорите вы – так ведь вы говорите? – „Повысьте нам ренты!“ – слишком уж весело вы разговариваете с этими бедными ткачами рубашек, этими перепроизводителями!»

Такие чувства должны были встретить отклик у всех современных радикалов, но вот предложенный им выход поверг многих в недоумение. Помочь Англии в ее бедственном положении мог только... Герой. Найти подлинного Героя – вот «конечная сущность и высшая практическая цель всякого поклонения», вот «душа всякой общественной активности людей», вот «благословенная практическая цель всего мира», причем сюда же могут быть включены и благословенный парламент, и «благословенная

Аристократия Мудрейших». Доказывая свою точку зрения, Карлейль обращался к прошлому и приводил свидетельства хроники, написанной одним из монахов монастыря св. Эдмунда по имени Джослин из Блейклонда, которую он несколько модернизировал. Его мастерство в передаче монашеской жизни и обычаев двенадцатого века поистине удивительно; и на фоне этой картины встает фигура ее героя, аббата Самсона, который своим мудрым правлением спас монастырь из бедственного положения. Вывод очевиден и формулируется в последней части книги. Современному миру следует найти своего героя. Ему должен подчиниться рабочий, ему же подчинится аристократия. Если же последняя не сделает этого, то «в буре ясно слышу голос Бога». В обновленном обществе, однако, Новая Аристократия займет главенствующее положение.

Таково «Прошлое и настоящее» – книга необычная, внушительная и небезобидная. Сравнение двух рукописей этой книги, недавно проведенное одним американским исследователем, ясно показывает, как Карлейль намеренно сгущал в ней краски и добавлял риторики, как вставлял целые проповеди и менял знаки препинания, чтобы усилить драматический эффект. Удивительно, что он сам, будучи в такой степени художником, в то же время выказывал неверие в искусство. Стиль – это человек, пусть так. Но стиль всегда и притворство в какой-то степени, и маска. Все изменения, внесенные Карлейлем, были направлены на то, чтобы сделать язык более конкретным, богатым и необычным: он заменял слова с общим значением словами с более конкретным, использовал определения для усиления или выделения, его рукопись испещрена поправками, всегда вводящими новый, выразительный оборот. Этому стремлению внести более напряженную ноту в сарказм или в похвалу неизменно служит употребление редких архаизмов, непривычных оборотов речи, часто вытесняющих правильную английскую речь. Разве не настораживает своей фальшью эта нарочитость, направленная на то, чтобы создать впечатление безудержности, естественного порыва? Не пугает ли этот парадокс: гневная речь, искусно сконструированная в тиши кабинета?

«Прошлое и настоящее» не встретило теплого приема. Радикалы испугались ее страстного тона, экономистам не понравился сарказм, верхи общества были разгневаны критикой современного положения. Однако, как и другие писания Карлейля, эта книга завоевала ему последователей из числа университетской молодежи, искавшей новых путей в жизни. Были и другие последователи, вспомним, что Тиндаль прочитал книгу в Престоне и разделил взгляды Карлейля. Будь книга попроще, она, несомненно, завоевала бы ему тысячи единомышленников в рабочем классе. В этом

смысле многозначительны слова Монктона Милнза: «Это была бы крайне опасная книга, если б она была написана на просторечии и была доступна массам». Теперь путь для Кромвеля был открыт.

Книга Карлейля «Письма и речи Оливера Кромвеля с толкованием», вышедшая в 1845 году, представляла собой поистине выдающееся достижение. В то время, когда Карлейль работал над ней, господствовало и никем не оспаривалось мнение о Кромвеле, выраженное вигом Джоном Форстером: «жил, как лицемер, и умер, как предатель». Желая опровергнуть эту точку зрения, Карлейль строит свою книгу в форме автобиографии: продираясь сквозь массу неточностей и предвзятых мнений о Протекторе, он находит оригинальные письма Кромвеля и с их помощью по-новому рассказывает его историю. Книга, таким образом, состоит из собственных писем Кромвеля, его речей, комментариев и пояснений Карлейля, а также из великолепных описаний, таких, например, как эпизод битвы при Нэсби, ради которого он специально ездил осматривать место исторической битвы. Естественно, что мы теперь не ощущаем новизны этой книги, но в то время точка зрения, которую принял Карлейль и доказал фактами, казалась ересью. Книга настолько поразила всех как замечательный образец исторического исследования, что Кромвель как диктатор обратил на себя мало внимания. К удивлению и Карлейля и Джейн, «Кромвель» пользовался шумным успехом, несмотря даже на то, что многие, подобно Маргарет Карлейль, прочли в ней только напечатанные крупным шрифтом тексты Кромвеля и вовсе не обратили внимания на авторские комментарии.

Какую тему избрать после Кромвеля? Карлейль думал о Вильгельме Завоевателе. «Хоть на день вернуть бы Вильгельма!» – сказал он в разговоре с Теннисоном, на что тот возразил, что современный мир отличается от Англии Вильгельма или даже Кромвеля – это совсем другая, новая Англия. Но на все это Карлейль отвечал лишь: «Хоть на день вернуть Вильгельма!» Тогда поэт напомнил Карлейлю о жестокостях, совершенных Вильгельмом, па что тот ответил, что они, несомненно, были ужасны, но «он чувствовал, что имеет на них право – и в общем-то он его имел!». Раздосадованный Теннисон воскликнул, что в таком случае грядущему герою лучше не попадаться ему на пути, не то он получит нож в бок. Тогда ли, по другому ли случаю Карлейль рассмеялся и сказал: «Да уж, ты у нас дикий человек, Альфред!»

Однако посреди бедствий, постигших Англию, Карлейль искал скорее современного ему героя, нежели древнего. В Палате лордов он слушал выступление Веллингтона, победителя Ватерлоо, и отметил его

«прекрасный орлиный нос, под стать всему его лицу», похвалив его простую по-военному речь. Между тем этому же человеку он не так много лет назад сулил войну, если у него хватит глупости править при помощи своих солдатских приемов. Впрочем, он и теперь, даже при его орлином профиле, уже не годился в спасители Англии, и Карлейль искал другого. Когда Роберт Пиль, тогдашний премьер-министр, отменил хлебные законы, Карлейль послал ему экземпляр «Кромвеля» и письмо, подписанное: «Ваш признательный соотечественник и покорный слуга». В письме он выражал свое восхищение тем, что «великая правда свершилась в парламенте, самое значительное наше достижение за много лет – трудный, мужественный и необходимый шаг, который должны признать и поддержать все, кто таким образом понимает его». Пиль встречал Карлейля в обществе Монктона Милнза. Он прислал вежливый, ни к чему не обязывающий ответ.

Taken: , 1

Глава четырнадцатая. Поворотный момент

Спасибо вам за книгу 2-жи Малэк, которую я прочла с огромным интересом. Давно не попадалось мне таких романов – одна любовь, больше ничего. Он напоминает о собственных юных грезах любви. Мне он нравится, понравилась и бедная девушка, которая до сих пор верит – или хотя бы «верит, что верит» – во все это. Бог в помощь ей! Она запоем другую песенку, когда еще двадцать лет поживет да напишет романы!

*Джейн Уэли Карлейль – Джону Форстеру,
декабрь 1849*

Медленно, незаметно для нас самих, складывается картина нашей жизни. В испытаниях повседневности страсть превращается в привычку; ум, некогда гибкий, коснеет; смелые идеи таинственным образом становятся собранием предрассудков. Оглядывая жизнь четы Карлейлей, мы можем проследить причины углублявшегося разочарования у Джейн и отчаяния у Карлейля. Мы видим в действии те силы, которые в 1846—1850 годах заложили начало той печали и горечи, которая ждала в старости этих двоих, чьи «шкуры были слишком тонки для этой грубой жизни».

Когда Джейн было около сорока пяти лет, ее хрупкое психическое равновесие пошатнулось. В письмах тех лет все чаще можно прочесть о мучительных бессонных ночах по вине залаявшей собаки или крикнувшего некстати петуха, о касторке, пилюлях, опиуме и морфии, о пяти зернах ртути, принятых по ошибке вместо одного, о нервном раздражении, тошноте и слабости. Было ли ее состояние связано с возрастными изменениями, с неудовлетворительной личной жизнью или имело самостоятельные причины, мы не знаем. Те врачи, которые наблюдали ее, ограничивались тем, что прописывали лекарства. Исключение составлял доктор Джон: он то убеждал ее, что все ее недуги – просто игра воображения, то советовал ей выкуривать для успокоения сигару, но не пуская дыма в нос; а иногда говорил, что ей следует «почаще бывать на людях», а дома оставаться только в случае простуды. Его позиция как врача

полно выразилась в совете, данном по поводу одного лекарства: «Лучше принимай его, а еще лучше, пожалуй, не принимай».

В любом случае, нервное расстройство не отразилось на ее остроумии, да и письма оставались все такими же интересными и живыми. Однако с ней стали случаться нервные припадки. Болезнь усилила и скрытую склонность к безумной ревности. Ревнивое чувство присутствовало и ранее в ее многолетней привязанности к кузине Дженни Уэлш. Из ее отношений с Джеральдиной Джусбери также ясно видно, что она любила пробуждать в ней «звериную ревность», а однажды сама с гневом упрекала Джеральдину за то, что та вздумала при ней кокетничать «с мужчиной». Ревность несколько иного свойства укоренилась в ее сердце и в отношении Карлейля и леди Беринг, которая стала в 1848 году леди Ашбертон.

Разумеется, в точки зрения обычных представлений ее ревность не имела никаких оснований: все, что мы знаем о Карлейле, и немного, что нам известно о леди Гарриет, исключает всякие подозрения в физической близости между ними. Возможно, что физической измены Джейн и не боялась; ее причины к ревности были гораздо сложнее и коренились в той перемене, которая произошла в Карлейле со времени знакомства с леди Гарриет. Она привыкла к его тяжелому характеру, к тому, что он бывал грубоват, к его приступам красноречия, его отношению ко всем светским церемониям как к шутовству, она смирилась с тем, что ей приходилось жить в немодном Челси, вести хозяйство с одной лишь служанкой, в каком-то смысле она даже гордилась этим как символами праведной жизни. Теперь же все эти строгости были забыты: по одному лишь слову леди Гарриет Карлейль летел в Эддискомб, в Бей Хаус, в огромное загородное имение в Гэмпшире, если его приглашала леди Гарриет – часто с женой, но иногда и одного. Он теперь без всякого труда или недовольства вращался в обществе, которое раньше, несомненно, назвал бы титаническим, а с хозяйкой и звездой этого общества он поддерживал регулярную переписку. Джейн говорила об этой перемене с ревнивой иронией: она не могла, да и не хотела видеть в ней сдвиг социальных устремлений ее мужа от радикализма к Новой Аристократии. Она не понимала его глубокой потребности в активных действиях, которая появилась у него так же, как позднее у Диккенса и Рескина. Несомненно, в отношениях Карлейля и Джейн с леди Гарриет и ее кругом был и элемент тщеславия: однако его очень легко переоценить и не заметить при этом стремления Карлейля добиться какого-то практического результата от возможных контактов – через Милнза и Ашбертонов – с ведущими деятелями всех партий (а Карлейль бывал тут иногда очень изобретателен). Маленькое, но

символическое указание на то, чего он надеялся достичь таким образом, можно увидеть в той роли, которую он сыграл в основании Лондонской библиотеки. Во многом именно благодаря содействию Карлейля идея создания библиотеки получила поддержку столь влиятельных и знатных людей, как Милнз, Бульвер, Гладстон, Чарльз Буллер, Джон Форстер. В 1840 году библиотека была открыта. Распространение просвещения – лишь малая доля того, что он надеялся осуществить в плане практических общественных действий. В письме к Томасу Баллантайну, бывшему ткачу, а теперь редактору радикальной газеты в Ланкашире, просившему поддержать его план создания публичных парков, он писал: «Я искренне надеюсь, что вы доведете дело до конца – ради бедных больных детей и их измученных отцов, для которых это будет благоденствием на многие, многие поколения». Он приходил в негодование при мысли о том, сколько можно было бы сделать для бедного люда Англии, если бы только «отважные люди, имеющие сердце и разум», «подвигнулись хоть на самое малое действие». Он все более и более верил, что этих отважных людей можно найти среди знакомых леди Гарриет и что социальные реформы должны опираться на поддержку тех, кто находится на самом вершине общества, а не внизу. Он к тому же все больше раздражался на тех, кого заботило положение угнетенных в других странах. «Четырем сушеным старообразным квакершам», которые пришли к нему за поддержкой отмены рабства среди негров в Америке, он ответил, что его «гораздо больше заботят зеленые и желтые рабы – зеленые от голода – в моей собственной стране». В подобных же обстоятельствах Карлейль сказал однажды Джону Стерлингу, что он решил развеять по ветру всякую терпимость, па что Стерлинг ответил: «Мой дорогой, я не предполагал, что тебе еще есть что развеивать!»

Наблюдения все больше убеждали Карлейля в том, что литературный труд – всего лишь плохая замена действию; после книги о Кромвеле он уже больше ничего не писал. Вместо этого он отмечал ухудшение, как ему казалось, положения вещей повсюду. В письме брату Алеку, который эмигрировал наконец в Канаду с капиталом в 500 фунтов, собранным ому пополам братьями Томасом и Джоном, Карлейль писал о болезни, поразившей картофель и особенно бушевавшей в Ирландии. С состраданием, тревогой и гневом наблюдал он за толпами ирландских рабочих, съехавшихся на строительство новой Каледонской железной дороги.

Как всегда, от праздности Карлейль впал в уныние. Полуосознанно он искал избавления от колкостей жены в обществе леди Гарриет и ее друзей,

где над ним не подшучивали, как дома, а принимали как великого человека. Посетители стали реже приходить на Чейн Роу. Наконец летом 1846 года наступил кризис. Джейн уехала к друзьям в Сифорт вблизи Ливерпуля; Карлейль писал по этому поводу, что «еще никогда мы не расставались таким образом, и все – совершенно без всякой причины». В том, что поводом для ссоры послужила его дружба с леди Гарриет, сомневаться не приходится; что это произошло «безо всякой причины», тоже можно согласиться, но только став на точку зрения самого Карлейля. Очевидно, Джейн просила его прекратить отношения, которые доставляли ей столько мучений, а он отказался выполнить ее просьбу, сочтя ее неразумной.

В такой критической ситуации Джейн, по-видимому, думала даже разойтись с мужем. Она написала несколько писем Маццини, которые не дошли до нас; но сохранились два его ответа, и они ясно показывают, что она просила совета. Маццини, убеждая ее не поддаваться эгоистическим побуждениям, советовал «спокойно, бесстрастно обзрев прошлое, отправить в небытие тех духов и призраков, которых вы сами себе вообразили». От призраков, однако, не так-то легко было отделаться: не помогало и сознание того, что она была для мужа, «несмотря на все химеры и иллюзии... дороже всех земных существ», как он уверял, посылая ей маленький футляр для карт по случаю ее дня рождения. Он каждый год посылал ей подарки с тех пор, как умерла ее мать. На этот раз из-за недоразумения с почтой она решила, что нет ни письма, ни подарка, и начала тревожиться. Неужели он решил больше не писать ей? Может быть, он находится в Эддискомбе и забыл о ней? Или он болен и не может писать? Когда же, всего несколько часов спустя, она получила футляр, то в ее словах звучала нотка правды: «О, мой дорогой! Я не создана для того, чтобы жить в этом мире. Я чувствую себя настолько разбитой после этого пустякового случая, как если бы я пережила холеру или тифозную горячку».

Она знала, что муж любит ее, но ей мало было знать это; через день или два она снова думала о смерти и снова писала ему, прося прекратить знакомство с леди Беринг и ее мужем. Он согласился; он не поедет больше в Эддискомб «ни сегодня, ни завтра, ни даже в течение неопределенного, может быть, бесконечного времени». Однако тут же он сообщал Джейн, что, возможно, присоединится к Берингам на несколько дней, если они осуществят предполагавшуюся поездку по Шотландии. Он «душевно устал от знакомства, принявшего столь грустный характер», и, достигнув Скотсбрига, начал уже надеяться, что плохая погода помешает поездке: однако не прошло и двух дней, как он уже писал леди Беринг, что не почтет за труд пройти пешком двадцать миль или больше, чтобы увидаться с ней,

чуть позже – что записка, присланная ею, была прекрасна «тем, что говорила и о чем умалчивала». По приезде в Скотсбриг он несколько дней не имел писем от Джейн, и по его жалобному протесту видно, что здравый смысл изменил ему так же, как и ей: «Ты не права, моя бедная дорогая Дженни? Ты несправедлива и не следуешь фактам... До самых сокровенных глубин, какие только я могу измерить, мое сердце полно совсем иными чувствами, иными настроениями, нежели те, что заслужили бы „ревность“ с твоей стороны... О, моя Дженни! верная моя Дженни! Моя храбрая маленькая спутница, на какой путь мы вступаем??» Но тем не менее он встретился с Берингами и, несмотря на ужасную погоду, провел с ними несколько дней, в течение которых был подавлен, а леди Гарриет раздражительна. Один лишь Бингам Беринг сохранял неизменным хорошее расположение духа. Возвратясь в Скотсбриг, Карлейль обнаружил письмо от Джейн и узнал, что заминка в переписке произошла лишь потому, что Джейн перепутала адрес.

Из Скотсбрига Карлейль отправился в Ирландию, чтобы самому познакомиться с тамошним положением; Джейн, побывав в Манчестере, где ее с большим тактом и теплотой опекала Джеральдина, вернулась в Челси. Небольшая зарисовка, сделанная американской актрисой Шарлоттой Кушман, встречавшей Джейн в Манчестере, показывает, что расстроенные нервы никак не отразились на ее остроумии: «В воскресенье в час дня пришла миссис Карлейль и пробыла до восьми. Другого такого дня я не припомню! Умна, остроумна, спокойна, хладнокровна, неулыбчива, беспощадна – рассказчица бесподобная: речь ее неподражаема, манера держаться безупречна, сила духа неукротима, это редкое и необычное сочетание я встретила в этой некрасивой, язвительной, непривлекательной – и в то же время незабываемой женщине».

*

В событиях того лета было нечто бесповоротное. Вскоре знакомство Карлейлей с Берингами возобновилось. В октябре они вдвоем навещали Берингов в их имении Грэндж, в начале следующего года ездили в Альверсток; Джейн приняла эти отношения и, насколько нам известно, не предпринимала попыток их изменить. Со своей стороны, Карлейль какое-то время, кажется, собирался прекратить переписку с леди Гарриет, но вместо этого продолжал писать тайком. Его письма к ней полны невнятных самооправданий и самообвинений, перемешанных самым причудливым

образом. То он просит ее писать, «но не мне – и забудь об этом, как будто не получала этого!»; то старается убедить себя в том, что в их дружбе есть нечто божественное, что «переживет все испытания, и лучшее, что есть в ней, навсегда будет нашим общим сокровищем». Борьба завершилась, если рассуждать попросту, победой Карлейля, но, не отдавая себе в этом отчета, он заплатил за нее ужасную цену. Читая письма Карлейля и Джейн, нельзя не восхититься глубоким взаимопониманием и сочувствием, существовавшим между ними; нельзя также не заметить, что с этого момента сочувствие начинает ослабевать. Письма Джейн все еще остроумны и подчас полны прелести, но веселый тон их теперь резковат, а в шутках сквозит жестокое разочарование в природе человеческих побуждений. Карлейль тоже не утратил своего дара юмористического преувеличения, но в том, что он теперь пишет, нет уже былого огня и былой доверительности.

А что третий член этого странного треугольника? Если трудно понять, что восхищало Карлейля в леди Гарриет, то объяснить, чем привлекал ее Карлейль, почти невозможно. Дело в том, что Карлейль был скорее жертвой, чем преследователем: ясно, что любое ослабление энтузиазма с ее стороны мгновенно отразилось бы и на нем. Однако предположить, что леди Гарриет была охотницей за знаменитостями, которой удалось загнать в клетку очередную желанную добычу, значит, найти лишь часть ответа. Их связывала не любовь и не то полное согласие в мыслях, которое существовало между Карлейлем и Джейн. Различие в их положении знаменовало и совершенно различный образ мыслей и чувств. И все же леди Гарриет в своем письме «дорогому старому Пророку Карлейлю» спрашивает: «Имеет ли человек право больше, чем на одного такого друга в жизни?»; ради этой дружбы Карлейль с годами все больше отчуждался от Джейн и проявлял все меньше чуткости к ее страданиям, которые были ничуть не менее реальными оттого, что имели психическую основу. Секрет дружбы между леди Гарриет и Карлейлем может раскрыть только глубокий психологический анализ, для которого мы не располагаем достаточными данными. При таком анализе нужно было бы учесть и тот факт, что личность и активность Бингама Беринга явно затенялись – причем с его полного согласия – успехом и репутацией его жены. И хоть это устраивало леди Гарриет, все же не могло пройти для нее бесследно. Сохранилось воспоминание о том, как однажды она заметила об одном мужчине, что он «обладает всем, что нужно женщине, – силой и жестокостью». Не исключено, что она видела эти черты в личности и сочинениях Карлейля.

Обстановка на Чейн Роу все более обострялась. Карлейль возвратился

из недельной поездки по Ирландии в сопровождении двух «молодых ирландцев», Гэвена Даффи и Джона Митчела, более чем когда-либо убежденный в неизбежности скорой катастрофы. Дома он резко обошелся с Маццини и вместе с Джейн нанес довольно безрадостный визит в Грэндж.

Умер старик Стерлинг: за две недели до смерти, уже с парализованной речью, он велел привезти себя на Чейн Роу, хотя знал, что Джейн нет дома, и делал знаки, как бы желая сказать что-то, показывая на свои губы и на дом, и при этом по его лицу текли слезы. Его сын, Джон Стерлинг, друг Карлейля и Джейн, которому она доверяла свои секреты, умер за год до этого после продолжительной болезни; у жены его второго сына, Энтони, возникла маниакальная идея, что ее муж влюблен в Джейн и разоряет семью, покупая ей подарки. Большинство эмигрантов перестало ходить в этот дом, так как их отталкивала нетерпимость Карлейля и его раздражительность. Впрочем, он мало виделся с гостями, поскольку держался такого распорядка, при котором до трех часов дня проводил у себя наверху, после этого он до пяти гулял и ездил верхом, в пять он садился пить чай, а после чая отправлялся на кухню с другими курильщиками и там курил, пуская дым в дымоход очага. Герцог Саксен-Веймар почтил его официальным визитом, во время которого Джейн, предварительно вытерев везде пыль, сменив цветам воду и удостоверившись, что горничная одета в свое лучшее платье, ушла к миссис Буллер. Когда герцог прибыл, Карлейль как раз «занимался с янки», которого представил ему Эмерсон. Янки хотел было задержаться, но был немедленно выпровожден, и герцог около часа беседовал с Карлейлем. Карлейль после рассказывал Джейн, что герцог был очень хорош собой, с прекрасными голубыми глазами, настоящий аристократ и обладал самой благородной внешностью из всех знакомых Карлейлю немцев. Неужели даже благороднее Платнауэра? – спросила она язвительно. «Нет, разумеется, несокрушимое благородство Платнауэра – со всеми его сюртуками – нигде больше не встретишь», – добродушно ответил Карлейль.

Добродушие было не самой характерной его чертой в то время, хотя он не забыл сделать Джейн подарок к Новому году и купить ей брошь с камеей на день рождения. Он часто обедал в гостях, и его высказывания о добродетели и пороке звучали так, как будто были внушены ему господом. Когда Милнз, который любил поддразнить Карлейля, заметил, что добро и зло – понятия относительные, он получил прямой отпор: «Однако мы знаем, что такое порок; я знаю порочных людей, людей, с которыми я не стал бы жить вместе: людей, которых я при определенных обстоятельствах

убил бы или они убили бы меня». Оригинальные рассуждения молодого человека по имени Скервинг по поводу добра и зла были перечеркнуты словами: «Теперь я вижу, что вы такое – нахальный щенок, адвокатишка из Эдинбурга». На званом завтраке он вступил в жестокий спор с Маколеем о достоинствах сына Кромвеля, Генри; во время поездки в Манчестер затеял с Джоном Брайтом спор о пользе железных дорог и рабства среди негров. Когда он проводил время у Берингов, Милнза или в ином фешенебельном обществе, его все больше одолевало чувство вины за праздность, пустоту и шум, окружавшие его. Гостя у леди Гарриет, он писал Джейн, которая в это время лежала в Челси больная, с невольным комизмом в тоне: «О Господи! Почему я жалуясь тебе, бедной, прикованной сейчас к постели? Не буду жаловаться. Только если бы ты была сильна, я рассказал бы тебе, как я слаб и несчастен».

В этот несчастливый момент, в октябре 1847 года, явился Эмерсон, приехавший в Англию для чтения лекций. Сойдя на берег в Саутгемптоне, он получил восторженное приглашение пожить на Чейн Роу. «Знай же, мой друг, что воистину, пока ты в Англии, твой дом – здесь». Однако, когда Эмерсон приехал туда однажды в 10 часов вечера, Карлейль с глазу на глаз выразился уже не столь пышно: «Вот и мы опять собрались вместе». Они не встречались почти пятнадцать лет, со времени приезда Эмерсона в Крэгенпутток, когда Карлейль нашел, что Эмерсон самый милый человек, какого он когда-либо знал, а Эмерсон причислил беседы Карлейля к трем величайшим чудесам, виденным им в Европе. Годы изменили их обоих. Карлейль уже не собирался выслушивать его отвлеченные рассуждения об идеальной добродетели или о бессмертии души; его вообще не очень интересовали теперь споры, но лишь собственные мысли, которые выливались в блестящие монологи – наполовину комичные, наполовину серьезные, но целиком догматичные. Такой ум вряд ли мог оценить сухую, благородную, безупречную серьезность Эмерсона; да и Эмерсон был уже не тот скромный юноша, постигающий мир, который приезжал в Крэгенпутток. Он и сам пользовался немалой славой, сам привык говорить перед внимающей ему аудиторией, он, наконец, тоже имел репутацию пророка.

За несколько дней, пока Карлейль водил Эмерсона по Лондону, два мудреца имели возможность присмотреться друг к другу, причем отнюдь не к взаимному удовольствию. Эмерсон в своем дневнике отмечал многословные потоки речи Карлейля. «Он снова и снова, неделями, месяцами, повторяет одно и то же». Его «лохматое могущество» презирал искусства, он прерывал каждое предложение коротким смешком и каким-

нибудь словечком, вроде «пустобрех» или «осел», а в ответ на мягкую критику в адрес Кромвеля он напустился на Эмерсона «с яростью». Мудрец из Конкорда заключил, что мудрец из Челси становится невозможен, и подыскал для него выразительное определение: «огромный падающий молот с приспособлением вроде Эоловой арфы».

Это Эмерсон о Карлейле. А что думал Карлейль об Эмерсоне? В первую очередь он жаловался на то же, на что и американец: слишком много слов. «Кажется, этот янки положил себе за правило, что его речь должна звучать все время и прерываться только ради сна: жуткое правило». Сблизиться с ним не было никакой возможности. Некоторая педантичность его манеры не понравилась Карлейлю; да и внешность гостя была ему неприятна. «Тонкое, худое треугольное лицо с заостренными чертами; губ нет совсем, сухой нос крючком; лицо петушиное: такой пороха не выдумает!» После отъезда Эмерсона Карлейль записал в своем дневнике, что от этого американца нечего было ожидать, «кроме дружеского взгляда и вычурной высокопарной вежливости; и он ни минуты не давал мне посидеть молча». Такие встречи всегда возбуждали в нем жалость к себе: «Я не знаю в мире более одинокого человека...»

Но самое живое, а возможно, и самое верное описание Эмерсона во время его визита на Чейн Роу оставила Джейн. Похвалив его вежливость и мягкость и то, как «он подается перед самыми спорными возражениями – мягко, словно перина», она добавляла, что ему не хватало того, «что мойщики шерсти в Йоркшире зовут „натурой“». Он обладал „какой-то теоретической гениальностью“ и был „самым возвышенным человеком, какого я только видела, но это возвышенность голого прута – весь пошел в рост и не успел взять вширь“. Может быть, тогда-то Эмерсон и сказал, рассуждая о конечном торжестве добра над злом, что и в доме терпимости помыслы человека оставались направленными ввысь? Джейн отвечала колкостями, и Эмерсон решил в конце концов, что миссис Карлейль ему очень нравится.

Эмерсон отправился в турне – читать свои лекции; когда он возвратился в Лондон, Карлейли ходили слушать его выступление на тему «Семейная жизнь», о котором Карлейль в присутствии самого лектора сказал, что это «интеллектуальный туман». Артур Хью Клаф, молодой поэт и ученик Карлейля, также был на лекции; он указал на Карлейля одному молодому человеку, которому в этот раз не удалось поговорить с пророком, но он слышал «его громкий, слегка презрительный смех» после окончания лекции. Молодому человеку было в то время тридцать лет, он был, по словам Джеральдины Джусбери, эльфаподобен и странно красив; много

лет спустя в качестве биографа Карлейля он поднял целую литературную бурю своей откровенностью. Имя его было Джеймс Энтони Фруд.
Taken: , 1

Глава пятнадцатая. 1848 год и после

Хвост шевелится сам по себе, голову в песок я заруюсь —

Что – Республика Римская мне, и что я – Республике Рима?

Почему не борюсь я? Во-первых, оружия нет у меня;

Во-вторых, если б было, стрелять из него все равно не умею;

В-третьих, мрамор античных скульптур меня больше сейчас занимает;

А в-четвертых, мне кажется, жизнь сохранить я для родины должен;

Что в-пятых – не помню, но доводов хватит и этих с лихвою.

Итак, пусть погибнут в борьбе. Я же радости тихой предамся.

Я в ряды не вступлю их, но муки восславлю святые.

Артур Хью Клаф. Любовь в дороге.

В первые недели 1848 года Карлейль набросал в своем дневнике идеи нескольких новых книг – все они касались бедственного положения в мире. Одна из них должна была называться «Исход из собачьей норы», то есть из ортодоксального христианства; однако он не решился писать ее, так как она оставила бы огромную брешь в его собственной непрочной вере, разрушив идею официальной религии в тот момент, когда ее нечем было заменить. Еще одна книга предполагалась в виде серии очерков о страданиях Ирландии, другая – как портреты «Века мусорщиков» (этим Карлейль хотел сказать, что «расчистка сточных канав» была «необходимым началом всего»). Даже обдумывая книгу о своем друге Джоне Стерлинге, Карлейль был озабочен все теми же идеями, которые, как он полагал, можно было бы изложить «по ходу».

Прежде чем началась работа над какой-либо из этих книг, 24 февраля пришла новость о революции в Париже, о падении Гизо, об изгнании Луи-Филиппа: за этим последовали волнения в других странах. В марте зашел

Маццини, полный энтузиазма, чтобы попрощаться с Джейн, погруженной в уныние. Она не понимала огорчения Маццини, что он возвращается в Геную мирно, а не во главе какого-нибудь тайно подготовленного восстания. В течение года Маццини предстояло стать одним из триумвиров новой Римской республики, а еще через год все его планы были разрушены Луи Наполеоном, и он сам вынужден был снова вернуться в Англию – с поседевшей бородой («Вы, должно быть, помните, дорогая, что в старые времена я не мог обходиться без цирюльника – а в походе с Гарибальди, в борьбе за свою жизнь, я не мог, конечно, повсюду возить цирюльника с собой!» – объяснял он Джейн). В Англии вновь ожившее движение чартистов выдвигало необходимость применения силы ради достижения своих целей.

Это было революционное брожение, которое Карлейль предсказывал уже долгие годы: не началась ли расчистка канав, о которой он думал в качестве темы для новой книги? Он не был вполне единодушен с Ли Хантом, который писал, что «положение дел во Франции божественно»; но в течение нескольких дней он испытывал энтузиазм. Впервые в жизни он начал читать ежедневную газету «Тайме»; Эмерсон замечал, что настроение у него заметно поднялось. Он поговаривал о том, чтобы основать собственный журнал, потому что тон некоторых его статей того времени был слишком резок даже для «Обозревателя»; он с надеждой ожидал установления чартистского парламента. Делал заметки для новой книги о неизбежном триумфе демократии, о вопросах труда и о необходимости мудрого правления. «Идея всеобщего избирательного права – бред. Избирать должен лишь мудрый, даже исходя из пользы самого избирателя». Полудюжине корреспондентов он рассылал взволнованные письма. «Этот гигантский взрыв демократии во Франции и из края в край Европы замечателен и полон значения... Я называю его радостным и в то же время невыразимо грустным». Невыразимо грустным – такая мысль не пришла бы в голову тому Карлейлю, который одиннадцатью годами ранее писал «Французскую революцию». Теперь это был другой человек: утраченная вера в пользу какого-либо революционного движения в его время не могла быть компенсирована никаким признанием со стороны аристократии его достоинств как писателя и мыслителя; и все же он теперь уж слишком свыкся с существующим порядком – и в своей общественной и в личной жизни, – чтобы искать выхода в непосредственном разрушительном действии.

Ни один художник не сумел создать точного портрета Карлейля. Различные рисунки, выполненные Сэмюэлем Лоуренсом, изображают его

до странности похожим на актера Лоренса Оливье; на картине Джона Линнела 1844 года мы видим почти денди, с плащом, перекинутым через руку, опирающимся на палку, в позе, несомненно, нехарактерной для него. Сохранилась фотография того периода, которая верно отражает его настроение в те годы. Черты лица его тверды, само лицо как бы сжалось; глубокая складка пролегает от носа ко рту. Длинная верхняя губа втянута настолько, что почти не видна, нижняя выдвинута вверх и наружу над несоразмерно длинным подбородком, погруженным в складки галстука. Это лицо человека, склонного к устойчивым формам и подавлению чувств: неудивительно, что на вопрос, какую роль сыграл этот человек в революционных столкновениях 1848 года, мы получаем ответ: никакой.

Своим недавним последователям, Фруду и Артуру Хью Клафу, пророк не предложил никакого решения. Клаф оставил в 1848 году место в Ориэле: вместе с Эмерсоном он поехал в Париж, где с грустью наблюдал, как рабочий класс потерпел поражение от буржуазии. В 1849 году он отправился в Рим, куда попал во время осады города Луи Наполеоном. Клаф навестил Маццини, который за несколько недель до падения республики был еще в приподнятом настроении; он слышал стрельбу и видел убитых и раненых. Население Рима, как считал впоследствии Клаф, боролось не очень стойко. Да и французы вели себя уж не столь варварски. Несмотря на свои республиканские симпатии, Клаф не мог заставить себя каким-либо образом помочь революционному движению; вместо этого он написал длинную, весьма занимательную поэму «Любовь в дороге», а после падения Римской республики сочинил гимн «Не говори, что пользы нет в борьбе».

Своим негероическим поведением Клаф предвосхитил многих современных скептиков; и все же он стоял намного ближе к этим событиям, чем певец активных действий из Чейн Роу. Более всего к действию Карлейль приблизился, пожалуй, когда решился посмотреть мощное чартистское выступление, назначенное на 10 апреля. Когда он достиг Кэдоган Плейс, начался проливной дождь, а у него не оказалось с собой зонта. Он хотел переждать в аркаде Берлингтон, но, когда дождь полил сплошной стеной, остановил омнибус до Челси и уехал домой. Так нелепо участвовал Карлейль в событиях того дня. Предупрежденные заранее, правящие классы собрали для этого случая специально 150 тысяч констеблей. Фергус О'Коннор получил известие, что демонстрацию не пустят на другой берег Темзы, и она туда не пошла; новая петиция (которая, как оказалось, имела два миллиона подписей, а не пять, как утверждалось, ц весила пять с половиной центнеров вместо пяти тонн) была на трех

извозчиках отвезена в здание Палаты общин, и на том все закончилось...

Карлейль мучился сознанием собственной неспособности к действию. Издалека он завидовал Маццини, который не колеблясь, раз и навсегда, занял свою позицию. За дружескими завтраками он был обычно раздражен; тем, кто спрашивал его мнение о чартизме, приходилось выслушивать резкие, часто невразумительные речи по поводу подлого и трусливого поведения Фергуса О'Коннора. Он посетил вместе с Эмерсоном развалины храма Стоунхендж и распрощался с американцем, снисходительно отметив про себя, что он «достойный, простой и дружелюбный человек, несомненно обладающий определенным даром естественности, чье дружеское участие ко мне в этом мире было поистине велико». Он записал в дневнике – таких записей в течение его жизни было сделано немало, – что никогда прежде он не чувствовал себя столь несчастным, «полностью отупевшим за это время, опустошенным, растерянным, погруженным в мрачные мысли». На этом обеде старый Роджерс, который невзлюбил чету

Карлейлей за многословность («когда мужчина перестает говорить – начинает женщина»), спросил Джейн очень нелюбезно, по-прежнему ли ее муж пленен леди Ашбертон.

В мае того года Бингам Беринг унаследовал титул своего отца, а в сентябре Карлейли в течение пяти недель гостили у них в Грэндже. Этот визит, несмотря на все проявленное к ним дружелюбие, оставил, по словам Карлейля, «чувства... глубоко несчастливые, в целом мучительные, которые лучше заглушить в себе». В ноябре после операции умер Чарльз Буллер, и Карлейль, простив этому баловню судьбы его беззаботное веселье, написал о нем трогательный некролог, полный нежности и печали. Современники дружно отмечали природное обаяние Чарльза Буллера; даже Джейн, гордившаяся тем, что не участвовала «в необычайном преклонении, которое он встречал повсюду, особенно со стороны женщин» – она считала себя «слишком мудрой женщиной, чтобы поддаться его „очарливанию“, – тем не менее не могла устоять, когда однажды дождливым днем он, схватив ружье, выстрелом смахнул цветок шток-розы и поднес ей, мокрый от дождя, держа его двумя пальцами. На портрете работы Дарра Чарльз Буллер изображен молодым человеком с открытым взглядом, очень пухлыми губами и красивым чувственным лицом. Однако портрет не передает того милого естественного добродушия, благодаря которому Карлейль считал его „самым приятным человеком на свете“. Старый Буллер умер несколькими месяцами раньше сына Чарльза; миссис Буллер начала заметно сдавать после смерти сына и в начале 1849 года тоже умерла. Карлейли видели не без горечи, что начинают стареть. В своем

дневнике Карлейль рассуждает о бесплодности всех усилий слепить свою судьбу. „Главные элементы моей незначительной судьбы с самого начала заложены глубоко, недостижимые для глаза или мысли, и никогда не станут известными ни одному из сыновей Адама“. Джейн, несколько иначе реагируя на свой возраст, писала сестре Карлейля, своей тезке, что привязанность остается неизменной, „зато есть другие перемены, из-за которых я выгляжу очень холодной и черствой женщиной“. Тому, что рассказывает о ней Карлейль, по ее словам, не стоит верить, поскольку, „пока я в состоянии держаться на ногах, он не замечает, что со мной что-то неладно“.

В конце сороковых годов в занятиях Джейн видны попытки найти замену той ускользающей теперь симпатии, которая некогда связывала ее с мужем. В одном из своих писем она очень смешно, но в то же время и с ноткой горечи, описывает посещение своей шестилетней крестницы, дочери актера Макреди. В письме подробно рассказывается обо всех трудностях, связанных с переодеванием ее кукол, игрой в лошадки, мытьем и причесыванием «и прочими такими же делами», а пуще всего с необходимостью охранять покой Карлейля. Вечером выяснилось, что не так-то просто ребенка раздеть, да и положить девочку спать в комнате для гостей тоже оказалось невозможным: Карлейль спал поблизости, и девочка могла потревожить его. Наконец, устроенная в постели, девочка начала петь и даже после часовой беседы не заснула; в полночь легла и Джейн, «но, разумеется, не могла спать: всю ночь она колотила меня в грудь своими беспокойными маленькими пятками – а к тому времени, когда она проснулась в семь утра и обняла меня руками за шею с возгласом „Как мне у вас хорошо“, я ни разу не сомкнула глаз, – и в таком состоянии мне пришлось снова умыть и одевать ее и играть в лошадки! Вот какое странное и жестокое наказание постигло меня за то, что я крестная мать!»

Крестница уехала, но вслед за ней явилось традиционное утешение всех несчастных женщин – собака. «Милый, я совершенно убеждена в том, что мне следует иметь собаку!» – сказала она Карлейлю «с таким видом и выражением...», вспоминал он позднее. Собачка Неро служила ее главным утешением в течение последующих десяти лет. Неро спал в ее постели; Неро, спрятанный в корзинку, сопровождал ее в поездках на поезде; Неро жестоко ревновал ее, если она благосклонно заговаривала с кошками. А однажды, после того как Карлейль сказал, что ему нужна лошадь, Неро пришел к двери Карлейля и начал скрести ее, а вокруг шеи у него был привязан конверт с картинкой лошади и чеком на 50 фунтов – полстоимости лошади. Неро из Челси писал письма Т. Карлейлю, эсквайру

в Грэндж; миссис Карлейль из Эддискомба писала господину Неро в Челси письма, в которых с язвительностью говорилось о «той леди, ради которой я покинула Вас – перед которой отступают все семейные привязанности».

Неро был ей утешением, но находились, разумеется, и другие утешения, по мере того, как уходили Стерлинги и Буллеры, как распадался маленький кружок эмигрантов с континента Европы, которые развлекали ее своими приключениями и чудачествами. Оставалась, конечно же, Джеральдина, которую можно было посвящать в свои тайны и тиранить. Был и доктор Джон, в суетливом безделье сновавший между Скотсбригом и Лондоном. С доктором, которого старейший Стерлинг называл «проклятым овощем» – «не человек вовсе, а ходячий кочан капусты», – Джейн более или менее смирилась. Во-первых, его теперь легче было выносить, потому что он занялся переводом Данте: на этот труд Джон подвинулся после того, как Карлейль заявил ему, что он для этого уже слишком стар. Перевод «Ада» он закончил и выпустил, как осторожно отмечал сам в предисловии, «в виде эксперимента»; однако, несмотря даже на некоторый успех, нежелание вновь приниматься за работу и отвращение к чтению корректуры победили, и перевод «Чистилища» так и не был начат. Перевод «Ада» был единственной работой, за которую он взялся в последние тридцать лет своей жизни. Всю свою жизнь он собирался начать трудиться, но ему, как любила повторять с его же слов Джейн, «с благими намерениями всегда не везло». К тому же, как гласила другая его любимая поговорка, «нет положительно никакого смысла восставать против Провидения».

Заметной фигурой из числа ее друзей того времени был суетливо-помпезный Джон Форстер, который оказывал немалые услуги, хлопоча о сочинениях Джеральдины Джусбери. Когда же Форстер позволил себе проявить невнимание, его тотчас же одернули: «Дорогой мой мистер Форстер! Я умерла десять дней тому назад и похоронена на Кензал Грин; по крайней мере, у вас нет определенных сведений о противоположном; в чем состоит противоположное?» Здесь бывала молодежь, например, дочери Теккерей, которые часто приходили на Чейн Роу и были в восторге и от дома, и от хозяйки, одетой в бархат и кружево, и от горячего шоколада, который она приготавливала к их приходу. В 1849 году она наконец решилась съездить в Шотландию – впервые после смерти ее матери – и возобновить некоторые старые знакомства. В Хэддингтоне Джейн ходила на могилу отца и соскребла с нее мох крючком для застегивания пуговиц; бродя по церковному кладбищу, она заметила, что многие имена, которых она не нашла уже на вывесках, встречались ей тут на могильных плитах.

Вспомнился ей Ирвинг и маленькая девочка, много лет назад лавшая через эту церковную ограду. Старый бондарь, не узнавший ее, вспоминал о мисс Уэлш – «самой изящной девице в округе». В письме к Карлейлю, похожем на длинное и блестящее эссе – оно занимает двадцать страниц печатного текста, – она дала волю воспоминаниям прошлого. «И только в прошлом я возбуждаю в себе какие-либо чувства. Теперешняя миссис Карлейль – как бы это сказать? – отвратительна, клянусь честью!»

*

Это длинное письмо было послано Карлейлю в Голвей; в попытке заставить себя работать Карлейль предпринял поездку по Ирландии, снова в обществе Гэвена Даффи. Даффи появился на Чейн Роу четыре годами раньше вместе с двумя соотечественниками: разгорелись жаркие споры, и Джейн успела запомнить посетителей. Один из них, по ее мнению, мог бы стать ирландским Робеспьером (он действительно стал адвокатом в Индии); о втором из них она могла только вспомнить, что от волнения у него шла кровь носом; третий же, Даффи, «совершенно очаровал моего мужа, да и меня в какой-то степени... Черты лица у него были настолько крупные и резкие, что оно могло бы с таким же успехом принадлежать лошади. Он один из тех людей, которых, пожалуй, можно даже назвать красивыми – столько мысли и чувства выражает его физиономия». В 1849 году большинство из тех молодых людей, которые были спутниками Карлейля в в первой поездке по Ирландии, либо сидели в тюрьмах по политическим обвинениям, либо эмигрировали. Наиболее выдающийся из них, Джон Митчел, был приговорен к большому сроку за государственную измену; самому Даффи было предъявлено такое же обвинение, но, просидев в заключении десять месяцев, в течение которых Карлейль написал ему несколько дружеских писем, он вышел на свободу благодаря ошибкам в расследовании. Ему Карлейль и сообщил о своем намерении еще раз посетить Ирландию, чтобы увидеть в особенности те районы, где свирепствовал голод. После обычных для Карлейля проволочек он наконец сел на пароход, отправлявшийся из Чел-си. Благо морского путешествия состоит в том, объяснил Карлейль Даффи, что можно побыть одному. «Одиночество и уныние, которое, как кажется, предстоит мне в этом самом необычном из моих путешествий, – совсем не дурная вещь». Вспомним о замечании, сделанном им по другому поводу – о том, что он еще недостаточно впал в уныние, чтобы начать работать.

Однако Даффи не заметил в Карлейле уныния. Напротив, поражает разница между мрачным тоном записок Карлейля об этом путешествии и воспоминаниями, которые опубликовал Даффи. По отношению к Даффи, который в течение шести недель был его постоянным, а часто и единственным спутником, Карлейль ни разу не был резок или нетерпелив, и он ни разу не пытался употребить свой авторитет при решении практических вопросов, связанных с поездкой, хотя в его положении он, пожалуй, имел на это полное право. Он был почти все время весел, внимателен и, кажется, доволен путешествием. Однако в своих воспоминаниях Карлейль рисовал его как сплошную агонию, которую облегчало только дружелюбие спутника. В таких противоречиях – объяснение тех непримиримых мнений о Карлейле, которые высказывались в последние годы его жизни и сразу после смерти. Глубокий внутренний разлад, который теперь уже нельзя было ничем устранить, неотступно мучил Карлейля; когда у него было время, он поверял свои муки бумаге. Друзья же их не видели; многие даже горячо возражали, говоря, что человек, записавший эти меланхолические мысли, часто бывал душою общества. Впрочем, в Ирландии всякий восприимчивый человек нашел бы достаточно причин для уныния. В Дублине Карлейлю был оказан торжественный прием, но бесконечные патриотические речи скоро его утомили. На юге имя Даффи открывало любую дверь, и Карлейлю удалось поговорить со священниками и с националистами, англо-ирландским обедневшим дворянством и судебными чиновниками, и ни в ком из них он не нашел надежды для Ирландии. Как обычно, его мучила бессонница. Одолеваемый черными, как грозовая туча, мыслями, проехал он графства Киларни, Лимерик, Клер, Мэйо и Слиго. В Глендалоге он видел дымящиеся руины семи церквей, а нищие со слезами выпрашивали милостыню, в Киларни 3 тысячи бедняков жили в работном доме. В Вестпорте пауперы составляли половину населения, толпы их окружали священников на улицах, здесь ему показывали особняк одного баронета, который в течение пяти месяцев уволил 320 человек, а сам в Лондоне проживал 30 тысяч в год, которые получал с доходных домов.

Таково впечатление Карлейля, вспоминаявшего страну, где «красота чередуется с отвратительным беспорядочным уродством столь же резко, как клетки на шахматной доске». Однако у Даффи картина выходит совершенно иная: погода чудесная, только иногда жарко, изредка вдали слышны раскаты грома... Записи их бесед, сделанные молодым ирландцем в то время, приятно напоминают манеру Бозвелла. В дилижансах и на повозках, на перекладных и на извозчиках Даффи имел прекрасную

возможность расспросить Карлейля о его взглядах на жизнь и литературу. Молодой ирландец был почтительным, но не подобострастным наблюдателем, и он заметил, что Карлейль неплохой мим; его попытки изобразить кого-нибудь были неуклюжи, но он сам так забавлялся собственной неловкостью, что у него получалось подчас занимательнее, чем у настоящего актера. Когда же он бывал охвачен гневом или негодованием, в его речи сильнее проступал аннандэльский акцент.

В первый день их путешествия Даффи спросил Карлейля, кто, по его мнению, был самым лучшим оратором в Лондоне. Карлейль отвечал, что, впервые встретив Вордсворта, он был убежден, что это лучший оратор во всей Англии. Позднее, однако, он разочаровался, обнаружив, что все его разговоры были о том, как далеко можно отъехать от Лондона за шесть пенсов в том направлении или в этом. Так все-таки, настаивал Даффи, действительно ли Вордсворт лучший оратор Англии? От Ли Хаита можно было услышать больше ярких, талантливых мыслей в час, чем от Вордсворта за целый день, отвечал Карлейль; но часто это оказывалась подслащенная вода и лишь иногда – серьезная, глубокая, выстраданная мысль. Беседа Вордсворта неизменно доставляла удовольствие, за одним лишь исключением – когда он говорил о поэзии и рассуждал о размере, метре, ритме и обо всем таком прочем... Слегка шокированный Даффи высказал предположение, что для Вордсворта должно быть естественно с любовью говорить о том инструменте, с помощью которого он совершил революцию в английской поэзии. Однако Карлейлю уже наскучила тема, к тому же, можно думать, Даффи утомлял его своими вопросами. Карлейль начал говорить о бесполезности свирельных пасторалек Вордсворта, выразив сожаление, что этот холодный, жесткий, молчаливый, практичный человек не совершил на этой земле ничего полезного. Он предполагал, что в Вордсворте больше мягкости, чувствительности, сказал на это Даффи. Своим ответом Карлейль прекратил разговор: «Вовсе нет; это был совершенно иной человек; человек с огромной головой ж большими челюстями, как у крокодила, созданный для грандиозной задачи». Потом Карлейль добавил, что Джеффри высказывал больше интересных и блестящих мыслей, чем любой другой человек, которого он когда-либо встречал, если, правда, рассматривать беседу как простое развлечение.

И это было всего лишь начало. В продолжение всего путешествия Даффи настойчиво расспрашивал Карлейля о литераторах: о Браунинге и Кольридже, Лэндоре, Диккенсе, Теккерее, сэре Джеймсе Стивене, Форстере, Эмерсоне, Бокле, Маццини, об авторстве писем Джуниуса. По его ответам можно, вероятно, лучше судить о Карлейле-собеседнике, чем

по любым другим источникам. Он догматически напорист, не терпит возражений и в то же время способен высмеять собственные преувеличения с милым и оригинальным юмором; он художник, рисующий поразительные словесные полотна, способный в единый миг выковать из громадного богатства ассоциаций точный конкретный образ (например, огромные крокодилы челюсти у Вордсворта) ; он развивает до меткого гротеска какую-нибудь черту характера или внешности того, кого изображает. Браунинга он хвалил не столько за стихи, сколько за то, что он мог бы быть хорошим прозаиком. Лэндор, увы, избрал странный и причудливый способ излагать свои мысли, но его литературные достоинства пока не вполне оценены. Диккенс – славный, веселый парень, только его взгляды на жизнь совершенно ошибочны. Он вообразил, что нужно людей приласкать, а мир сделать для них удобным, и чтоб всякий имел индейку к рождественскому ужину. Но все-таки он кое-чего стоит, его можно почитать вечером перед тем, как идти спать. В Теккерее больше правды, его хватило бы на дюжину Диккенсов.

Иногда раздражение брало верх в отношениях Карлейля с Даффи, как это случалось и у Джонсона с Бозвеллом. Когда Даффи сказал, что, по его мнению, «История» Бокля свидетельствует о «громадной начитанности и удивительной силе обобщения у автора», Карлейль признался, что книга ему незнакома. Однако Даффи продолжал хвалить книгу и даже начал излагать взгляды Бокля. В ответе Карлейля ясно слышатся раскаты приближающейся бури: «Все спрашивали его: „Вы читали книгу Бокля?“, но он отвечал, что не читал и вряд ли прочтет. Он видел время от времени куски в разных обзорах и не нашел в них ничего, кроме плоского догматизма и беспредельного высокомерия. Английская литература дошла до такой степени лживости и преувеличения, что неизвестно, получим ли мы еще когда-либо правдивую книгу. Наверное, никогда». Даффи, однако, не был обескуражен таким отпором. Не смутился он и тогда, когда на вопрос, кто такой, по мнению Карлейля, Джуниус, он получил ответ, что ни один человек не даст и гроша ломаного за то, чтобы узнать, кто такой Джуниус. Даффи возражал пространно и пылко, но «Карлейль не дал ответа, а продолжал говорить о другом».

Вспоминая в старости это путешествие, будучи уже уважаемым человеком, удостоенным рыцарского звания, занимающим пост министра общественных земель Австралии, Даффи считал замечательным поступок Карлейля, избравшего своим спутником того, кто олицетворял в то время ирландскую оппозицию Англии. Он говорил, что ни один человек, обладавший таким же весом, не мог бы об этом даже помыслить. В

королевском замке были этим недовольны. «Он показывал мне письмо от вице-короля Ирландии, Кларендона, с выражением личного неодобрения». Расставшись с Даффи, Карлейль завершил поездку визитом к лорду Джорджу Хиллу, одному из тех ирландских помещиков, которые пытались усовершенствовать свое хозяйство. Здесь он возобновил знакомство с Платнауэром, который с его содействия стал домашним учителем детей лорда Джорджа. Карлейль восхищался лордом Джорджем и называл его «прекрасной душой», но был невысокого мнения о его проекте образцовых ферм и образцовых арендаторов. По его словам, это представляло собой величайшую попытку, когда-либо виденную им, претворить в жизнь целую систему: эмансипация, свобода для всех, отмена высшей меры наказания – «жареный гусь к Рождеству». «Но, увы, имеет ли она шанс на претворение!» В августе он покинул Ирландию и поехал в Скотсбриг. Позднее он присоединился к Ашбертонам, которые находились в своем охотничьем домике Глен-Труиме, в горах Шотландии. Здесь он чувствовал себя так плохо, как только можно вообразить себе. Спал он отвратительно, после попытки вымыться в тазу для мытья ног он получил прострел, к тому же тут за целый день нельзя было услышать ни одного разумного слова. «Жизнь здесь настолько бессмысленна, что ни один здравомыслящий человек не захотел бы продолжать ее, ни когда-либо вернуться к ней». Почему же он оказался здесь?

*

Поездка по Ирландии послужила толчком к написанию новой книги, но не книги об Ирландии. Он сохранил дружеские отношения с Даффи и написал статью, вышедшую в издании, которое редактировал Даффи, – в «Нации». Однако большой работы об Ирландии он так и не создал. Возможно, он чувствовал, что о работных домах, о нищете, о людях на улицах Голвея, более униженных, чем Свифтовы йеху, ему пришлось бы говорить голосом того «теоретизирующего Радикала самого мрачного оттенка», который был автором «Сартора Резартуса». А этому голосу не суждено было зазвучать вновь. Вместо этого Карлейль написал «Случайные рассуждения о негритянском вопросе», за которыми последовало еще восемь статей, опубликованных отдельно, по мере написания, а впоследствии объединенных под общим названием «Современные памфлеты».

Ценность сочинения пророка-моралиста, каким был Карлейль, зависит

прежде всего от того, насколько он способен постигать происходящие вокруг него события. Чистый визионер, такой, как Беме или Блейк, может позволить себе прятаться в коконе своего видения: у него нет никакой активной идеи, которую он хотел бы донести, он лишь сообщает свое мистическое переживание. Однако писатель, который, подобно Карлейлю, стремится заложить общие принципы человеческого поведения и даже предлагает социальные преобразования, должен исходить из реальности, приемлемой для всех нас. Начиная с момента написания «Современных памфлетов» Карлейль перестает соблюдать этот основной принцип. С этих пор его ум закрыт для фактов, которые не соответствуют его предвзятым представлениям; его все менее интересует благополучие людей, которое раньше всегда служило ему отправной точкой для всех рассуждений, он занят теперь исключительно возвеличиванием стоящего над людьми героя. Он готов спорить со свидетелями событий, о которых он сам едва читал; когда кто-то поправлял у него цитату, он преспокойно повторял ее с прежней ошибкой. Его сочинения все более и более теряют связь с действительностью и все более становятся отражением его собственного умонастроения.

Общий тон «Современных памфлетов» передает его разочарование в обществе и в личной жизни. Эти статьи, в которых предпринимается попытка анализировать социальные проблемы Британии более детально, чем когда-либо раньше у Карлейля, и предложить практические средства против описанных зол, отличаются странностью и произвольностью подхода к активным действиям, от которых он отпрянул в страхе в тот год революций. Следуя идее Героя, Карлейль находит его для Британии: это не кто иной, как сэръ Роберт Пиль, истинный джентльмен. Незадолго до написания памфлетов он имел разговор с Робертом Лилем в Бат Хаусе, а позднее был приглашен к премьер-министру на обед. Живость, дружелюбие Пилля, его склонность к непринужденному, грубоватому юмору внушили Карлейлю надежду на то, что этот размягченный представитель богатых средних слоев может оказаться Мессией, которого ждала Британия; тем, кто принесет перемены на Даунинг-стрит, перестроит министерство иностранных дел, обороны и прочие департаменты государства и скажет огромной армии бедняков: «Записывайтесь, становитесь в строй, из бездомных головорезов Праздности станьте солдатами Трудолюбия!» В этом грандиозном переустройстве общества во главе с Пилем, его вождем, Карлейль, очевидно, и себе отводил почетное место.

Он не мог сказать ничего нового, но повторял уже часто

высказывавшиеся им идеи с исступлением бессильного гнева. Больше всего его ярость проявлялась по отношению к его бывшим друзьям и почитателям: к любителям реформ и просвещенным радикалам, рационалистам и чересчур благочестивым христианам – ко всем тем, чьи стремления и симпатии он раньше понимал...

Однако, зайдя столь далеко в критике «Современных памфлетов», мы должны сказать еще одно слово. Проблемы, скорее обозначенные, чем разрешенные в этой книге, волнуют нас и сегодня: это государственная власть, управление общественным трудом, принуждение, необходимое для лучшей организации общества; а между тем из современников Карлейля едва ли кто-нибудь обратил на эти проблемы серьезное внимание. Большинство мыслителей викторианской эпохи (1830—1901) так же, как и сменившие их борцы за реформы эпохи короля Эдуарда (1901—1910), были людьми практическими, в то время как Карлейль был до крайности непрактичен. И все же что ближе нашему сегодняшнему миру – отвлеченные попытки дать определение свободы, предпринятые Джоном Стюартом Миллем или Гербертом Уэллсом, или же краткие заметки Карлейля: «В остальном же я никогда не считал „права негров“ достойным вопросом для обсуждения, равно как и права человека вообще, главный вопрос, как я уже однажды говорил, – это возможности человека: какую часть своих прав он имеет шанс выявить и реализовать в этом хаотичном мире?»

*

«Современные памфлеты» были почти повсюду встречены недружелюбно. Если еще требовался повод для того, чтобы Милль порвал окончательно с Карлейлем, то эта атака на самые дорогие его сердцу убеждения могла послужить им; по выходе первого памфлета Милль яростно напал на Карлейля; а когда они встретились, Милль отвернулся. Голос Милля раздавался в хоре возмущенных и изумленных возгласов: даже «Панч», наиболее дружественно настроенный по отношению к Карлейлю среди всех лондонских журналов, привлек его к суду за подрыв его репутации; Маццини почувствовал отчуждение, а такие либералы, как Форстер, были удручены и удивлены.

Карлейль делал вид, что такая реакция его забавляет; он уверял, что никогда не читает в прессе отзывов о себе; и все же почти нет сомнения в том, что он сам был и удивлен, и встревожен той личной неприязнью,

которую возбудил. Он первоначально предполагал написать серию из двенадцати памфлетов, но не пошел дальше восьмого: внезапная смерть Пиля после падения с лошади – в то время, когда писался восьмой памфлет, – разрушила все его надежды на практическую пользу от их опубликования. Вполне возможно, что, останься Пиль в живых, Карлейль вошел бы в состав парламента в качестве постоянного должностного лица при лорде Ашбертоне в министерстве образования – Ашбертон был членом администрации Пиля в 1835 году. Можно не сомневаться, что Карлейль бы там надолго не задержался; тем не менее его разочарование в своей первой – и последней – попытке практически подойти к современной ему ситуации было горьким. Возможно даже, что его деятельность именно на этом официальном посту была бы успешной, ибо всю жизнь он проявлял большой интерес к библиотекам и проблемам просвещения вообще. Когда Карлейль выступал в 1849 году перед комиссией, назначенной для проверки администрации в Британском музее, он предложил учредить публичные библиотеки в каждом графстве и особо подчеркивал необходимость печатного каталога всех книг, находящихся в библиотеке Британского музея, которые были в то время в полном беспорядке. Его осведомленность относительно классификации книг, их подбора, подходящих условий для пользования библиотекой поразительно четки и ясны.

Смерть Пиля положила конец этим планам и оставила брюзгливого пророка метать громы и молнии в общество, которое в практическом смысле просто обошло его вниманием. Таков Карлейль глазами недругов; более благожелательно описывал его Фруд, который приходил в это время на Чейн Роу послушать, как Карлейль рассказывает о ненаписанных памфлетах. «Эти образы, эта живая игра юмора, громадные знания, всегда проступающие сквозь те гротескные формы, в которые они облечены, – все это само по себе настолько покоряло и увлекало, что мы лишались дара речи до тех пор, пока разговор не кончался».

Taken: , 1

Глава шестнадцатая. Звуконепроницаемая комната

Мы имеем несчастье жить в этом доме и обладать весьма слабым здоровьем; плохо спим – в особенности в ночные часы крайне чувствительны к шуму. В ваших владениях вот уже некоторое время живет петух, никак не более шумный или неприятный, чем остальные, чей крик, разумеется, был бы безразличен или незаметен для людей с крепким здоровьем и нервами; но, увы, нас он часто заставляет против нашей воли бодрствовать и в целом причиняет неудобства в такой степени, которую трудно себе представить, не будучи нездоровым.

Если б вы были столь добры, чтобы удалить это маленькое животное, или каким-либо способом сделали так, чтобы он не был слышен от полуночи до завтрака, такая милость с вашей стороны принесла бы заметное облегчение определенным людям здесь и была бы принята ими с благодарностью как акт добрососедства.

*Томас Карлейль – Д. Ремингтону, 12 ноября
1852*

В 1853 году Карлейль позвал рабочих для осуществления необычного плана: строительства звуконепроницаемой комнаты наверху его дома. Он и раньше подновлялся и перестраивался: например, библиотеку в бельэтаже расширили так, что она стала одновременно библиотекой и гостиной; но на этот раз предполагалось не более и не менее как построить целый этаж. Звуконепроницаемая комната должка была расположиться над всем верхним этажом и быть защищенной от проникновения шума путем постройки второй стены; освещаться она должна была через застекленный люк в потолке.

На первый взгляд предприятие безнадежное, но и положение Карлейля также было безнадежным. Любые звуки в ночное время были теперь для

него невыносимыми. Петухи соседей Ремингтонов были устранены ради его покоя, но на смену им явились столь же громкоголосые птицы в садах других соседей. Уличные шарманки играли под окнами, время от времени его тревожили фейерверки, самые обычные звуки улицы причиняли ему острое беспокойство. Главной причиной неудобств стали (после устранения петухов Ремингтонов) петухи и попугаи некоего Ронки, жившего в соседнем с Карлейлями доме. И эти петухи, решил Карлейль, должны исчезнуть, замолкнуть навсегда, независимо от того, будет построена звуконепроницаемая комната или нет. Может быть, ему подстрелить их, спрашивал он Джейн. «Но у меня нет ружья, я могу не попасть, да и редко вижу проклятых птиц». Одно было несомненно; «Петухи должны либо замолкнуть, либо умереть».

Под давлением этих обстоятельств задумывалась и строилась звуконепроницаемая комната. Один друг по фамилии Чорли командовал всей операцией, носясь как бешеный вверх и вниз по лестницам и отдавая распоряжения рабочим-ирландцам. По одному из свидетельств, в то время происходила забастовка строительных рабочих, и поэтому не удалось нанять хороших мастеров. Каковы бы ни были строители, один из них однажды провалился в спальню Карлейля вместе с тучей обломков старой обшивки, пыли и известки, а другой провалился в комнату Джейн и упал в ярде от ее головы. Карлейль вскоре уехал в Эддискомб, а когда он вернулся, звуконепроницаемая комната была построена. Получилась приятная, большая комната с хорошей вентиляцией, освещение в ней было превосходно, но – увы – петухи и попугаи соседа Ронки все еще были отчетливо слышны. На этот раз Карлейли уехали вдвоем – в Грэндж; здесь Джейн пришла идея снять дом Ронки с тем, чтобы он был всегда пуст и безмолвен. «Что такое сорок или сорок пять фунтов в год по сравнению со спасенной жизнью и рассудком?» Она возвратилась в Лондон, подарила Ронке пять фунтов и клятвенно обязала его «никогда не держать и не позволять другим держать птицу, или попугаев, или какие-либо другие источники беспокойства на принадлежащей им территории». Одержав таким образом победу, она немедленно отправилась спать – с головной болью.

Это выглядит комично, но жизнь, в которой подобные происшествия играли важную роль, не была похожа на комедию. За три года, прошедших после публикации «Современных памфлетов», вышла только «Жизнь Джона Стерлинга»: книга эта замечательна той нежностью и тем сочувствием, которое Карлейль нашел в своем сердце и выразил по отношению к своему робкому другу-теологу. Стерлинг не производит

впечатления необычайно одаренного ума, которое мы получаем, читая рассказы современников о Чарльзе Буллере; оставшаяся после него проза и стихи также не свидетельствуют ни о несомненном, ни даже о подающем надежды таланте. Что-то в Джоне Стерлинге привлекало Карлейля, помимо того, что он был его учеником. Что именно – остается неясным и в этом ярком, блестящем, увлекательном жизнеописании, в котором особенно хороши портрет старого Эдварда Стерлинга и рассказ о Кольридже в Хайгет Хилле. «Жизнь Джона Стерлинга» была написана быстро и без усилий и вышла в 1851 году. С тех пор Карлейль размышлял над книгой о Фридрихе Великом и был поглощен поисками материала для нее.

Решение заняться жизнью и эпохой такой фигуры пришло не без тяжелых сомнений: да и на протяжении тринадцати лет работы над этой книгой Карлейль так и не смог окончательно примириться ни с предметом описания, ни с тем фактом, что он им занимается. В иные моменты ему удавалось убедить себя в том, что Фридрих был истинным героем – а его в это время интересовали только герои. В другие же минуты вся затея казалась ему нелепой. Глядя на «свирепо сморщенную» гипсовую маску с лица Фридриха, Карлейль отмечал: «Лицо худого льва или отчасти – увы! – такой же кошки! Губы тонкие и смыкаются, как клещи; лицо, которое никогда не уступало, – не самое красивое из лиц!» Колебания между одобрением и отвращением продолжались в течение нескольких лет: если сосчитать все те случаи, когда в дневниках или письмах Карлейля на протяжении нескольких дней высказывались совершенно противоположные мнения о предмете, то таких случаев набралось бы несколько десятков, а может быть, и сотен. Книга одновременно стала для него и убежищем и мукой. Погрузившись в работу, он мог забыть о своих запутанных семейных проблемах и все меньше обращал внимания на современные события.

Мука состояла в том, что он сознавал: его занятия Фридрихом являются скрытым предательством того Карлейля, который написал «Французскую революцию» и который желал только одного – погрузиться в изучение разрушительного элемента своей эпохи. Ища защиты от этих мыслей, он чаще и чаще взрывался в припадках безудержного гнева на глупость современников, не понимающих необходимости единовластного вождя для человечества. Спасаясь от чувства вины перед Джейн, он предпринял исследование жизни и идей Фридриха, замечательное по своей глубине, но фантастическое по масштабу, и все это время жаловался на грандиозность задачи, которую добровольно возложил на себя, и сам же ругал себя за жалость к себе.

В конце лета 1852 года он отправился в Германию в поездку, которая другому доставила бы удовольствие. Карлейлю же один ее план уже казался ужасным, а его осуществление вовсе невозможным. Его сопровождал начиная от Роттердама некий Джозеф Нойберг из Германии, который написал Карлейлю восторженное письмо еще в 1839 году, но был представлен на Чейн Роу лишь девять лет спустя Эмерсоном. Нойберг скоро стал и оставался до самой своей смерти в 1867 году другом Карлейля, его научным ассистентом и добровольным секретарем. От Нойберга требовались огромное терпение и выдержка, ибо во время поездки по Германии, включавшей посещение многих крупных городов и девятидневное пребывание в Берлине, Карлейль был в плохом расположении духа. Начиная с Роттердама, где сон был совершенно невозможен по причине храпящих соседей и «самых беспокойных петухов, каких я только слышал», до его возвращения через семь недель вся поездка представляла собой «неприятное приключение». Он старался утешиться тем, что оно было необходимым.

В Боннском университете они нашли несколько нужных им книг, и Нойберг предложил остановиться в местечке, где был источник и можно было бы спокойно переночевать в отеле, но едва только Карлейль приехал туда, пришел в ужас от шума. На следующий день Нойберг нашел квартиру в маленькой деревушке у подножия Семигорья. «Содрогаясь от неохоты», Карлейль согласился попробовать. Результат был несчастливый. Он спал «в кровати, которая больше напоминала лоток мясника или большое корыто, чем кровать; подушки имели форму клина и были почти в метр шириной, а посреди постели была впадина. С улицы до полуночи доносился разговор, звон церковных колоколов, рожок сторожа и, по всей видимости, общая сходка всех кошек и всех собак, которые имеются в природе». Тем не менее он проспал три часа, выкурил трубку, стоя у окна, и, как он уверял Джейн, «был не так уж несчастен». В Эмсе дело пошло лучше, и ему очень понравился Рейн; во Франкфурте он записал свое имя в книге в комнате Гете, а в Ейзенахе поднялся по короткой стертой каменной лестнице, которая вела в комнату, где жил Лютер, и поцеловал дубовый стол, за которым тот работал над своим переводом Библии. В Веймаре постоял на могиле Гете и Шиллера и обедал во дворце. К этому времени он «оставил надежду на сколько-нибудь продолжительный сон в Германии» и перестал думать о серьезной работе. Тем не менее он ходил смотреть Лобозитц, место первой битвы Фридриха в Семилетней войне, и посетил Берлин. Здесь его окружили вниманием, хотя прусские историки и литераторы никак не поощряли его идею написать биографию Фридриха. Отговаривать

же его не было нужды. «После каждой прочитанной мною немецкой книги о нем, – писал Карлейль сестре, – я чувствую: все покончено с Фритцем». Но это чувство было лишь частью общего настроения во время поездки. «Это путешествие прошло, словно в тунике Несса: страдание, мучения с желудком, воспаление, бессонница преследовали меня на каждом шагу... Должен сказать здесь же, и повторю везде, что Нойберг был самым добрым, терпеливым и усердным из друзей и помощников».

*

Разочарование, которое испытывала в то время Джейн и которое она не могла ни объяснить себе, ни облегчить, касалось всех сторон ее жизни. «Бог видит, как бы мне хотелось иметь веселый нрав и неунывающую душу – ради одного лишь твоего блага, – если бы мой характер не был ожесточен, а душа опечалена до такой степени, что я не в силах ничего поправить», – писала она Карлейлю в 1850 году. Он в это время возвращался из длительной поездки по Шотландии; по дороге он три дня провел в Кезвике, а затем остановился у друзей близ водопада Конистон. Однако невыносимый шум заставил его внезапно уехать в Челси, и даже скорым поездом. Джейн как раз гостила в Грэндже и была очень огорчена тем, что впервые за всю их жизнь вместе она не была дома и не встречала его. Конечно, одиночество ему милее, замечала она с горечью (и притом несправедливо), и если она вернется домой следующим поездом, то, пожалуй, скорее лишит его удовольствия, чем доставит его. «Это определенно лучшая школа для таких, как я, чтобы излечиться от малейших остатков „тонкой чувствительности“. Зачем ей было оставаться в Грэндже, где ее никто не любил, если в Чейн Роу она все-таки кому-то не совсем безразлична? Ашбертоны тут, разумеется, ни при чем, но совершенно очевидно, что Джейн хотелось свалить вину на них.

Визиты в Грэндж и в Бат Хаус, в Альверсток и Эддискомб отнюдь не прекратились; не следует также думать, что Джейн принимала приглашения с неохотой. Она так и не сумела почувствовать неприязни к леди Гарриет, да и вообще не могла питать к ней иного чувства, кроме уважения. Джейн и Карлейль, на которых нелегко было угодить, встречали у нее любезный и радушный прием. Тайная переписка Карлейля с леди Гарриет продолжалась: он писал ей письма, совершенно безобидные, в которых позволял себе только вычурные и явно лишние какого-либо чувственного содержания сравнения. Она была Прекрасной Дамой, а он –

чудовищем, «неужели чудовищем, которого нельзя освободить от чар?»; ей он поверял, почти с той же откровенностью, как Джейн, свои надежды и сомнения по поводу Фридриха, и он не раз напоминал ей, что к его письмам следует относиться так, как если бы она их «не получала». Этот маленький осторожный обман иногда приводил к забавным последствиям: осенью 1851 года, когда Карлейлю показалось, что будет уместнее, если Джейн откажется от приглашения приехать в Грэндж на рождество, она ответила ему, что уже приняла приглашение от имени их обоих. «Мне пришлось в тот момент отрицать, что я хотел и мог поехать, что, впрочем, не так уж далеко от истины, настолько отчаянны мои обстоятельства. Причины моя благородная леди прекрасно знает сама». В это же время Джейн, упоминая о приглашении в письме доктору Джону, пишет: «Если я откажусь в этот раз... она со мной поссорится, а этого нельзя допускать, поскольку поссориться с ней – значит поссориться и с мистером К.».

Итак, приглашение было принято; Джейн отправилась в Грэндж в самом начале декабря, а Карлейль несколькими днями позже. Леди Гарриет проявляла большой такт, и визит прошел благополучно. Джейн помогала леди Гарриет и ее матери, графине Сэндвич, одевать кукол для рождественской елки. Подарки с елки, украшенной надписями, вроде «Боже храни королеву» и «Да здравствуют леди и лорд Ашбертон», были розданы сорока восьми детям, которые пришли вместе со своими матерями. Раздавала их леди Ашбертон, сопровождая каждый какой-нибудь остроумной фразой. Позвав «Томаса Карлейля – ученого», она протянула ему карту мира, разрезанную на кусочки, со словами: «Вот карта мира для вас – попробуйте собрать ее, да чтоб кусочки сошлись». Карлейль, как отмечала Джейн, выглядел не менее счастливым и очарованным, чем любой из присутствовавших там детей. Все это было очень мило; но Джейн не могла не отметить, что все сорок восемь подарков вместе стоили только два фунта и шесть пенсов – такого проявления бережливости она не могла понять со стороны людей, имеющих сорок тысяч дохода в год. «По-моему, хорошо было бы каждому ребенку хотя бы подарить по платью – если уж проявлять щедрость. Но у всякого свои представления о том, как тратить деньги».

Помимо таких совместных поездок к Ашбертонам, Карлейли все чаще ездили поодиночке. Карлейль ежегодно навещался в Скотсбриг, где он изредка заказывал у одного портного в Эклфекане по шесть пар брюк и три-четыре сюртука с жилеткой. Во время таких поездок он обычно заезжал еще куда-нибудь – иногда до самого Южного Уэльса; таким образом, его педелями не бывало на Чейн Роу. В 1851 году он несколько

дней провел в Париже с Броунингами: французские литераторы его раздражали, а французские актеры огорчали своим «жалким кривлянием на семейные темы» и своим «собачьим распутством и бездушной ухмылкой надо всем, что есть прекрасного и возвышенного в человеческих отношениях». Джейн ездила навещать Джеральдину Джусбери с братом в Манчестере, или Полетов в Сифорте, или своих родственников в Ливерпуле; преодолев однажды свое нежелание возвращаться в Шотландию, она стала то и дело бывать там. Читая рассказы о путешествиях этих двух людей, исключительно плохо переносящих дорогу, нельзя отделаться от впечатления, что оба они отчаянно пытались бежать – не столько друг от друга, сколько от своей жизни.

Впервые за много лет Джейн ездила в Скотсбриг. Оттуда было получено известие, что мать Карлейля, которой было теперь уже за восемьдесят, очень слаба и близка к смерти. Услыхав, что едет Джейн, эта неукротимая старая женщина настояла на том, чтобы ее подняли с постели и одели, дабы она могла выйти из дому навстречу своей невестке. Джейн с радостью отметила, что ее свекровь «пожевала прекрасной бараньей отбивной» и что ее рассудок был совершенно ясен. Вскоре после приезда Джейн Маргарет Карлейль снова слегла и впала в холодное неподвижное забытие, которое, казалось, предвещало смерть; однако из него она чудесным образом вышла. Несколько дней спустя Джейн сообщала Карлейлю, что его мать спала прекрасным, естественным, «посапывающим» сном до часу ночи, а затем проснулась и попросила овсянки; после этого она проспала до шести, снова проснулась и сказала, чтобы врач «не приходил в тот день», потому что в нем нет нужды.

На обратном пути, писала она мужу, она плакала всю дорогу до самой шотландской границы от любви к своей стране и от сожаления о прошедших годах. В Ливерпуле ее радушно приняла семья ее дяди, но ей не спалось; в три часа ночи она приняла две таблетки морфия и весь следующий день то мучилась от тошноты, то едва не падала в обморок. Здесь она получила присланный Карлейлем подарок ко дню рождения, довольно странный: цветная литография, на которой была изображена жена, бредущая своего мужа; держа левой рукой мужа за нос, а правой – бритву, она разговаривает с каким-то гостем. На картинке была подпись: «Моей дорогой Дженни (14 июля 1853 г.) от вечно любящего ее Т. Карлейля (торговца символами)».

Такие путешествия были почти непосильной нагрузкой на ее нервы; к тому же вскоре после возвращения в Челси ее постигли два тяжелых удара. Через несколько дней после приезда домой она получила от кузины Элен

известие о смерти дяди; через два месяца с небольшим, как раз после торжественного изгнания петухов, она узнала, что и сама Элен умерла. Карлейль, до этого проявлявший странное нежелание навестить свою мать, перед самым рождеством вдруг решил покинуть торжества в Грэндже и ехать в Скотсбриг. Приехав, он застал мать при смерти. Вечером накануне рождества она мучилась от боли, и Джон дал ей половину дозы опиума; она узнала своего старшего сына и пожелала ему спокойной ночи, прибавив: «Я очень благодарна тебе». Это были ее последние слова. На рождество она умерла.

Так ушел 1853 год: Джейн, несчастная, сидела в Чел-си, а Карлейль, погруженный в размышления, в Скотсбриге записал в своем дневнике: «Моя милая старая мать ушла от меня, и в зимнюю пору года, во мраке непогоды и души, последний угрюмый век – век старости – начинает разворачиваться передо мной».

Taken: , 1

Глава семнадцатая. Век старости

Сегодня вечером одна. Леди А. снова в городе, мистер К.,, разумеется, в Бат Хаусе.

Когда подумаю, кто я И чем я быть могла, Мне кажется, что дешево Себя я продала.

Джейн Уэли Карлейль. Дневник, 15 ноября 1855

О, – часто говорил он мне, когда ее уже не было в живых, – если б я мог хоть на пять минут увидеться с ней и убедить ее, что я действительно все это время любил ее! Но она этого так и не узнала, не узнала!

Д. Э. Фруд. Примечание в «Письмах и воспоминаниях Джейн Уэли Карлейль»

Он был очень знаменит и уважаем даже теми, с кем глубоко расходился; при этом его слава объяснялась не столько тем, что он писал, сколько тем, что он сам представлял собой. Известность и относительное богатство почти никак не отразились на его жизни: он и не помышлял переезжать в модные районы Лондона или обзаводиться модным гардеробом. Как гранитный монумент, стоял он, олицетворенный упрек, с презрением и гневом указуя пальцем на современное общество, спутавшее душевное здоровье с материальным благополучием. Такому обществу он служил своего рода компенсацией, грозным, но и утешительным напоминанием, что существует шкала моральных ценностей, которые можно было хотя бы уважать на словах, даже если на деле они их игнорировали. Эмерсон метко заметил, что общество держит пророка в качестве «своего рода переносного церковного колокола, который они любят показывать тем, кто о нем не знает, и звонить в него». Когда колокол, оглушая слушателей, призывал их забыть своих фальшивых торгашеских кумиров и поклониться могиле истинного героя, те, кто звонил в этот колокол, приходили в восторг. Лишь немногие серьезно внимали его звону, но те, кто останавливался его послушать, были рады убедиться в его существовании. Пятидесятипятилетний Карлейль был пророком,

почитаемым всей Англией.

Регулярными посетителями Чейн Роу были теперь в основном впечатлительные молодые люди, заплутавшиеся в жизни, вроде молодого поэта и таможенного чиновника Вильяма Эллингэма. Все они, за исключением таких, как Фруд и Клаф, стояли гораздо ниже Карлейля по уму (в отличие от тех, кто окружал его, когда писалась «Французская революция»). И разговаривать с пророком наравне было теперь невозможно: он поучал, наставлял и просвещал. Герберт Спенсер, навестив Карлейля два или три раза, решил, что ходить к нему не стоит, так как спорить с ним нельзя.

Взгляды Карлейля на искусство отдавали теперь самодовольством филистера. Его прежние сомнения в ценности литературы как формы, сознательно накладываемой на материал, углубились и видоизменились. Он заявлял, что его попытки популяризировать немецкую литературу только усугубили путаницу в современном мире; он часто намекал, а иногда и ясно говорил, что теперь нужна вовсе не литература. Изобразительное искусство вызывало у него открытое презрение. «Э, я не вижу проку в художниках, да и в их работе тоже, – сказал он Уильяму Беллу Скотту и Томасу Вульнеру, одному из художников-прерафаэлитов. – Уж на что у всех людей котелки пустые – у художников еще более того: ни на что не пригодны – только бешеным собакам к хвостам привязывать». Это было сказано в один из тех моментов, когда Карлейль развеивал по ветру терпимость, которой не обладал: в более благоприятные минуты оценка искусства у него зависела целиком от его полезности, причем последнюю он понимал в самом узком смысле.

Наиболее презренной фигурой современной эпохи стал теперь для Карлейля литератор; честный чистильщик сапог гораздо предпочтительнее. Ах, литературные критики много пишут о нем? «Я их никогда не читаю. Я питаю глубочайшее презрение и отвращение к сегодняшним литературным каналам».

В большинстве общественных начинаний своего времени он видел символы человеческой глупости и грядущей кары за нее. Выставку 1851 года он считал ловко обставленной бессмыслицей. Посреди длинной тирады против «ужасного, отвратительного положения вещей», обращенной к Герберту Спенсеру, Карлейль начал возмущаться тем, что в зоологическом саду публично выставлены напоказ такие омерзительные существа, как обезьяны. Однако ему нравился Хрустальный Дворец, превосходящий, как он говорил, «по красоте все здания, которые я видел или о которых читал, за исключением описанных в Арабских сказках».

Примерно в то же время он выразил поддержку Мирному Конгрессу, надеясь все же, что «он не совсем потушит гнев, который живет в качестве естественного элемента во всех потомках Адама». Когда началась Крымская война, он по обыкновению обвинил в ней «праздное племя редакторов и проч.».

В пятидесятых годах внешность Карлейля сильно изменилась: он перестал пользоваться бритвой. Причиной тому был лорд Ашбертон, взявший с Карлейля слово, что, если он отпустит бороду, Карлейль поступит так же. Желая напомнить ему о данном обещании, лорд Ашбертон даже забрал у Карлейля все его бритвы. Карлейль жаловался, что лицо у него стало как пустырь, поросший колючками, но вскоре примирился и с бородой, и с усами, которые, по словам Джейн, делали его похожим на сбежавшего сумасшедшего. Карлейль считал, что, перестав бриться, он сберегает полчаса ежедневно, но, по мнению Джейн, он проводил это время, «слоняясь по дому и оплакивая неблагоприятие Вселенной».

*

С годами обнаруживается все более и более приметная разница между частной жизнью Карлейлей и мнением о них публики. Большинство людей, не знавших Карлейля, а также и многие, кто его знал, видели в нем мудреца, источающего если не сладостный, то хотя бы теплый свет гения. В его письмах к тем – а их было много, – кто просил его совета по самым различным вопросам, – существует ли ад и какие книги лучше читать, – он проявлял спокойную беспристрастность и доброту, которую редко можно было заметить у него при иных обстоятельствах. Когда Гладстон пытался провести в дирекцию Лондонской библиотеки своего ставленника, не подходящего для этого места, Карлейль выступил на защиту библиотеки и удивительно умело повел борьбу против кандидата Гладстона.

Письма Джейн не утратили былой остроты и живости: она все так же умела оживлять мелкие события домашней жизни своим неподражаемым чувством юмора. Она еще способна была представить Карлейлю «Расходы одной Femme Incomprise»¹⁹, где с юмором и ехидством одновременно описывались трудности ведения хозяйства на те деньги, которые он ей выдавал. «Ты не понимаешь, почему тех денег, которых хватало в прежние годы, не хватает теперь? Я бы объяснила тебе, если б Благородный Лорд соизволил хотя бы – как бы это сказать? – сдержать свой гнев». (Ее рассказ,

прерываемый возгласами «Вопрос! вопрос!» и «Короче», не упускал ни одной подробности; ни дорогой служанки, ни стоимости проведенных в дом газа и воды, ни выросших налогов, ни растущих цен: «Свечи нынче дороги. Окорок подорожал на пенни за фунт; то же и мыло; картофель самый дешевый пенни за фунт вместо прежних двух пенсов за три фунта. Кому придет в голову, что на одной картошке набегают разница в пятнадцать шиллингов два пенса в год?») Этот длинный, любопытный документ скрывает под юмором – и неглубоко – горечь: «Ты спрашивал во время последней ссоры, с испепеляющим сарказмом, есть ли у меня хотя бы малейшее понятие о том, какая сумма могла бы меня удовлетворить. Нужно ли мне пятьдесят лишних фунтов, или сорок, или тридцать? Может ли какая-нибудь разумная сумма положить конец моим вечным недовольствам? Отвечу на этот вопрос так, как если бы он был задан мне из добрых и практических побуждений». В конце она просила дополнительных 29 фунтов в год, с выплатой по частям четыре раза в год. Откуда взять деньги? Пустой вопрос, так как у Карлейля две тысячи лежат в банке в Дамфрисе; но она дала себе слово, что в расточительности ее нельзя будет обвинить, и в числе способов сэкономить деньги предлагала не дарить ей подарков на рождество и Новый год и сократить ее расходы на гардероб с 25 фунтов до пятнадцати.

Карлейль оценил юмор этого документа. В конце последней страницы он написал: «Превосходно, милая, – бережливейшая, остроумнейшая и мудрейшая из женщин. Я помогу тебе, без сомнения, твои долги будут уплачены, твоя воля исполнена».

После смерти матери Карлейль некоторое время редко ездил в гости. В 1855 году он гостил у Эдварда Фитцджеральда в Саффолке и пришел в восторг от курорта Алдебурга. Он звал туда Джейн, но она тоже уезжала в Брайтон, а оттуда в деревушку Роттингдин. «Здесь всегда так тихо?» – спросила она горничную в гостинице, которая ответила, что здесь даже слишком тихо. Тут же, в Роттингдине, был домик, который она почти решила снять за 12 фунтов в год, но заколебалась из страха, что он не понравится Карлейлю. Она оказалась совершенно права. Однажды утром они отправились осматривать домик, но уже на Лондонском мосту под предлогом дождя повернули назад. В то время, кажется, достаточно было, чтобы одному из них что-либо понравилось, и другой непременно это отвергал. Ашбертоны предложили им Эддискомб на остаток лета, и они поехали в Эддискомб -Карлейль верхом, а Джейн поездом. Но тут, несмотря на мертвую тишину, Джейн не могла заснуть. Она возвратилась в Лондон и лишь изредка приезжала в Эддискомб; некоторое время спустя Карлейль

писал леди Гарриет, что он провел там «двадцать четыре необычных, благотворных дня» и что он раз сорок восемь заваривал чай в «вашем маленьком игрушечном чайнике (в прелестном маленьком красном керамическом чайнике)»; а Джейн в это время писала свой печальный дневник.

Это был дневник для записей о том, «что мистер Карлейль называет фактами о вещах»; она была согласна с ним, что «дневник, в котором сплошные чувства, обостряет все болезненное». Однако, когда Карлейль однажды неожиданно возвратился из Бат Хауса, Джейн записывала следующие философские рассуждения: «Этот вечный Бат Хаус. Сколько тысяч миль он уже набегал между ним и нашим домом, и каждый верстовой камень все больше отделяет его от меня. О, господи! Когда я впервые заметила этот огромный желтый дом, не зная, да и не заботясь о том, чтобы узнать, кому он принадлежит, – как далека я была от мысли, что годы и годы я буду носить тяжесть каждого его камня на своем сердце».

«Опять чувства», – сухо замечала она, и действительно, дневник полон теми чувствами, которые редко или, может, даже никогда не получали выхода. Есть в дневнике и записи иного рода: блестящее описание ее посещения налоговой комиссии по делу Карлейля, любопытные замечания по таким поводам, как лопнувший бак; но они выглядят почти случайными среди коротких, резких и сбивчивых свидетельств душевного страдания (часто написанных с большим литературным вкусом), которыми испещрены все страницы. Она теперь с тоской писала об обыденных делах, которыми в прошлом занималась сотни раз – и с радостью: «Вечер посвящен починке брюк мистера К., помимо других дел! Будучи единственным ребенком, я никогда не имела желания латать мужские брюки – о нет, никогда!»

Приготовления к каждому из визитов в Грэндж, которые она, как и Карлейль, ожидала и вспоминала потом с удовольствием и горечью пополам, казались ей невыносимыми: «Заботиться о моем платье сейчас больше, чем когда я была молода, красива и счастлива (господи, подумать только, что когда-то я была такой!), под угрозой того, что будешь выглядеть пятном на лазурно-золотом фоне Грэнджа, – это уж слишком. О, господи! Если бы только мы оставались в той сфере жизни, которой принадлежим, насколько лучше было бы нам во многих отношениях!»

Чтобы достойно встретить приход старости, необходимо оставлять прошлое в покое, не копать слишком часто в старых воспоминаниях, не смотреть слишком пристально на иссохшую шею и морщинистую кожу, не сравнивать суровость зрелого возраста с искрящейся молодостью, которая

чаще всего наполовину бывает вымышленной. Этим даром забвения Джейн обладала даже в меньшей степени, чем ее супруг: она могла говорить самой себе, что природа не велит нам смотреть назад, иначе наши глаза не были бы у нас на лице; все же она оборачивалась, и, видя, что сделала со своей жизнью пылкая Дженни Уэлш, которую Карлейль некогда считал гениальной, она не могла удержаться от рыданий. Когда Карлейль сообщил ей, что встретил на улице в Лондоне самого неожиданного человека, она немедленно угадала: это Джордж Ренни, недавно отозванный с поста губернатора Фолклендских островов. Вновь увидев своего бывшего поклонника, она почувствовала, что ее «яркая, безоглядная, порывистая молодость словно проснулась в ней от его сердечного объятия». Но ненадолго. Миссис Ренни уговорила ее пообедать с ними, и среди звона ножей и вилок и застольной болтовни Джейн уже с удивлением вспоминала, что этот респектабельный, стального серого цвета господин, который угощал ее жареной уткой, чуть не стал ее мужем.

Прошлое преследовало ее, будущее пугало, и она все время была больна: однако было бы ошибкой безусловно верить ее дневнику или игнорировать такие его строки: «На прошлой неделе думала о смерти, эту неделю – в голове одни бальные платья!» Стоило бы также прислушаться к словам Джеральдины Джусбери (которая в 1854 году поселилась на одной из соседних улиц и была, несмотря на все сумасбродства, лучшим другом Джейн): «Милая моя, если вдруг мы с тобой утонем или умрем, и какой-нибудь весьма достойный человек пойдет да опишет нашу „жизнь и заблуждения“, что получится тогда из нас? Какой вздор пошел бы да написал этот „правдивый человек“ и как бы это было непохоже на то, чем мы в действительности были».

*

Пока Джейн писала свой дневник, Карлейль работал у себя наверху, все больше уходя в задачу, которая, чем дальше, тем становилась все тяжелей, неопределенней и неблагодарней. История Фридриха сама по себе была не труднее для исследования, чем история Кромвеля или французской революции; но разочарованный и одинокий и в то же время пламенный и деятельный гений поставил себе целью претворить в ней и весь свой прежний энтузиазм радикала, и свое стремление выразить историю через героя-диктатора, и свое двойственное отношение к волевому действию. Сказано, что писатель, достаточно восприимчивый и внимательный,

способен, описывая человека, идущего по улице, показать всю историю человечества. Также и Карлейлю необходимо было написать историю Европы XVIII века для того отчасти, чтобы объяснить личность Фридриха, главным же образом – чтобы оправдать собственный взгляд на мир.

В работе он теперь соблюдал распорядок, можно сказать, делового человека. Он вставал в разное время, в зависимости от того, как ему спалось, но не позднее семи, обтирался мокрой губкой у себя в комнате, затем шел на прогулку. В восемь он возвращался домой для завтрака. Затем курил и отправлялся в звуконепроницаемую комнату, где оставался до двух. В течение утра служанка иногда носила ему наверх чашку с крепким бульоном или молочный пудинг; впоследствии они были заменены утренним кофе с касторовым маслом. В два часа он шел размяться либо пешком, либо верхом на гнедом Фритце, купленном в 1850 году и в течение нескольких лет бывшем его верным другом. В пять или в шесть обед, за которым обычно следовал короткий сон, беседы с гостями, чтение. Этот порядок оставался неизменным, когда они жили на Чейн Роу, и нарушался, разумеется, во время поездок. В целом большинство писателей не сочли бы такую жизнь чересчур тяжелой; если Карлейль и стонал беспрерывно, то лишь потому, что был убежден: эта, как и всякая литературная работа вообще, не стоила того, чтобы ею заниматься.

Он жаловался действительно громко и подолгу: в дневниках, в письмах родственникам, друзьям и леди Гарриет и, можно быть уверенным, – Джейн. Он жаловался, что Фридрих – неудачная тема; он много раз призывал себя очнуться и восстать, а затем начинал стонать, что ему приходится сидеть над «самой скорбной, самой скучной и невыполнимой работой». Он не мог найти подлинного портрета, который был ему необходим как опора для исследования. Временами удавалось увидеть во Фридрихе нечто героическое, но чаще любые заметки будущей книги казались ему разрозненными и беспорядочными, словно ты в каком-то «густом, зловещем, хаотическом океане, безграничном во всех его трех измерениях», и можно только плыть и барахтаться по направлению к неясной цели.

В этом плавании и барахтании он не остался без помощников. Джозеф Нойберг годами неутомимо работал для книги о Фридрихе: его главной обязанностью было утоление ненасытной потребности Карлейля в подлинных исторических фактах. Он делал выписки и описания различных документов, проверял и устанавливал даты, сопоставлял материал и составлял обзоры газет XVIII века, которые Карлейль вставлял в качестве комического хора. Нойберг был главным помощником, но не

единственным. В конце 1856 года молодой кондуктор парохода из Челси по имени Генри Ларкин предложил составить указатели к объявленному тогда собранию сочинений Карлейля. Предложение было принято. Карлейль позднее говорил, что Ларкин выполнил «всевозможные карты, указатели, резюме, копии и прочую работу – с непревзойденной полнотой, находчивостью, терпением, аккуратностью при полном отсутствии суеты».

Несмотря на такую похвалу, которая сопровождалась и денежными подарками – один раз в 100 фунтов и несколько раз по 50 фунтов, – Ларкин не сумел выйти невредимым из горнила Чейн Роу. Работу над картами он считал столь же ненавистной, сколь приятно было составление указателей. Более того, Ларкин был честным христианином; когда он прислал на Чейн Роу свою статью из газеты о поэзии как воплощении христианского идеала, Карлейль вернул ее автору с «серьезным, почти скорбным видом, но без единого слова»; промолчала и Джейн, и лишь после пыталась объяснить ему бесплодность его идей. В другой раз, прочитав «Опыт о свободе» Милля, Карлейль, «рассерженный, встал из-за стола с книгой в руке и разразился таким потоком ругани, что я был полон ужаса и боли. Он обращался прямо ко мне, как если бы я написал эту книгу, или прислал ему ее, или еще как-либо был с ней связан». И вообще, несмотря на благородство Карлейля, его «царственную щедрость» и безудержный юмор, Ларкин предпочитал общество Джейн: он отметил, что Карлейль вовсе не отличался живостью, которая однажды заставила Джейн оторвать их обоих от работы и привести вниз для того лишь, чтобы поднять перед ними лист бумаги с написанными на нем словами «Первое апреля».

Третий помощник был настолько же безалаберным, насколько те были аккуратны. Звали его Фредерик Мартин. Ему разрешалось брать бумаги домой для переписки, и он украл значительную часть оригинала рукописи о Фридрихе, а заодно и много другого материала, обнаруженного и опубликованного позднее (включая и «Роман об Уоттоне Рейнфреде»), а также несколько сот писем.

В 1858 году, после выхода первых двух томов книги, Карлейль ездил в Германию, но не для исследований в том смысле, как обычно понимается это слово, а с тем, чтобы осмотреть места битв Фридриха.

*

Для Карлейлей стало обычаем проводить рождество в Грэндже в обществе Ашбертонов и их гостей. Но не всякое рождество проходило

столь счастливо, как в тот раз, когда Джейн помогала леди Гарриет наряжать кукол; особенно не удалось рождество 1855 года, последнее, на котором хозяйкой была леди Гарриет. Сперва Джейн сочла оскорбительным, что ей подарили с елки шелковое платье (может быть, она в этот момент думала о жалкой сумме, отпущенной ей на собственный гардероб?); леди Гарриет, выбравшей подарок по совету приятельницы, пришлось отыскивать Джейн в ее комнате и со слезами убеждать, что никакой обиды ей не замышлялось. После этого Карлейль, обещавший, что будет в самом лучшем настроении, начал проявлять признаки беспокойства. В плохом настроении он обычно начинал делать мрачные замечания о луне и звездах; поэтому, когда в рождественскую ночь кто-то заметил, что луна в эту ночь особенно красива и Карлейль ответил: «Да, бедная старушка. Немало месяцев она уже висит над этой планетой», – это не предвещало ничего хорошего. И дурные предзнаменования оправдались: наутро он отказался слушать Теннисона, который собирался прочесть им свою новую поэму «Мод», – он привык по утрам гулять, причем гулять в компании. В то время как остальные гости рассаживались на стульях, готовясь слушать поэму, Карлейль стоял в прихожей, одетый для прогулки, и поджидал себе спутников. Наконец два добровольца любезно встали и присоединились к нему. Возможно, они надеялись услышать какие-нибудь философские наставления: если так, то они были разочарованы, ибо Карлейль твердо хранил молчание.

Тиндаль, тогда подающий надежды тридцатипятилетний ученый, оказавшись на обеде рядом с Карлейлем, завел с ним разговор о достоинствах гомеопатии. Тиндаль вспоминал позднее, что тот не хотел «слушать ни защиты, ни объяснений. Он заклеил гомеопатию как заблуждение, а тех, кто профессионально занимается ею, как мошенников». Его голос гремел, заглушая все возражения, пока Джейн не успокоила его, сказав ему: «тете». Карлейль с большим или меньшим успехом пытался при помощи верховой езды поднять свое настроение: как бешеный носился он галопом по окрестностям и настолько пришел в себя, что с удовольствием принял участие в общей игре, исполняя роль осла. И все же праздник не удался, и по возвращении в Лондон он письменно извинялся перед леди Ашбертон, прося ее «со смиренной и покаянной душой... простить мне мои прегрешения».

Он был прощен. Несколько дней спустя Карлейль уже обменивался с лордом Ашбертоном длинными письмами о военной стратегии Фридриха и передавал свою благодарность принцу-консорту за его милостивое предложение, сделанное через лорда Ашбертона, на время дать Карлейлю

свой экземпляр книги Клаузевица о военном искусстве. За все эти годы добродушный Ашбертон был посвящен во многие из идей Карлейля, пространно и с разумной практичностью изложенные на бумаге (например, о пользе Национальной портретной галереи) ; он принимал их с видимым интересом, но оставлял без последствий. Тайная переписка также продолжалась без перерывов; летом 1856 года Карлейли получили приглашение путешествовать до Шотландии в специальном железнодорожном вагоне, называвшемся «Королевским салоном», который лорд Ашбертон нанял для своей жены, страдавшей, как и Джейн, таинственными болезнями.

Предложение было принято, но принесло Джейн новые обиды; Карлейли ехали вместе с леди Гарриет, но в другом вагоне. Королевский салон занимала одна леди Гарриет; Карлейли же путешествовали вместе с ее домашним доктором и горничной в обычном шестиместном вагоне, сообщавшемся с салоном. На протяжении всего пути леди Гарриет лишь однажды открыла дверь, чтобы выкрикнуть: «Вот Хинчингбрук», когда они проезжали мимо ее родового гнезда. Джейн была взбешена: ее бессильная ярость – ибо она знала, что никакими словами или действиями не может заставить Карлейля иначе относиться к этой семье, столь прочно вошедшей в их жизнь, – была не меньше оттого, что не получала выражения.

Когда они достигли Шотландии, леди Гарриет отправилась в горы, Карлейль к своей сестре на ее ферму в Сольвей, а Джейн – в гости к родственникам в Файф. Всякий приезд в Шотландию будил в Карлейлях воспоминания о прошлом: Карлейль в перерыве между купанием, пешими прогулками и работой над Фридрихом нашел время для сентиментального визита в Скотсбриг, где доктор Джон поселил троих своих пасынков. Джейн в это время встречалась с друзьями и родственниками и плакала, вспоминая собственную молодость, отца и мать. Все могло тем и кончиться, а Королевский салон – забыться, если бы Карлейль не решил на несколько дней съездить к Ашбертонам на озеро Лох-Люхарт. Здесь он еще больше впал в уныние и, жалуясь, писал Джейн, что в гостинной не позволяют разводить огня, что леди Гарриет от любого пустяка «способна дойти до крайностей» и что «нельзя ничего разумного сделать, ничего хорошего прочесть, сказать или подумать». Однако Джейн не сочувствовала ему. «Несмотря на все возражения, в данной ситуации ты, смею сказать, неплохо устроился. Почему же нет? Если ты идешь в какой-нибудь дом, то все знают, что это потому, что тебе хочется туда идти; а если ты там останавливаешься, то потому, что хочешь там остановиться. Ты не „жертвуешь собой, как делают слабодушные добрые люди, ради

удовольствия других“.

Она решительно отвергла предложение леди Гарриет вернуться в Королевском салоне; впрочем, если Карлейль едет с ними, то тогда совсем другое дело: «в таком случае я еду в качестве твоего багажа и не решаю за себя». Кажется, это был первый случай, когда Карлейль понял, что что-то неладно. Проявив необычный для себя такт, он уступил Джейн. Карлейли возвратились в Лондон независимо от Королевского салона.

Леди Гарриет вернулась одна, а вскоре уехала на юг Франции лечиться. Она провела там рождество, но здоровье ее заметно не улучшилось. Ее письма к Карлейлю становятся апатичными, письма Карлейля к ней – встревоженными. Ей делалось то лучше, то хуже. Карлейль узнал, что она страдала от какой-то опухоли и что это неизлечимо. Он отказывался верить, называл врача, поставившего этот диагноз, безграмотным дураком. И вдруг однажды, в мае 1857 года, Монктон Милнз привез на Чейн Роу известие о том, что Гарриет, леди Ашбертон, скончалась в Париже. Многолетний платонический роман закончился.

Чувство Карлейля к ней было лишь частью его страстного стремления найти свое почетное место в рядах аристократии крови и духа, объединившейся ради счастья людей с таким провидцем, как он. Его последнее письмо к ней повторяет в самых страстных выражениях эту мечту, столь далекую от реальной жизни и личности леди Гарриет. Грэндж он предполагал превратить в практическую школу для мальчиков и девочек; лорд и леди найдут себе полезное занятие, и у них не будет больше времени кататься по горам; «где-нибудь на лесной поляне» будет тихо жить Пророк в маленьком кирпичном домике, и ему ничего не будет нужно, кроме как раз в день видеть леди после дневных трудов...

Этим мечтам – в которых, заметим, для Джейн не было места – пришел конец, когда Карлейль стоял у ее могилы в Грэндже. «Adieu, Adieu!» – записал он в своем дневнике. «Ее труд – или, если угодно, тот героизм, с которым она сносила отсутствие труда, – пришел к концу». А Джейн? Похороны, писала она своей подруге в Шотландии, «прошли прямо-таки с королевской пышностью; и все эти мужчины, которые составляли ее Двор, были тут – в слезах!» Однако два месяца спустя, когда лорд Ашбертон передал ей кое-что на память о своей жене, Джейн не могла даже поблагодарить его – она едва сдерживала слезы.

Taken: , 1

Глава восемнадцатая. Конец Джейн

Сегодня день твоего рождения. Дай бог нам увидеть еще много таких дней. Я опять и опять думаю, что мог бы прожить без всех остальных даров судьбы. Эти годы были полны печали: немалый груз отягощал нас, но, пока мы здесь вместе, мир принадлежит нам. Я не посылаю тебе других подарков, кроме этого клочка бумаги, но я мог бы подарить тебе Калифорнию, а сказать этим не больше, чем говорю теперь. Да будет впереди у нас еще много лет, а худшие годы (как говаривал бедный Ирвинг) – позади.

*Томас Карлейль – Джейн Уэли Карлейль, июнь
1857*

Сначала казалось, что смерть леди Гарриет уже не могла изменить домашний уклад на Чейн Роу. Карлейль упорно делал вид, что не понимает происходящего вокруг него: он работал над своей книгой, почти каждый день ездил верхом на Фритце, перед слушателями играл роль пламенного пророка и старался обращать как можно меньше внимания на плохое здоровье и плохой характер жены. Поступая так, он не был бессердечным. Трудно в течение долгих дней, месяцев, лет относиться с нежным сочувствием к тому, кто постоянно жалуется на нездоровье и тем не менее находит силы вести беседу с видимой легкостью и весельем. В своих письмах к семье Карлейль почти всегда упоминает плохое здоровье Джейн и всегда – с большой озабоченностью, но что, в конце концов, можно было поделать! Единственное, в чем его можно упрекнуть после смерти леди Гарриет, это в том, что, столкнувшись с неразрешимой проблемой превращения больной женщины в здоровую, он сделал вид, что этой проблемы не существует.

В конце лета 1857 года Джейн уехала в Шотландию, и туда Карлейль писал ей нежнейшие письма: рассказывал ей, что он присматривает за Неро, дает корм ее канарейкам, ухаживает за ее крапивой и крыжовником, что ему грустно пить чай без нее. Получая эти письма, говорила ему Джейн, она приходила в такое волнение, что хваталась за ближайший стул и садилась, прежде чем могла вскрыть и прочитать письмо. Она была в

восторге от первых двух томов книги о Фридрихе (всего, как было теперь ясно, их будет шесть), полученных ею в корректуре. «О мой дорогой! Что это будет за великолепная книга! Лучшая из всех твоих книг!» – писала она в письме, о котором он вспоминал как о «последнем (а возможно, и первом, почти единственном) проблеске яркого солнца, посетившем мой сумрачный, одинокий, а под конец и вовсе беспроглядно мрачный труд над Фридрихом».

В Челси она возвратилась в лучшем здравии, но всю зиму проболела гриппом, «не прекращавшимся круглый год», вместо обычных восьми простуд, о которых писала Гарриет Мартино. Выздоровливая она медленно: когда подруга ее юности, Бэсс Стодарт, приехала на Чейн Роу навестить Джейн, то при встрече они испытали неприятные минуты. «Она чуть не упала, вскрикнув: „Сохрани господь – Джейн? Это ты?“ Изможденная, бледная, со впавшими щеками, страшно худая, Джейн выглядела так, как будто она с трудом влачит жизнь в этом мире, с которым рада была бы расстаться.

*

Летом 1858 года Карлейль совершил вторую поездку по Германии, снова в сопровождении Нойберга. Поездка длилась месяц, и Карлейль перенес ее с удивительной для своего возраста бодростью и энтузиазмом. По приезде из Германии он сразу же снова ступил в тень Фридриха. Он не обращал никакого внимания на почти единодушную похвалу первым двум томам книги. Печать, которую оставила на викторианском обществе его личность, была видна и в подходе критики к произведениям самого Карлейля: его язык, его разговор, его поведение – все стало легендарным. Критики явились не дать оценку, а выразить свое почтение, Карлейля это мало интересовало.

Эта перемена в отношении к Карлейлю, признание его как фигуры пророческой, видны в том поклонении, которым окружили весь район Челси. Скульпторы и художники спешили сюда, чтобы запечатлеть образы пророка и его жены; литераторы и политики толпились вокруг него. Вечерний чай или беседа в этом доме были обставлены теперь совсем иначе, чем пятнадцать или даже десять лет назад. Пророк иногда взрывался подобно вулкану, разбрасывая пепел и раскаленную лаву; ни один из присутствующих не смел его прерывать, но иногда он успокаивался от одного слова жены, отдохавшей на диване или сидевшей в углу комнаты.

Что хотел пророк сказать? Ничего такого, чего бы он не говорил уже сотни раз: но из слушателей многие были новичками, а остальные были заморожены этим страстным и пламенным красноречием. Самым интересным из новых лиц был Джон Рескин, который, как и Нойберг, звал Карлейля «Мастером». Карлейль считал Рескина талантливым человеком с неосуществимыми идеями и говорил лорду Ашбертону, что «он взрывается, как бутылка с содовой, попадает в глаза разным людям (вследствие притяжения), и они, разумеется, начинают ужасно жаловаться!» Фруд, о способностях которого Карлейль был высокого мнения, был здесь желанным гостем. То же относилось и к таким людям, как Вульнер, Монктон Милнз и Нойберг. Александр Гилкрест, которому предстояло написать биографию Блейка, также приходил сюда; бывали здесь Теннисон и Диккенс. Мнение Карлейля о Диккенсе выросло после выхода «Крошки Доррит» и «Повести о двух городах», которые в беллетристической форме воплощают некоторые из его мыслей. Многие из гостей, однако, были не литераторами, а молодыми политиками, жаждущими совета о том, как следует вести себя благонамеренным британским подданным.

Эти молодые люди находили удивительно близкими идеи, вычитанные ими из произведений Карлейля; и в их присутствии неудавшийся политический деятель яростно обрушивался на океан литературного пустословия. И все же он бывал в целом счастлив, наставляя кавалерийского офицера, как ему обращаться с его эскадром, или разбирая с каким-нибудь военным стратегом одну из кампаний Фридриха.

Пожалуй, менее желанными гостями, чем люди практического действия, были глубокомысленные американцы: одни из них приезжали от Эмерсона, других приводило их собственное преклонение перед Карлейлем или любопытство. К самому Эмерсону теперь, когда тот прочно обосновался в Соединенных Штатах и не собирался больше приезжать в Англию, Карлейль испытывал глубокую привязанность. Статья, написанная американцем, показалась ему «единственным, что можно назвать речью из всего написанного многими людьми в это время», и его обрадовала высокая оценка, данная Эмерсоном Фридриху. Однако ученики Эмерсона, являвшиеся во плоти и крови, производили совсем другое впечатление, и Карлейль научился избегать их всех за несколькими исключениями. Таким исключением был Генри Джеймс-старший, любезный последователь Сведенборга, давший начало странному племени Джеймсов. Генри-старшего легко было шокировать, и создается впечатление, что Карлейль с удовольствием это делал. Однажды Мак Кей, друг Джеймса, в витиеватой

речи благодаривший Карлейля за помощь, которую он получал из его сочинений, услышал в ответ, что философ попросту не верит ни одному его слову; в другой раз бывший унитарий, священник из Массачусетса, неосторожно высказал выстраданное им неверие в реальное существование дьявола и навлек на свою голову риторические громы, которые, казалось, доставили всем громадное удовольствие. Однажды Джеймс, Вульнер и доктор Джон были свидетелями того, как некий англичанин по имени Бульль похвалил в присутствии Карлейля Дэниэля О'Коннела, из-за чего разгорелся яростный словесный бой на целый час. Подали чай, но бой продолжался, пока Джейн не наступила Буллю на ногу, призывая его к примирению; тогда он резко повернулся к ней и спросил, почему она не наступила на ногу мужу. С уходом американцев мир был восстановлен, но часов в одиннадцать Бульль сказал: «Давайте на минуту вернемся к О'Коннелу». Разговор стал, по словам Джейн, «совершенно невыносимым», и, когда на прощание Карлейль протянул руку уходящему гостю, тот его отверг со словами: «Ноги моей больше не будет в этом доме!»

В таких случаях Джейн обычно молчала, вставляя лишь иногда слово примирения или ироническое замечание. Если же она распространялась о каком-либо важном предмете, то повторяла мысли мужа. Герберт Спенсер выражал сожаление, что ее ум был испорчен мужем и заметки Уильяма Найтона содержат среди прочего много замечаний Джейн, которые, будучи собранными вместе, звучат как эхо Карлейля, по до странного не характерны для нее самой. Она мало говорила, но много думала, и в ее мыслях, в том виде, как они отразились в письмах, было немало несправедливых, мелочных претензий к человеку, который, несмотря на всю свою эмоциональную глухоту, всегда любил ее больше кого-либо или чего-либо на свете, и она это прекрасно знала. Она возмущалась и в то же время гордилась тем преклонением, которое он встречал; она часто пыталась поставить его в глупое положение, хотя, надо думать, сама пожалела бы, если бы это ей удалось. Надо помнить, что это была больная женщина; и все же, принимая во внимание все обстоятельства, нельзя не прислушаться к одному из тех метких замечаний, на которые в моменты озарения была способна Джеральдина Джусбери: «Его сердце было мягким, а ее – твердым». По крайней мере, щедрой душой обладал он, она же была более ограничена. Карлейль чувствовал булавоочные уколы, которые так часто и с умыслом делала ему жена. Рассказывают, что однажды в его присутствии говорили о том слепом и неумном обожании, из-за которого жены великих людей так часто выставляли их в нелепом

свете. «Эта напасть, – сказал Карлейль, – меня благополучно миновала».

В годы, прожитые в тени Фридриха Великого («Хотела бы я знать, как мы будем жить, что будем делать, куда ходить, когда эта ужасная задача будет выполнена», – писала Джейн), на общем сером фоне трудов и нездоровья резко выделяются несколько пятен: смерть Неро, вторичная женитьба лорда Ашбертона, несчастный случай с Джейн.

В конце 1858 года тележка мясника переехала Неро, повредив ему горло. Горничная Шарлотта принесла его домой «всего скрюченного, с глазами, неподвижно смотрящими в одну точку». Когда ему сделали теплую ванну, тепло укутали и положили на подушку, то, казалось, не будет более серьезных последствий, чем небольшая склонность к астме, но через месяц или два стало ясно, что он долго не проживет. Карлейль повторял, что для него теперь самое подходящее – «немножко синильной кислоты», но однажды Джейн случайно услышала, как он говорил в саду Неро: «Бедняжка, как ужасно мне жаль тебя! Если бы я смог сделать тебя опять молодым, клянусь душой, я бы сделал!» Наконец даже Джейн стало ясно, что дальнейшее существование – мука для Неро, и доктор, живший по соседству, дал собаке стрихнину. Неро похоронили на холме в саду на Чейн Роу; на могилу положили плиту. Позднее Карлейль вспоминал «последнюю его ночную прогулку со мной; его смутно различимую белую крошечную фигурку в жуткой черноте вселенной». Карлейль был, если верить Джейн, в слезах и признавался, что «неожиданно почувствовал себя растерзанным на части». Джейн в своем горе дала волю чувствам. Карлейль же, как она заметила, довольно скоро успокоился; горничная, три дня ходившая в слезах, на четвертый пришла в себя; только Джейн продолжала оплакивать «своего друга, с которым была неразлучна одиннадцать лет», и вспоминала ту страшную последнюю минуту, когда она поцеловала Неро в голову, прежде чем Шарлотта унесла его, а «он поцеловал меня в щеку». Этот случай толкнул ее на размышления: «Что же случилось с этой маленькой, прекрасной, грациозной жизнью, полной любви и преданности и чувства долга, с жизнью, которая до последней минуты билась в теле этой маленькой собачки? Неужели она должна быть уничтожена, истреблена в одно мгновение, в то время как звероподобное двуногое, так называемое человеческое существо, которое умирает в канаве, презрев все свои обязанности и не дав близким ничего, кроме мучений и отвращения, – неужели оно будет жить вечно?»

В конце письма, содержащего этот вопрос, она написала: «Я оплакиваю его так, как если бы это было мое дитя».

В конце 1858 года Карлейль записал в своем дневнике: «Лорд

Ашбертон опять женился – на некоей мисс Стюарт Маккензи – они уехали в Египет около двух недель тому назад. „О, перемены века, как сказал наш бард Берне, которым летящее время причиной“. Карлейли поехали опять в Грэндж; оба, должно быть, не были расположены думать хорошо о новой леди Ашбертон; но всякое предубеждение против нее развеялось в первый же визит. Второй леди Ашбертон было всего тридцать четыре года; Карлейли могли испытывать к ней родительскую нежность, над которой не довлел образ леди Гарриет, вызывавший в одном преклонение, а в другой – ревнивый страх. Красивая и умная, Луиза обладала кротким и покладистым характером, и ей нетрудно было принять роль любимого ребенка Карлейлей. Джейн, по ее собственным словам, „выдержала пять дней“, не полюбив Луизу; сердце Джейн дрогнуло, когда на пятый день Луиза поднялась в ее комнату и завела с ней беседу – свободно и беспечно, „как простая девушка с гор“. Как и ее муж, Джейн была подвержена снобизму в очень изощренной форме. Чтобы завоевать ее, леди Ашбертон пришлось вести себя, как девушке с гор, то есть признать их равенство и даже почтение к миссис Карлейль. Когда же равенство было признано, аристократическое рождение и связи Луизы могли, в свою очередь, заслужить ей в награду уважение. Леди Ашбертон была, по словам Джейн, поистине любезной и милой женщиной, которая „стремилась гораздо больше к тому, чтобы ее гости чувствовали себя непринужденно и весело, чем к тому, чтобы показать себя и вызвать восхищение“.

Джейн к этому времени была почти знаменитой женщиной, и к тому же супругой знаменитого человека; восхищение такой женщины тонко льстило самолюбию. Как бы то ни было, мы можем поверить, что вторая леди Ашбертон не принадлежала к числу тех, кто считал рассказы Джейн слишком длинными, а согласилась бы с мисс Олифант, биографом Эдварда Ирвинга, в том, что она далеко превзошла даже Шехеразаду, ибо ее рассказы, чтобы быть интересными, не нуждались в вымысле; они были связаны с реальной жизнью жены гения. «Когда выходишь замуж за гениального человека, приходится мириться с последствиями», – написала однажды Джейн, и одним из более приятных результатов такого брака стали десятки рассказов, героиней которых была Джейн, с юмором и не без охоты играющая роль мученицы. При новой хозяйке Джейн всегда рада была посетить Грэндж: к ней относились там с заботливым почтением – и к ее общественному положению, и к ее репутации умной женщины, и к ее здоровью; и все это составляло приятный контраст с действительными или воображаемыми обидами, которые она терпела в прошлом.

Вот кто был друзьями Джейн, и к ним следует добавить еще вечно

преданную Джеральдину – мисс Крыжовник, как недобро шутила над ней Джейн, – которая все так же влюблялась и разочаровывалась. От них она внезапно оказалась отделенной стеною боли, когда в сентябре 1863 года с ней произошел на улице несчастный случай: она поскользнулась на тротуаре, упала и повредила бедро. Мучась от ужасной боли, она приехала домой, но, не желая тревожить Карлейля, послала за Ларкином; Карлейль, однако, спустился вниз, увидел ее и, «ужасно потрясенный», помог Ларкину отнести наверх. Несколько дней больная была бодрой; ее левая рука, которую несколько месяцев назад терзали невралгические боли, теперь почти совершенно бездействовала; веревки, перекинутые через блоки, были приспособлены так, чтобы можно было садиться, а на маленьком столике рядом стояла бутылка шампанского, и она могла при желании выпить глоток. Карлейлю показалось, что Джейн на пути к выздоровлению, когда однажды вечером она поднялась и «выплыла» к нему в гостиную, «сияющая, в изящном вечернем платье, сопровождаемая служанкой с новыми подсвечниками». Однако три или четыре недели спустя она опять была в постели и не покидала ее в течение нескольких месяцев. В это время ее наблюдали несколько врачей, включая местного врача Барнса и модного в то время Квейна. Доктор Квейн посоветовал от невралгии таблетки хинина и мазь для втирания из опия, аконита, камфоры и хлороформа, и касторовое масло каждые 2—3 дня. Он очень охотно ее посещал, отказываясь брать деньги за лечение и прописывал разнообразные лекарства, не дававшие никакого результата. Доктор Варне заявил совершенно откровенно, что сделать ничего нельзя, и Джейн расстроилась, когда поняла, что он считал ее ногой своим пациентом, а руку – пациентом доктора Квейпа. Между тем она не ощущала почти ничего, кроме боли – «неописуемой, не облегчаемой ничем боли», как сказал Карлейль, – настолько невыносимой, что она просила доктора Квейна дать ей яд, чтобы прекратить эту жизнь. Она редко описывала свои страдания, но уж зато «в таких выражениях, как будто для этого не хватало обычного языка». Карлейль сам вел ее переписку, почти ежедневно посылая леди Ашбертон отчет о состоянии больной.

Долгие месяцы тянулись мучения. Джейн почти не спала и, выражая свои страдания, была способна лишь на бессвязные жалобы. Джейн ничего не ела, кроме жидкой пищи, ничего не пила, кроме лимонада, содовой воды и молока с кусочками льда. Ее кузина Мэгги Уэлш приехала из Ливерпуля, чтобы помочь ухаживать за пей. К концу зимы ей как будто стало лучше; даже могла перенести поездку в Сент Леонард в карете для больных, которая напоминала ей катафалк с окном, куда вносят гроб.

В Сент Леонарде она остановилась в доме у доктора Блэкистона, который был женат на Бетси, самой первой их горничной на Чейн Роу. Блэкистоны и Мэгги Уэлш преданно за ней ухаживали, но муки, причиняемые ей загадочной болезнью, были сильнее, чем когда-либо. Записки, которые она нацарапывала мужу левой рукой, подобны крикам агонии. «Я страдаю невыносимо – совершенно невыносимо, – день и ночь от этой ужасной болезни», – писала она 8 апреля, а несколько дней спустя – что ей приходится терпеть «день и ночь сущую телесную пытку». «Где уж тут быть в хорошем настроении или надеяться на что-либо, кроме смерти». Почти во всех этих письмах она говорит о смерти; но по мере того, как мысль о смерти укоренялась в ее сознании, она ощущала желание жить и такую любовь к мужу, какой уже много лет не испытывала. «О мой дорогой, мой дорогой! Смогу ли порадовать тебя? Неужели наша жизнь прошла и кончилась? Я так хочу жить – для того, чтобы стать для тебя чем-то большим, чем была до сих пор; но я боюсь, я боюсь!» В апреле после долгой болезни умер лорд Ашбертон, оставив по завещанию 2 тысячи фунтов стерлингов Карлейлю. (Карлейль все деньги роздал, тщательно записывая каждую сумму – от 10 шиллингов до 50 фунтов – в свою книгу расходов и говоря получателям, что это из фонда, которым ему доверено распорядиться.) Несмотря на свои мучения, Джейн нацарапала записку с соболезнованием Луизе.

В начале мая они сняли в Сент Леонарде дом. Сюда Джейн переехала от Блэкистонов, и Карлейль приехал вместе с доктором Джоном. Никакие муки его жены, никакое горе, никакие тревоги и нежность, выражавшиеся в его собственных письмах, не могли заставить его бросить работу над Фридрихом, которая все тянулась год за годом; закончив огромный пятый том, он обнаружил, что необходим шестой. Он привез с собой в Сент Леонард большой ящик с книгами и, сидя «в маленькой каморке – окно против двери, и оба все время настежь», вполне мог работать, хотя и чувствовал себя «словно вздернутым на дыбе». Джейн выезжала на далекие прогулки вместе с доктором Джоном; Карлейль иногда катался с ними – и тогда она с видимым усилием говорила с ним, по утрам ходил плавать с Джоном, подолгу ездил верхом. Приезжали посетители, и среди них Форстер и Вульнер, но Джейн была слишком нездорова, чтобы видиться с ними.

В начале июля, после многих бессонных ночей, Джейн вдруг решила поехать в Шотландию; Джон сопровождал ее. Казалось, никому и в голову не приходило, чтобы Карлейль мог сопровождать жену в этом бегстве на север; одной из самых интересных черт их жизни в тот период была почти

религиозная вера в то, что работа Карлейля должна продолжаться, ничем не нарушаемая.

Она настолько поправилась, что отметила за много месяцев свой смех, могла сказать несколько колкостей в адрес Джеральдины, осведомиться, перетряхивает ли служанка ее меха, чтоб уберечь их от моли. Она проявляет трогательное доверие к Карлейлю, его частые и блестящие по увлекательности письма немного поднимали ее настроение. Похоже было, что это молодой муж пишет той, кто еще недавно была его невестой, а не шестидесятивосьмилетний мужчина – больной и раздражительной женщине, лишь несколькими годами моложе его. Он называл ее своим сокровищем, своей милой, своей маленькой Эвридикой; он называл ее разумом и сердцем их дома и писал, что не может дождаться, когда она будет рядом с ним. Он рассказывал ей о том, что сделано в доме: она хотела, вернувшись, увидеть новые обои на стенах. Джону, который должен был привезти Джейн домой, он написал очень тактичное письмо, говоря, что «я мог бы и не говорить тебе, что надо быть ласковым, терпеливым и мягким, уступать во всем, как будто это существо без кожи». Первого октября 1864 года Джейн вернулась на Чейн Роу после более чем шестимесячного отсутствия, на ее лице было не отчаяние, а слабая и смущенная улыбка.

То, как ее приняли, удивило ее и тронуло. Доктор Джон неправильно указал время приезда, и Карлейль ждал их уже почти два часа. Он выбежал на улицу в халате и целовал ее со слезами, а позади него стояли служанки, казалось, почти столь же растроганные. Друзья приходили один за другим и плакали от радости по поводу ее выздоровления: Монктон Милнз (теперь лорд Хотон), Вульнер («особенно утомил меня: упал на колени перед моим диваном, и все целовал меня; при этом у него внушительная борода и все лицо мокро от слез!»), Форстер и другие. Леди Ашбертон в первую же неделю по приезде Джейн трижды навещала ее по вечерам, прислала дюжину шампанского и целую корзину деревенских лакомств. Джейн подумала, что замечание, сделанное немкой, должно быть, справедливо: «Мне кажется, миссис Карлейль, что много, много людей нежно вас любят!» А Карлейль? «Не могу сказать, до чего нежен и добр Карлейль! Он занят, как всегда, но как никогда прежде заботится о моем удобстве и покое».

Она прожила еще полтора года, и, возможно, это было, как потом казалось Карлейлю, самой счастливой порой ее замужества. У нее наконец была коляска, о которой Карлейль так часто говорил, и леди Ашбертон, которая уже подарила Карлейлю лошадь взамен Фритца, когда преданное животное, много лет служившее ему, упало и сломало ногу, преподнесла Джейн красивую серую лошадь для коляски. Джейн увидела завершение «Фридриха»; «тихая, слабая, жалобная улыбка» была на ее лице, когда 5 января 1865 года Карлейль отнес на почту последние страницы рукописи. «Будет ли он еще писать?» – спросил Гэвен Даффи, который приехал в то время в Англию из Австралии, где он как министр земель не преминул назвать один город именем Карлейля, а его улицы – именами Томаса, Джейн, Стерлинга и Стюарта Милля. Карлейль ответил, что, по-видимому, больше писать не будет. «Писательский труд в наши дни не вызывает энтузиазма!»

Месяц за месяцем шел 1865 год; Джейн все больше беспокоила ее правая рука: она почти не владела ею. Доктор Квейн уверил ее, что у нее было сильное воспаление, и выписал три разных лекарства, чтобы остановить процесс. Она сказала ему, что доктор Блэкистон не находит у нее никакого органического заболевания, кроме сильной предрасположенности к подагре. «Совершенно верно». Тогда, сказала она, возможно, и с рукой тоже подагра?! Доктор Квейн ответил, что у него нет ни малейшего сомнения в этом. Через день или два он дал ей бокал шампанского, прописал хинин и поездку в Шотландию, раз уж предыдущая поездка так благотворно на нее подействовала. Джейн поехала в Шотландию, где доктор Рассел прямо сказал ей, что рукой она, возможно, никогда не будет владеть вполне. Вернувшись в Лондон, Джейн передала это доктору Квейну, который пришел в негодование. «Откуда может он знать? Никто, кроме господ бога, не может этого сказать». Однако он одобрил отмену хинина и всех остальных лекарств.

Так, в приятной праздности, прошел закат ее жизни: Карлейль, неизменно нежный и заботливый, был тоже свободен, читал Расина и Светония. Джейн ездила гостить к друзьям – и вернулась с мопсом Крошкой. Она очень обрадовалась, когда в начале ноября были объявлены результаты выборов на пост ректора в Эдинбурге:

Томас Карлейль – 657

Бенджамин Дизраэли – 310.

Даффи, который побывал на Чейн Роу, нашел ее в хорошем расположении духа. Карлейль говорил, что он принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на том условии, если ему не придется

произносить речи, но «мадам уверила меня, что речь будет произнесена, когда придет время...». Остальное мы знаем. Утром 29 марта, в пятницу, Тиндаль заехал за ним. Джейн налила в рюмку немного старого бренди, разбавила его водой из сифона. Карлейль выпил. Они поцеловались на прощание...

Taken: , 1

Глава девятнадцатая. Вновь переживая прожитое

Горячий характер, да; опасный в запальчивости, но сколько теплой привязанности, надежды, нежной невинности и доброты укрощают эту горячность. Совершенно искренне, я не думаю, что видел когда-либо более благородную душу, чем эта, которая (увы! увy! не оцененная ранее по достоинству) сопровождала каждый мой шаг в течение 40 лет. Как мы глухи и слепы; о, подумай, и, если ты любишь кого-либо еще живущего, не жди, когда Смерть сотрет все мелкое, ничтожное, случайное с любимого лица, и оно станет так траурно чисто и прекрасно тогда, когда будет уже поздно!

Томас Карлейль. Воспоминания

Часто после смерти своей жены Карлейль предавался размышлениям об огорчениях и скуке, которые ей приходилось терпеть во время того, что можно было бы назвать Тридцатилетней войной с Фридрихом Великим. В последние безмятежные месяцы своей жизни она даже с некоторым юмором рассказывала ему о том, как она лежала на диване ночь за ночью, уверенная в своей скорой смерти; и ночь за ночью приходил он, чтобы выпить глоток бренди с водой, посидеть на ковре у камина, – так, чтобы дым от его трубки уходил в дымоход, – и поговорить с ней... о битве при Мольвице. Он винил себя за невнимание к ней, за свой всепоглощающий интерес к Фридриху, он думал о том, что в последние семь лет «войны» он не написал ни одного, даже коротенького, письма друзьям, не предпринял никакого дела, к которому его не «принуждала необходимость». Это было далеко не так, но правда то, что в этой большой книге, в этом огромном мавзолее под названием «История Фридриха II, короля Пруссии, называемого Фридрихом Великим», Карлейль похоронил свой гений.

Джейн считала, что это величайшая из книг Карлейля; и почти все критики того времени соглашались с ней.

Во всяком случае, размер книги внушал благоговейный ужас: первые

два тома вышли в 1858 году, последний – в 1865-м, и наверняка не осталось ни одного английского критика, который не знал бы о мучениях ее автора в поисках Факта и Правды, его борьбе с горами предрассудков, его сражениях с ужасающими кошмарами ошибок. Это косвенное и, конечно, не намеренное давление на чувства критиков возымело свое действие: мало кто в Англии обладал достаточно глубокой осведомленностью, а тем более достаточным желанием, чтобы критиковать книгу в деталях или скрестить полемическую шпагу с автором над его интерпретацией истории. Книга была сразу же переведена на немецкий язык и, естественно, встречена с теплой признательностью в Германии, в Америке Эмерсон также назвал ее остроумнейшей из всех написанных книг, а Лоуэлл нашел, что портрет Вольтера не имеет себе равных в художественной литературе, в Англии Фруд выразил общее мнение, сказав, что только два историка, Фукидид и Тацит, обладали двойным талантом Карлейля – точностью и силой изображения.

Это восхищение должно удивить всякого, кто откроет «Историю Фридриха II» сегодня. Позиция Карлейля как историка всегда была своеобразной: он не удовлетворялся, пока не находил объяснения событиям в воле божией. Его похвальная приверженность к фактам и вправду была своего рода компенсацией за ту свободу толкования, которую он обычно себе позволял: встречая возражения против своей интерпретации, он мог всегда успокоить себя тем, что много сделал для выяснения фактов.

Факты – святыня, во мнениях же допустима свобода.

«История Фридриха II» – безусловно, творение гениального человека. Тем, кто испугается размера книги, можно смело сказать, что читается она удивительно легко; батальные сцены, как бы ни были они далеки от исторической правды, написаны с поразительной силой; многие портреты исторических личностей – хотя здесь сомнительная точность часто переходит в явное искажение, – запоминаются; почти в каждой главе проявляется его дар иронического преувеличения.

И все же эта книга Карлейля не может не огорчить тех, кто воспринял ту благородную веру в общественную природу человека, которая была выражена во «Французской революции», – может быть, память самого Карлейля об этой вере омрачала и для него работу над новой книгой.

*

Известие о смерти Джейн ошеломило его. Он никогда не допускал

даже мысли о ее возможной смерти, несмотря на долгую болезнь и последовавшую за ней слабость.

В сопровождении Джона он ездил в Лондон и видел ее в гробу; Форстер приложил все усилия к тому, чтобы избежать необходимого в таких случаях мучительного расследования; кучер отвез Карлейля на роковое место и подробно рассказал о том, как все произошло. Его навестил Тиндаль, и в присутствии Тиндаля, когда тело Джейн еще лежало в соседней комнате, Карлейль предался воспоминаниям, описывая борьбу, огорчения и радости прошлого. Порою во время своего повествования он совершенно терял самообладание.

К месту похорон в Хэддингтон его сопровождали Джон и Форстер; 26 апреля 1866 года он похоронил Джейн рядом с ее отцом. Затем он вернулся в Челси и остался там, одинокий и безутешный, в обществе доктора Джона и Мэгги Уэлш, кузины Джейн, приехавшей, чтобы позаботиться о нем. Британия была полна отголосками его эдинбургского выступления, и одним из многих соболезнований было послание от королевы, выражавшей сочувствие и понимание «того горя, которое, увы! ей так хорошо знакомо». Выражая признательность за соболезнование, Карлейль пишет о «глубоком осознании того большого участия, которое Ее Величество проявила ко мне в этот день моей скорби». (Он говорит о том, что для него лучше никому не писать и ни с кем не разговаривать.) Ему казалось, что вся его жизнь лежит вокруг него в развалинах. Из этого оцепенения его вывело письмо от Джеральдины Джусбери, с которого началось самое странное литературное предприятие в его жизни.

Спустя несколько дней после смерти Джейн их общая подруга леди Лотиан попросила Джеральдину написать воспоминания об умершей. Она это сделала или скорее записала несколько случаев из детства Джейн и ее жизни в Крэгенпуттоке, по рассказам самой Джейн; эти записи она и послала Карлейлю, которого они огорчили ошибками в фактах и тем, что он считал слабостью передачи. «Все в конце концов превращается в миф, даже странно, как много уже в этом мифического». Он просил Джеральдину отдать ему эти воспоминания, что она охотно сделала. Через пять недель после смерти Джейн, Карлейль начал править записи Джеральдины, и постепенная правка превратилась в самостоятельный рассказ о Джейн. За два месяца он написал 60 тысяч слов.

Написанное им замечательно разговорной свободой языка, с его неожиданными остановками, отступлениями и восклицаниями. «Почему я вообще пишу, – спрашивает он снова и снова. – Могу ли я забыть? И разве все это я не предназначил безжалостно огню?» Наиболее замечательной

чертой этого произведения является удивительный дар Карлейля – искусство воскрешать. Описывая Сез заметок или справок события, которые происходили, и людей, которых они знали – сорок и более лет назад, – Карлейль воспроизводит и разговор, и события точно так, как он или Джейн писали о них в письмах много лет назад. Не может быть лучшего свидетельства его фотографической памяти на лица, вещи и места, чем это повествование, написанное с приятной иронией в тетради, которой пользовалась Джейн в эти печальные 1850-е. Сила памяти помогла ему еще раз пережить прошлое, отыскивая те обиды, что оп ей нанес, отдаваясь скорби по мере углубления в рассказ. Жизнь в Крэггенпуттоке, которая при взгляде в прошлое, казалась едва ли не счастливейшим временем; отрывочные заметки о друзьях и недругах, которых он годами не видел; переезд в Лондон, дом на Чейн Роу и годы страданий и триумфа, проведенные здесь. Рассказывая об этом, он создал (и сам отчасти поверил в ее существование) Джейн Уэлш иную, чем та колкая, остроумная, разочарованная женщина, чья любовь к нему ни в коей мере не исключала суровости и резкости. «Спасибо, дорогая, за твои слова и дела, которые вечно сияют перед моим взором, но ни перед чьим иным. Я был недостойн твоей божественности; согретый твоей вечной любовью ко мне и гордостью за меня, пренебрежением ко всем прочим людям и делам. О, разве это не прекрасно, все то, что я навсегда утратил!»

Такие восклицания менее приводят в смущение, чем можно было бы ожидать; они искренни и трогательно уместны в несвязном повествовании, которое движется вспять от Челси к отчужденному дому Джейн и ее детству.

В течение пяти дней Карлейль совсем не писал, пока он и Мэгги Уэлш искали и собирали вместе все письма Джейн, которые могли найти; письма «равные и даже превосходящие самое лучшее в этом роде, что мне встречалось; вот свидетельство „таланта“ или „гения“ (или как бы мы ни назвали это) – если моя маленькая женщина хотела доказать его мне».

В августе он гостил у подруги Джейн под Валмером, а зимой принял приглашение леди Ашбертон приехать к ней в Ментону, где она сняла дом. Тиндаль настоял на том, чтобы путешествие было продумано заранее; и он, Тиндаль, сопровождал его в пути, хотя сам мог провести в Ментоне только несколько часов, доставив туда Карлейля. Тиндаль помогал укладывать вещи, тщетно спорил с Карлейлем о том, как следует упаковать пятьдесят длинных курительных трубок, которые он брал с собой; и, можно надеяться, удержался от замечаний, когда только три из пятидесяти прибыли в целости. Тиндаль чинил в Париже скрипящее окно, укутывал Карлейля в овчину в поезде на юг и демонстрировал ему опыт синхронных

периодических колебаний на примере бутылки с водой в поезде. Карлейль внимательно слушал Тиндаля, который с точки зрения новейших теорий объяснял ему голубой цвет неба, а затем задал вопросы, удивившие ученого глубиной проникновения и понимания.

Когда Тиндаль уехал, Карлейль вновь обратился к воспоминаниям – на этот раз об Эдварде Ирвинге, начатым на Чейн Роу. Затем он написал воспоминания о Джеффри и сделал заметки о своих встречах с Саути и Вордсвортом. Ему очень понравилась Ментона и маленький отдельный домик, предоставленный ему леди Ашбертон: впервые он проводил зиму в теплом климате, и его кальвинизм был на старости лет побежден чистотой воздуха и света. Окруженный богатой, яркой, роскошной природой, он воссоздал еще многие картины своего собственного прошлого в воспоминаниях об Ирвинге и Джеффри. Это замечательные автобиографические произведения, ярко рисующие его юность и пору возмужания, когда он столько страдал, но сохранил веру в собственный гений. Когда он писал об обоих этих людях, все напоминало ему о Джейн; о том дне, почти пятьдесят лет назад, когда Ирвинг привез его в Хаддингтон, о радостном визите Джеффри в Крэггенпутток, когда Джейн сказала ему, что пончики, которые он ел, приготовлены ею самой; десяток или сотню других сцен. Но наконец эти описания стали не только мучительны, но и утомительны для него. Он оставил написанное о Вордсворте с такими словами: «Зачем продолжать эти печальные заметки, в которых я не нахожу интереса; если единственное Лицо, которое может меня интересовать... отсутствует! Я кончаю». А в дневнике записал: «Кажется, жизнь моя подошла к концу. У меня нет ни желания, ни сил, ни надежды, ни интереса к дальнейшей работе».

Taken: , 1

Глава двадцатая. Долгое умирание

В целом мне часто кажется, что бедная Англия обошлась со мной насколько могла милостиво.

Томас Карлейль. Воспоминания

Возражать Карлейлю нет смысла. Он так велик – и так стар.

Т. Гексли, из разговора

Его жизнь была окончена, но он не умирал. После смерти Джейн старик жил еще почти пятнадцать лет в прекрасном здравии, но лишенный той движущей силы, той безудержной, иррациональной энергии, которая наполняла его в более молодые годы. Он принимал с покорностью, смешанной даже с некоторым удовольствием, многочисленные почести, оказываемые ему. Его беседы до сих пор признавались многими самым большим чудом, которое им встречалось, – и теперь никто даже не пытался спорить с ним; он ждал смерти с терпением, которое нечасто проявлял в пору своей литературной деятельности. Сама эта деятельность тоже почти пришла к концу. Его последние литературные выступления были написаны столь же страстно, как «Современные памфлеты», но бури они не вызвали. В отношении к Карлейлю произошли таинственные превращения, которым подвергся в Англии за последние два столетия не один мыслитель: всеобщее признание его величия избавило почитателей от необходимости принимать его всерьез. «Они называют меня великим человеком, – говорил он Фруду, – но ни один не делает того, что я им говорю». Теперь он перестал им говорить. Письмо в «Тайме» во время франко-прусской войны, затем одно-два письма по поводу русско-турецкой войны, несколько набросков о норвежских королях – и на этом его публичные выступления закончились.

Умолкнувший пророк не был обойден почетом. Однажды, в 1869 году, в Чейн Роу приехал настоятель Вестминстера Стэнли с женой леди Огастой, чтобы сообщить Карлейлю, что очень высокая особа – даже высочайшая особа – выразила желание встретиться с ним; он понял, что ему предстояла аудиенция у королевы. Ровно в назначенное время он явился к дверям дома настоятеля, и в пять часов королева «вошла в комнату

какой-то плывущей походкой, так что ноги совсем не видны», сопровождаемая принцессой Луизой и вдовствующей герцогиней Атолл. Тут же были геолог сэр Чарльз Лайел, историк Гроут, оба с женами, а также Браунинг. Королева сказала каждому из них по нескольку слов: Браунинга, который только что выпустил необыкновенно длинную поэму «Кольцо и книга», она спросила: «Вы что-нибудь пишете сейчас?» Дамы сели, мужчины остались стоять, всем подали черный мутный кофе. Было уже почти шесть часов, когда леди Огаста позвала Карлейля, который не привык так долго стоять, и сказала, что ее величество хочет говорить с ним. Королева первым делом сказала, что шотландцы – умный народ, на что Карлейль ответил, что они, как все, не умнее и не глупее других. Наступило неловкое молчание, которое нарушил Карлейль, сказав: «Мы сможем гораздо лучше продолжать разговор, если Ваше Величество позволит мне как немощному старику сесть». К ужасу присутствующих, он пододвинул себе стул и сел. Как говорила шокированная, но полная восхищения леди Огаста, это был, несомненно, первый случай, когда кто-либо из подданных обратился к королеве с подобной просьбой. Разговор продолжался, но с заминками; когда же королева встала, чтобы уйти, оказалось, что край ее платья попал под ножку стула, на котором сидел Карлейль. Аудиенция, как говорил потом Стэнли, прошла не очень успешно; когда Джеральд Блант, священник из Челси, спросил Карлейля, читала ли королева его книги, тот ответил: «Она, возможно, читала много книг, но мои – вряд ли».

Философ был теперь фигурой, хорошо известной и очень почитаемой в Челси. «Прекрасный старый джентльмен – тот, что вошел сейчас вместе с вами, – сказал Фруд кондуктор одного автобуса. – Мы здесь в Челси его очень уважаем, да».

Фруд был в это время его основным собеседником и спутником на прогулках. Будучи историком с острым драматическим чутьем, Фруд показывал свои работы Карлейлю, который делал меткие, но доброжелательные замечания. Портрет Карлейля, нарисованный Фрудом, отличается от других тем, что в нем подчеркивается то сочувствие к нищим, которое Карлейль проявлял в жизни, но отрицал в своих сочинениях. Человек, который в прошлом имел привычку класть две гинеи на каминную доску перед приходом Ли Ханта, чтобы эссеист мог взять их, не испытывая неприятной необходимости просить, – этот человек давал деньги всем, кого заставлял в бедственном положении. «Давать мы должны ради самих себя», – сказал он Фруду после того, как они подали нищему слепцу, которого собака немедленно повела в пивную. «Эти несчастные существа совсем на мели, это ясно». Он говорил речи, при этом раздавая

шестипенсовые монеты оборванным детишкам, которые тут же разбежались с его монетами по каким-то темным сомнительным улочкам. Однажды, когда Карлейль гулял в Кензингтонском саду вместе с Фрудом и американцем Томасом Хиггинсоном, какой-то оборвыш окинул взглядом две прилично одетые фигуры и, остановившись на Карлейле, в старой фетровой шляпе, поношенном сюртуке и клетчатой жилетке и брюках из грубой серой материи, спросил: «Дяденька, можно мы поваляемся здесь, на травке?» Мудрец, опершись на трость, наклонился к ребенку и ответил: «Да, дружок, валяйся на здоровье».

После Фруда самым частым и самым постоянным посетителем Чейн Роу был ирландский поэт Уильям Эллингем. Карлейль несколько лет пытался заставить этого чувствительного и тонкого поэта, впрочем второстепенного, взяться за вовсе не подходящую ему задачу и написать историю Ирландии. «Через десять лет у вас может получиться прекрасная книжка, – сказал он и добавил небрежно: – Если у вас и есть поэтические способности, они проявятся в этой форме...» Эллингем, служивший таможенным офицером, не имея к этому, как он грустно замечал, «ни малейшей склонности», долгое время прилежно собирал материал, но истории так и не написал. Он с гораздо большим удовольствием делал заметки, которые могли бы пригодиться для биографии Карлейля. «Говорят, мистер Эллингем будет вашим Бозвеллом», – сказала Карлейлю Мэри Эйткин, на что тот ответил: «Что ж, пусть попробует. Он очень аккуратный человек». Правда, чувствительность, которой обладал Эллингем, не вызывала уважения у Карлейля, и поэту приходилось терпеть жестокие поношения в адрес самых любимых своих писателей и самых дорогих убеждений. Когда Эллингем выразил свое восхищение биографией Китса, написанной Милнзом, Карлейль возразил: «Это говорит только о вашей глупости». Если Эллингем толковал о поэтической технике, Карлейль выражал свое презрение к ней; когда Эллингем называл Шелли «звездой на моем небосклоне», Карлейль спокойно замечал, что Шелли начисто лишен поэтического дара. Кажется, стоило лишь Эллингему выразить какое-либо мнение, как Карлейль начинал громить его. Но ни эти разносы, ни случившееся однажды неприятное недоразумение, когда Карлейль, приняв Эллингема за случайного посетителя, закричал: «Уходите, сударь! Мне не до вас!» – не могли заставить поэта отказаться от желания назвать своего сына Джеральдом Карлейлем Эллингемом. Его жене было милостиво разрешено нарисовать портрет Карлейля.

Ее портрет был столь же неудачен, как и работы более известных художников. В 1868 году Г. Ф. Уотс написал портрет, который сам Карлейль

называл изображением «безумного шарлатана, исполненного жестокости, неуклюжести, свирепости и глупости, безо всякого сходства с какой-либо моей чертой, известной мне». Через девять лет Д. Э. Миле начал портрет, который Карлейлю нравился, но остался незавершенным. Намного лучше других портрет кисти Уистлера (правда, личная неприязнь Карлейля к художнику не позволила ему по достоинству оценить и портрет) : на нем изображен усталый, покорный, почти библейский старик, одетый в просторное пальто и со шляпой на колене.

В записанных им беседах Эллингем так же, как и Фруд, показывает нам несколько более размягченного Карлейля, в некоторых отношениях вернувшегося к радикализму своей молодости. К удивлению и досаде Эллингема, Карлейль поддержал забастовку сельскохозяйственных рабочих в 1872 году; он высказывался против принуждения; он сказал, что, прочитав «Права человека», согласился с Томом Пейном. Наедине с самим собой он записал в своем дневнике вопросы к «Американской Анархии». Это было огромно, шумно и уродливо, но не было ли в этом необходимости? Разве мог бы даже героический Фридрих строгим управлением добиться того, чего добивалась эта анархистская Америка? Он отвечал сам себе: «Нет, никоим образом».

Навещать его приходили друзья – Рескин, Тиндаль, Форстер, Монкюр Конвей, Лесли Стивен, Браунинг. Карлейль прочитал все четыре книги «Кольца и книги) от начала до конца, не пропустив ни слова. Вскоре он встретил Браунинга на Пиккадилли и с гордостью сообщил ему о своем достижении. „Вот как! Неужели?“ – сказал Браунинг, а Карлейль продолжал, что в книге чувствуется необычный талант и бесподобная искренность. „После этого, уверенный в искренности моих собственных мыслей, я продолжал, что из всех странных книг, написанных на этой безумной земле кем-либо из сыновей Адама, эта – самая странная и самая нелепая по форме. Да и где это, спрашивал я, думаете вы найти вечную гармонию? Браунингу, кажется, не понравилась моя речь, и он распрощался со мной“. Не раз в Челси приходил Тургенев, и Карлейль признал в нем превосходного оратора, „далеко превосходящего всех, кто так много говорит“. Старик поддерживал переписку с леди Ашбертон, хотя из-за усиливавшегося паралича правой руки писать было затруднительно, а позднее и вовсе невозможно. Все его письма с этих пор диктовались Мэри Эйткин. А писем приходилось писать много: молодым барышням, желавшим получить сведения о переводах Гете; другим молодым барышням, впавшим в уныние, которым надо было говорить, что работа – лучшее лекарство; и, разумеется, начинающим писателям, на которых у

Карлейля не хватало терпения. „Мистер Карлейль просит меня передать вам, что никогда в своей жизни он не слышал ничего более безумного, – писала одному из них Мэри Эйткин. – Он советует вам ни в коем случае не бросать вашей теперешней работы. Он считает, что это было бы лишь немногим менее глупо, чем бросаться вниз с вершины Монумента в надежде полететь“.

Ему хватало посетителей и, если бы это его интересовало, занятий. Но его мысли по большей части были прочно заняты прошлым, ушедшей жизнью и ушедшими людьми. С каждым годом редело число тех, кто мог вместе с ним оживить память о прошлом и о Джейн, В 1867 году умер Нойберг и тогда же – Джон Чорли, который некогда озабоченно носился вверх и вниз по лестницам, руководя постройкой звуконепроницаемой комнаты; в 1870 году скончался Диккенс, и Карлейль говорил, что с тех пор, как умерла Джейн, ни одна смерть не обрушилась на него столь тяжелым ударом, как эта; в 1872 году ушел Маццини, а через год – Милль, оставив старику воспоминания, мучительно-ясные, о красивом итальянце с горящим взором, который сидел в Чейн Роу на диване и говорил о солидарности народов, о скромном молодом Милле, с его серьезной улыбкой, от которого он позднее совершенно отошел. «Карлейль отвернулся ото всех своих друзей», – сказал Милль Монкюру Конвею, но в личных отношениях скорее Милль отвернулся от Карлейля. В разговоре с американцем Чарльзом Нортоном Карлейль сбивчиво говорил о достоинствах Милля: его нежности, его щедрости, скромности, его желании помочь в работе над «Французской революцией»; в письме брату Джону он грустит, что «огромная черная пелена скорбных, более или менее трагических воспоминаний опустилась надо мной: бедный Милль, и он тоже сыграл свою маленькую Драму Жизни у меня на виду, и эта сцена закрылась перед моими старыми глазами». К его восьмидесятилетию сто девятнадцать почитателей (список их включал Эллингема, Браунинга, обоих Дарвинов, Джорджа Элиота, Гексли, Гарриет Мартино, Ричарда Квейна, Теннисона и Тиндаля) преподнесли ему золотой медальон с портретом и адрес, в котором говорилось, что он в своей жизни хранил достоинство Героя как Литератора. Леди Ашбертон и несколько друзей подарили ему часы. «Э, какое мне теперь дело до Времени?» – сказал он.

*

Ему и вправду мало до чего было дела. Последние шесть лет жизни

представляют собой ровный и в общем спокойный и тихий путь к желанной смерти. Он не мог уже пройти больше нескольких сот ярдов; он почти совсем не мог пользоваться правой рукой; с сознанием приближающейся смерти к нему пришло и спокойное примирение с теми обязанностями и обязательствами, которыми он когда-то невыносимо тяготился. В течение одной и той же недели он ходил на похороны Форстера и свадьбу Тиндаля, которому было теперь за пятьдесят. В бытность свою молодым и сильным он даже не подумал бы явиться. Он также присутствовал на похоронах леди Огасты Стэнли в Вестминстерском аббатстве и сидел рядом с архиепископом Кентерберийским. Фруд заговорил о том, чтобы его самого похоронить в Вестминстерском аббатстве, но Карлейль обсуждать этого не хотел, говоря: «Оттуда и так скоро устроят грандиозный побег». Своему брату Джону он сказал, что место для своей могилы он выбрал много лет назад. «В моем завещании сказано, чтобы меня положили на церковном кладбище в Эклфекане, поближе к отцу и матери». В 1876 году он получил известие из Канады о смерти его брата Алека, который в предсмертном бреду спрашивал: «Приедет завтра Том из Эдинбурга?»

Столь многих уже не было, а он все оставался; обычно погруженный в меланхолию, но все еще способный проявить интерес: когда ему сказали, будто Дизраэли замышляет впутать Англию в русско-турецкую войну, он принял сторону русских. Еще раньше Карлейль написал письмо в «Тайме», обличая «Ужасного Турка», теперь он столь же бурно, как в былые времена, высказался в адрес Дизраэли.

Он не мог писать и неспособен был уже диктовать. «Слов уходит вдвое больше, а смысл наполовину не становится яснее. Я должен просто сидеть и страдать, пока меня не призовут отсюда». Элен Эллингем он сказал однажды при прощании: «Что ж, желаю вам всяческого благоденствия и чтоб вы не дожили до восьмидесяти двух лет». Много времени он проводил за перечитыванием Шекспира, Гете и Гиббона.

Он не мог уже выезжать па прогулку. Рескин приезжал навестить его и целовал руки человека, которого по-прежнему звал Мастером. Когда Фруд сказал, что ему нельзя простужаться, Карлейль ответил, что рад был бы простудиться и умереть и таким образом покончить со всем этим. Но он не простудился и не умер; ему стало лучше, и он поехал в Скотсбриг повидать доктора Джона, который был очень тяжело болен и даже пригласил к себе врача. «Но ты же знаешь, что он не верит в медицину», – сказал Карлейль. В течение лета братья встречались почти ежедневно; однако вскоре после возвращения в Челси Карлейль получил известие о смерти Джона.

Несомненно, он глубоко переживал утрату, но выразить свою печаль в дневнике он уже не мог.

Его участие в разговоре – его, который когда-то заглушал голосом своих противников, – сводилось лишь к самым лаконичным ответам. Когда его хотел посетить принц Уэльский, Карлейль отказал. «Я слишком стар. С таким же успехом он сможет полюбоваться моим бедным старым трупом», – сказал он.

В эти последние месяцы – а он угасал не недели, а месяцы – он раздумывал о возможности существования адского огня. В конце концов, его отец верил буквально в реальность ада, а более мудрого человека, чем отец, он не знал. Но и это, как все прочее, мало занимало его. Когда Фруд пришел и рассказал ему о новых беспокойствах в Ирландии, он слушал безучастно. «Это не интересует вас?» – спросил Фруд, и он ответил: «Нисколько». Тиндаль принес бренди и сигару, которой старик с удовольствием попыхтел. Вскоре после того, как ему исполнилось восемьдесят пять, его кровать перенесли в гостиную. Он не мог уже принимать пищу и питался бренди и водой, да воздухом. В таком состоянии он пробыл три недели на попечении племянницы и ее мужа. Сообщения о его здоровье вывешивались снаружи дома, чтобы отвлечь посетителей. Наконец в четверг, 2 февраля, он впал в глубокое сонное забытие, которое прервалось лишь на один момент, когда племянница услышала его слова: «Так вот она, Смерть, – что ж...» Почти два дня он пролежал в забытии, и в субботу утром, между 8 и 9 часами, его долгое путешествие окончилось.

Taken: , 1

Глава двадцать первая. Судьба пророка

Как раз в этот момент мы проходили по Черч Лейн, где когда-то жил Свифт, и Карлейль взволнованно заговорил о нем. Он назвал его человеком, выдающимся во всех отношениях, и с горечью говорил о том, как он был раздавлен «под гнетом дурной эпохи»; затем он добавил со вздохом: «Это – не единичный случай». Монкюр Конвей. Автобиография

Итак, его похоронили, по его собственному желанию, в Эклфекане, и снег тихо припорошил могилу. Известие о его смерти вызвало отклики во всем цивилизованном мире. То была дань почтения мыслителю, нравственному учителю, провидцу; но также это была и дань человеку, чья жизнь, по их мнению, воплощала основные моральные ценности девятнадцатого века – трудолюбие, мужество и, главное, – непогрешимую честность, – которые, по тогдашнему убеждению, были залогом душевного покоя и чистой совести. Прошло всего несколько недель после смерти – и все эти представления были разрушены появлением его «Воспоминаний», изданных Фрудом: а именно, его записок о Вордсворте и Саути, его эссе об отце, Джеффри и Ирвинге, пространных полуавтобиографических воспоминаний о Джейн. Литераторы почувствовали себя задетыми резкими замечаниями о них и литературе вообще; но основной интерес сосредоточился на его биографии Джейн, на раскаянии, которое Карлейль явно испытывал по поводу своего обращения с ней.

В результате, когда два первых тома биографии Фруда, которую все ждали с нетерпением, наконец вышли, они вызвали: досаду у почитателей Карлейля, а у всего читающего мира – изумление. Дело в том, что Фруд, самый преданный и после Рескина, несомненно, самый выдающийся из учеников Карлейля, нарисовал его неуживчивым, себялюбивым человеком, охваченным жалостью к самому себе; человеком, погруженным в собственные мысли, часто отравляющим жизнь тем, кто жил рядом с ним.

Такова ирония судьбы этого пророка: ирония довольно жестокая по отношению к человеку, который был озабочен тем, чтобы о нем не было написано ни одной биографии, и который говорил, что скорее перережет себе горло перочинным ножом, чем подумает писать автобиографию.

Влияние девятнадцатого столетия на Карлейля было, несомненно, велико, хотя правда также и то, что между ними существовало взаимодействие, то есть что и Карлейль оказал влияние на современное ему общество. Карлейль говорил о «гнете дурной эпохи» на Свифта, и, разумеется, в какой-то степени общество всегда влияет на своих художников. Но только с началом второй трети девятнадцатого века искусство в Англии начинает все менее выражать чувства народа, а все более превращается в продукт, специально выработанный для массового употребления, в то время как собственно «искусство» становится кастовой привилегией. Переход этот был в викторианской Англии медленным, но тем не менее он совершался. И внутренний и общественный гнет заставил Карлейля избрать столь необычный стиль, который символизировал одновременно его внутреннюю смятенность и раскол общества. Под этим гнетом человек, веривший, что он должен сообщить пророческую истину, прибег к форме выражения, которая иногда напоминала Ирвинговых прорицателей, вещавших на непонятных языках.

Причина, по которой Карлейля читают сегодня, состоит, помимо чисто биографического интереса, в его общественном призыве. Однако этот призыв интересен не как боговдохновенное пророчество (как представлял себе сам Карлейль), но как объяснение происходивших тогда общественных процессов, более близкое к их сути, чем у большинства его современников. Понятый буквально, подход Карлейля к проблемам общества выглядит весьма странным. Он и сам приходил в негодование, когда ему говорили, что по нему выходит, будто сильный всегда прав: его мысль, отвечал он сердито, заключается в том, что правда – «вечный символ силы». Таков был принцип, на котором согласно Карлейлю держался смысл истории.

Никому так и не удавалось ответить на вопрос, заданный Эразмом Дарвином: «В конце концов, что за религия такая у Карлейля? – да есть ли она у него вообще?» Карлейль неоднократно повторял до самого конца жизни, что Гиббон открыл ему ложность ортодоксального христианства; он не верил в воскресение души; за исключением минутного колебания перед самой своей смертью, он всегда считал большим благом отрицание ада. За много лет он ни разу не вошел в церковь. И все же: «Я чувствую глубоко в себе слабую, но неистребимую искру веры в то, что есть „особое провидение“. Я верю в это, и как будто искренне – к собственному своему удивлению».

Его выводы относительно природы и праведного устройства общества были таковы, что вполне могли быть сделаны атеистом. Но, найдя верный

ответ, он немедленно ставил на нем печать божественного одобрения. Его интеллект трудно постигал новое, но поражал широтой осмысления и глубиной познаний. Благодаря этому, а также обстоятельствам своих ранних лет, он приобрел такую глубину проникновения в природу общества, с которой его религиозные представления или упования никак не были связаны. В эпоху, когда большинство мыслителей верило в то, что мир может изменить добрая воля, он постиг ту основу силы, на которой зиждется всякое общество. В эпоху, когда политэкономы думали, что промышленная революция автоматически приведет к благоденствию, он понял, что она влечет за собой свержение устоев общества. В эпоху бесконечных отвлеченных споров о том, какая степень свободы допустима для индивидуальной личности, он увидел, что свобода достигается одним социальным классом за счет другого и что она не отвлеченная идея, а конкретная реальность.

Таковы истины о природе общества, которые добыл Томас Карлейль, добыл путем умственного постижения и логических рассуждений. Этими истинами можно воспользоваться по-разному. Карлейль повернул их от уважения к народным массам к неверию в них, от ненависти к проводящей время в забавах аристократии – к надежде, что в ее недрах когда-нибудь вырастут спасители Англии. Все это с грустью приходится отмечать, и все же это не умаляет открытых им истин. Он потерял не ту лампу, но волшебник он был настоящий.

Taken: , 1

Комментарий Е. Сквайре

1. Дизраэли, Бенджамин (1804—1881) – лидер земельной аристократии (тори); в 1868 году впервые избран премьер-министром Англии, но уже в декабре того же года уступил пост Гладстону. Вторично вернулся к власти в 1874 году. Во время правления консерваторов Англия закрепила свои права на Суэцкий канал, добилась провозглашения королевы императрицей Индии. Колониальные войны, экономический упадок и ирландская проблема привели к тому, что к власти вновь вернулись либералы во главе с Гладстоном в 1880 году.

2. Гладстон, Вильям Эварт (1809—1898) – вождь либеральной буржуазии. Политическую карьеру начал как тори, но позднее перешел на сторону либералов (виги), выразивших интересы промышленной буржуазии. В течение многих лет соперничал с лидером консерваторов Дизраэли за пост премьер-министра. Так, в 1880 году Гладстон вторично стал премьер-министром как кандидат от графства Мидлодиан, в Шотландии; тогда же им и были произнесены знаменитые речи, о которых говорится далее.

3. «пятичасовая речь Шеридана, обличавшего Уоррена Гастингса...» – английский драматург Р. Б. Шеридан (1751—1816) как член парламента был в числе либеральной оппозиции, привлечшей в 1788 году к судебной ответственности первого генерал-губернатора Индии Уоррена Гастингса (1732—1818) по обвинению в жестокости с местным населением, взяточничестве и прочих злоупотреблениях.

4. Уилки Коллинз (1824—1889) – английский писатель, родоначальник детективного жанра, автор романов «Женщина в белом» (1860), «Лунный камень» (1868) и других. Младший друг Диккенса и его ученик.

5. Пуританизм – англо-шотландская разновидность кальвинизма (одной из ветвей протестантизма) – в большой степени формировал образ мыслей и привычки людей, особенно в Шотландии. Более радикально и последовательно проводя политику демократических мелкобуржуазных слоев, пуританизм, в отличие, например, от лютеранства в Германии, ставил личность в жесткие морально-этические рамки. Идеалом пуританизма была деловая, будничная, строго размеренная жизнь, исключая всякую праздность, – «честная» жизнь аскетизма, «весь секрет которого, – по словам Энгельса, – состоит в буржуазной бережливости» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 378). Отсюда

отрицательное отношение пуританизма ко всякого рода увеселениям, включая равным образом игру в карты и искусство, например, театр, романы (у Карлейля оно в разной степени проявляется в течение всей его жизни). Недоверие Карлейля к искусству было вызвано воспитанными в нем пуританскими моральными представлениями, а его потребность выразить себя в художественной форме (во всем его творчестве начиная с попытки написать роман – «Роман об Уоттоне Рейнфреде», закончившейся, кстати, неудачей) приходила в конфликт с этими представлениями, рождая чувство вины,

Стремление Карлейля найти божественное оправдание или одобрение своим политическим идеям также согласуется с доктриной кальвинизма: «Если государство повинуетя церкви, – говорит Кальвин, – то оно столь же необходимо для человека, как пища, питье, солнце и воздух, ибо оно установлено богом, а правящие лица – представители бога на земле».

6. Робертсон, Вильям (1721—1793) – шотландский историк, написал, кроме «Истории Карла V» (1769), которую читал Карлейль, еще прославившую его «Историю Шотландии» (1759), «Историю Америки» (1777) и другие работы.

7. В университетах Шотландии во времена Карлейля была принята своеобразная система обучения, позволявшая выходцам из бедных семей, а они составляли большинство учащихся, получить образование. При этой системе студенты могли большую часть года заниматься дома самостоятельно, одновременно зарабатывая крестьянским трудом или преподаванием (как Карлейль), и приезжать в университет лишь на три месяца в год на экзамены и для посещения лекций. При этом можно было менять курс по своему усмотрению, чем также воспользовался Карлейль.

8. Гиббон, Эдвард (1737—1794) – английский историк и политический деятель, обнаруживал в своем труде «История упадка и разрушения Римской империи» резко отрицательное отношение к христианству.

9. Джеймсон, Роберт (1774—1854) – шотландский ученый-естествоиспытатель. С 1804 года до самой смерти заведовал кафедрой естественной истории Эдинбургского университета. Вместе с Брюстером (см. комм. 11) основал в 1819 году «Эдинбургский философский журнал». Автор книг по геологии и минералогии.

10. Карлейль посещал заседания Эдинбургского Королевского общества, созданного в 1783 году по инициативе историка В. Робертсона (см. комм. 6) для обсуждения вопросов по всем отраслям знаний.

11. Брюстер, сэр Дэвид (1781—1868) – выдающийся шотландский ученый-естествоиспытатель, известный своими работами почти по всем

разделам оптики. Хорошо знакомый всем калейдоскоп изобретен им в 1816 году.

12. Питт, Вильям (1759—1806) – английский политический деятель, впервые стал премьер-министром Англии в возрасте 25 лет. Политический авторитет и власть Питта были огромны. В первые годы войны с Наполеоном успешно руководил политикой Англии, но победа Наполеона под Аустерлицем в 1805 году была для него тяжелым ударом, которого он не пережил. Питту принадлежат знаменитые слова, сказанные им перед смертью: «Сверните карту Европы, в ближайшие 10 лет она вам не понадобится».

13. «...слогом, заимствованным у Джонсона...» – доктор Сэмюэль Джонсон (1709—1784), знаменитый английский ученый (автор «Словаря английского языка»), журналист (основатель журнала «Болтун»), литератор (один из основателей знаменитого Литературного клуба), прославился не только своими трудами, но и колоритной личностью и живыми, остроумными беседами (в форме беседы, диалога с читателем был построен и его журнал «Болтун»). Богатую речь Джонсона, его юмор и мудрость запечатлел его биограф Бозвелл в книге «Жизнь Джонсона».

14. «события в Питерлоо...» – избиением при Питерлоо называли по аналогии со знаменитой победой при Ватерлоо события в Сент Питерс Филде, близ Манчестера, где 16 августа 1819 года при разгоне рабочей сходки было убито 11 человек и около 600 ранено.

15. «заговор на улице Катона...» – заговор с целью убийства ряда министров, раскрытый лондонской полицией в 1820 году.

16. Имя Джеймса Бозвелла (1740—1795) стало в Англии нарицательным в смысле «образцовый, дотошный биограф», каким он и был в действительности в отношении доктора Джонсона так же, как, например, Эккерман по отношению к Гете.

17. Вольмар и Сен-Пре – герои романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» (1761), в котором проповедуются равенство полов и свобода семейных отношений. Юлия, жена богача Вольмара, влюбляется в бедного учителя Сен-Пре. Благородный Вольмар оставляет влюбленных вдвоем, но они решают не нарушать семейных уз.

18. Джон Нокс (1505—1572) – знаменитый деятель шотландской Реформации, пытался обратить в кальвинизм Марию Стюарт. Сэр Вильям Уоллас (ок. 1274—1305) – прославленный вождь шотландских патриотов в борьбе против англичан. Нанеся поражение войскам Эдуарда I Английского, Уоллас стал правителем Шотландии. По обвинению Эдуарда в измене был повешен, четвертован и обезглавлен.

19. Лод, Вильям (1573—1645) – архиепископ Кентерберийский, был ярким противником пуританизма и демократии. Фокс Джордж (1624—1691) – сапожник по профессии, основатель Общества Друзей, или Квакеров. В 1855 году его допрашивал Кромвель и нашел его взгляды безупречными.

20. Боадичея – королева древних бриттов, которая ок. 60 года н. э. возглавила восстание против римлян.

21. «Осада Каркассоне...» – здесь имеется в виду эпизод из «Истории итальянских республик» Ж.-Ш. Сисмонди (1773—1842). Выдающийся историк своего времени, Сисмонди был родоначальником того реакционного экономического романтизма, к которому принадлежал Карлейль. Именно в отношении Сисмонди В. И. Ленин разъяснял термин «реакционный»: «Этот термин употребляется в историко-философском смысле, характеризуя только ошибку теоретиков, берущих в пережитых порядках образцы своих построений. Он вовсе не относится ни к личным качествам этих теоретиков, ни к их программам. Всякий знает, что реакционерами в обыденном значении этого слова ни Сисмонди, ни Прудон не были. Мы разъясняем сии азбучные истины потому, что гг. народники... до сих пор еще не усвоили их себе» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 211).

22. Кэннинг, Джордж (1770—1827) – английский государственный деятель, чья блестящая карьера не прерывалась с 1794 года, когда он впервые вошел в парламент как сторонник В. Питта, и до самой его смерти. Кэннинг, обладавший влиянием в политических кругах, сам имел репутацию блестящего оратора, которую заслужил в 1798 году своими речами в пользу отмены работорговли.

23. Хук, Теодор (1788—1841) – английский писатель и драматург, знаменитый своими шутками, каламбурами, розыгрышами.

24. Де Квинси, Томас (1785—1859) – влиятельный литератор, критик, известный «Исповедью любителя опиума».

25. Савонарола, Джироламо (1452—1498) – итальянский монах, религиозный проповедник и реформатор. Так же, как Ирвинг, он в своих проповедях обвинял имущие классы в утрате веры, в глухоте к нуждам низов и, предсказывая скорую катастрофу, призывал к отречению от мира.

26. Кэмпбелл, Томас (1777—1844) – знаменитый шотландский поэт. Особенной популярностью пользовались песни на его стихи. Стихотворение «Гогенлинден» написано им по поводу битвы у деревеньки Гогенлинден в Баварии 3 декабря 1800 года, в которой армия французского генерала Моро наголову разбила австрийские войска.

27. Кольридж, Сэмюэль Тейлор (1772—1834) – английский поэт и

критик, основавший вместе с Вильямом Вордсвортом (1770—1850) и Робертом Саути (1774—1843) так называемую Озерную школу поэтов. Борясь с классицистическим штампом, эти поэты-романтики воспевали родную природу, разрабатывали национальные сюжеты, создавали новый поэтический язык.

Приведенный далее словесный портрет Кольриджа, данный Карлейлем, интересно сравнить с впечатлением другого современника, литератора Вильяма Хэзлита, относящимся, правда, к более раннему времени: «У него был высокий, широкий и ясный лоб, как бы изваянный из слоновой кости; густые брови нависали над подвижными глазами цвета морской воды. Нежный румянец покрывал его лицо, подобный тому, что алеет на бледных задумчивых лицах, запечатленных испанскими портретистами Мурильо и Веласкесом. У него был рот оратора, толстые чувственные губы, добродушный и круглый подбородок; но нос, стержень лица, демонстрирующий силу воли, – слабо очерченный, маленький, незаметный – как и то, чего он достиг в жизни. Как будто взирающий с высоты гений лица Кольриджа бросил его (наградив недюжинными способностями и огромным честолюбием) в таинственный мир мысли и фантазии, лишив поддержки и руководства его нестойкую волю. ...Волосы Кольриджа (теперь, увы, седые) были тогда черными и блестящими, как вороново крыло, спадая на лоб мягкими прядями. Такие длинные, разметавшиеся пряди обычно бывают у людей восторженных, чьи мысли стремятся ввысь».

28. Ньюгэтский Календарь, или Кровавый Список Злодеяний, первый выпуск которого вышел в 1774 году, содержал рассказы о наиболее знаменитых преступлениях 1700—1774 годов. Второй выпуск был в 1826 году.

29. Рихтер, Жан-Поль (Иоганн Пауль, 1763—1825) – наиболее знаменитый немецкий поэт-романтик. Новалис (Фридрих фон Гарденберг, 1772—1801) – представитель немецкого романтизма в прозе.

30. «...ни околдованная Титания, ни пьяный Калибан...» – герои пьесы В. Шекспира: королева фей Титания из комедии «Сон в летнюю ночь», околдованная волшебным соком цветка, влюбляется в Ткача-Основу; дикарь Калибан из драмы «Буря» поклоняется напоившему его шуту Стефано.

31. «...для них Франция оставалась врагом Англии...» – в войне с Наполеоном, которая закончилась лишь в 1815 году Парижским миром. Старики Карлейли, очевидно, по-прежнему относились к Франции с боязнью и враждебностью.

32. «Эдинбургское обозрение», основанное Джеффри в 1802 году и просуществовавшее до 1829 года, было первым и наиболее влиятельным журналом типа литературного обозрения. В свое время Байрон подверг сатирическому осмеянию «шотландских обозревателей» за консерватизм. Читателем «Эдинбургского обозрения» был А. С. Пушкин.

33. «...те самые „Ambrosianae Nodes“...» – в журнале «Блэквуд» в 1822—1835 годах печаталась серия статей на самые разнообразные темы – литературные и политические, – в свободной, блестящей и остроумной манере, немало способствовавшие успеху журнала. Всего в серию вошла 71 статья, из них 41 написал Джон Уилсон (1785—1854) под псевдонимом Кристофер Норт, автор «Города чумы», послужившего Пушкину источником для «Пира во время чумы».

34. Каупер, Вильям (1731—1800) – известный английский поэт, переводчик Гомера.

35. Бентамизм – учение Джереми Бентама (1748—1832), развивающее этическую теорию пользы (польза как наибольшее счастье для наибольшего числа людей лежит, по его мнению, в основе морали). Часто синонимично утилитаризму. Карлейль осуждал бентамизм как апологию буржуазности, приводящую, по сути, к еще большему угнетению народа: «...Бентамовский Радикализм, евангелие „просвещенного эгоизма“ – вымирает или вырождается в хартию о пяти пунктах, среди слез и воплей людских; на что же теперь надеяться или что теперь пробовать?» И далее: «Вы исчезнете в вихрях огня, вы и ваш Маммонизм, Дилетантизм, ваша философия с Мидасовыми ушами, ваши Аристократы-охотники! Такова Божья весть, дошедшая к нам еще раз в наши дни». («Прошлое и настоящее» в пер. Н. Горбова.)

Утилитаризм – учение, выросшее из бентамизма. В 1861 году вышло эссе Дж. Ст. Милля «Утилитаризм», в котором формулируется принцип внутреннего веления совести, помимо внешнего побуждения у Бентама. По Миллю, желание индивида быть в обществе является основным побуждением счастья и нравственности.

36. Хеманс, Фелиция (1793—1835) – английская поэтесса; Мур, Томас (1779—1852) – пользовавшийся большой популярностью ирландский поэт, музыкант, автор романов, биографий Шеридана и Байрона, истории Ирландии.

37. «...смерть Шлегеля...» – Фридрих Шлегель, писатель, теоретик немецкого романтизма, умер в 1829 году.

38. «...виги у власти... горящие скирды по всей южной и средней Англии...» – тяжелые экономические последствия войны с Францией,

несправедливые законы (законы о бедных, хлебные законы) вызвали в Англии волну беспорядков вплоть до реформ 1832 года.

39. Идею о Философии Одежды Карлейль почерпнул из памфлета великого английского писателя Джонатана Свифта (1667—1745) «Сказка – Бочка». Свифт писал: «Религиозная система почитателей этого божества (портного) была основана, по-видимому, на следующем: они принимали мир за огромное платье, которым все облечено; так, земля одета в воздух, воздух – в звезды, а звезды одеты в начало всех начал. Взгляните на земной шар: вы видите на нем полный, приличный костюм. Что такое земля? Прекрасный модный пиджак с зелеными обшлагами. Что такое море? Не что иное, как жилет из жидкой тафты. Обратите ваши взоры на все частности творения: перед вами природа, как искусный портной, наряжает цветы; вы видите, какие изящные парики украшают верхушки деревьев, какой прекрасный корсет из белого атласа надет на березе. Да и сам человек является здесь истинным микрокосмом – он микронаряд, или, еще вернее, полный костюм со всеми принадлежностями. В телесном отношении это так очевидно, что не требует доказательств; но и душевные качества при ближайшем рассмотрении оказываются не чем иным, как разными частями одежды».

40. Стерн, Лоренс (1713—1768) – английский писатель, ирландец по происхождению, своими романами «Тристрам Шенди» и «Сентиментальное путешествие» положил начало интеллектуально-психологической прозе. В его романах сюжет не играет почти никакой роли, автор следит за причудливой игрой мысли своих героев. За умение «умно болтать» Стерна высоко ценил Л. И. Толстой.

41. «...как Вордсворт и Кольридж покончили с классицистическим штампом в поэзии...» – искания в области языка в творчестве этих поэтов означали поворот в сторону народности, за что их высоко ценил Пушкин. Он писал в статье «О поэтическом слог» (Полн. собр. соч. в 10 тт., т. 7, с. 57—58) : «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. ...так ныне Wordsworth, Coleridge увлекли за собою мнения многих... Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина».

42. Диккенс в предисловии к «Повести о двух юродах» прямо говорит, что обязан «философии замечательной книги господина Карлейля» – «Истории Французской революции» (1837). Из этой книги Диккенс взял не

только фактический материал, но и идею возмездия правящим классам за их деспотизм и насилие.

Мередит, Джордж (1828—1909) – основоположник психологического анализа в английской литературе, именно этим обязан Карлейлю.

Браунинг, Роберт (1812—1889) – выдающийся английский поэт, положивший начало интеллектуальной поэзии, воспринял от Карлейля приемы психологического анализа.

Рескин, Джон (1819—1900) – литератор, крупнейший из последователей Карлейля, сам оказал большое влияние на искусство (книга «Современные художники», вышедшая с 1843 года) и архитектуру. Карлейля и Рескина высоко ценил Л. Толстой как критиков буржуазной цивилизации.

43. Лонгман и Меррей – старинные лондонские издательские фирмы. В особенности последняя: Джон Меррей – имя пяти поколений английских издателей. Карлейль обратился ко второму из них – Джону Меррею – «королю книгоиздателей» (1778—1843), у которого также печатались сочинения Байрона.

44. Годвин, Вильям (1756—1836) – философ-анархист, автор трактата «Социальная справедливость», один из самых значительных английских радикальных мыслителей рубежа XVIII—XIX вв.; автор романа «История Калеба Вильямса, или Вещи как они есть», основоположник социально-политического романа в английской литературе. Годвин был фигурой, притягательной для целого круга английских писателей (Байрон, Шелли и др.).

45. Эджворт, Мария (1767—1849) – ирландская писательница-романистка, впервые в английской литературе уделившая внимание провинциальной жизни и обычаям и в этом смысле положившая начало целому литературному течению, в том числе и романам В. Скотта о Шотландии. Сам Вальтер Скотт писал в предисловии к «Ваверлею», что именно Мария Эджворт подала ему мысль сделать в отношении Шотландии то, что она сделала по отношению к Ирландии. Писательница также первой сосредоточила внимание на крестьянской жизни. Ее романы занимательны, несмотря на некоторый дидактизм, и пользовались большой популярностью.

46. Каннингэм, Аллан (1784—1842) – шотландский поэт и прозаик, автор «Песен Шотландии, старинных и современных» и других сборников.

47. Хлебные законы были введены в 1815 году для ограждения английских помещиков от импорта иностранного зерна, поэтому хлеб в Англии был значительно дороже, чем в других странах. Обенезер Эллиот,

автор «Стихов о хлебных законах», был основателем «Лиги борьбы против хлебных законов».

48. Унитарий – приверженец доктрины о едином боге, в отличие от триединого бога (отца, сына, святого духа). Существенным отличием этого течения в христианстве был меньший догматизм и более свободный подход к религиозной догме на основе рационализма.

49. Лэндор, Вальтер Сэвидж (1775—1864) – английский поэт и драматург, друг Р. Саути.

50. «a ira» – революционная песня, которую пели в Париже в 1789 году.

51. «...мученики из Толпадла...» – так называли шестерых английских рабочих, осужденных в марте 1834 года на семь лет каторги за попытку организовать тред-юнион в местечке Толпадл в графстве Дорсетшир.

52. «...словно безутешная Пери у врат Рая...» – поэма Томаса Мура (см. комм. 36) «Рай и Пери» рассказывает, что Пери, чтобы попасть в Рай, должна была найти для него достойный дар. Первые два дара отвергнуты, но третий – слеза преступника, выкатившаяся у него при виде его молящегося ребенка, – открывает перед Пери врата Рая.

53. Луи-Филипп Орлеанский Эгалитэ (1747– 1793) – проповедовал либеральные идеи, в июне 1789 года во главе сорока семи аристократов, порвавших со своим классом, примкнул к третьему сословию. Был депутатом от Парижа в Конвенте, голосовал за смерть королю, но сам погиб на гильотине по подозрению в роялизме.

54. «...рыдать, подобно Ксерксу...» – Ксеркс I, царь Персии, во время своего завоевательного похода против Греции в 480 году до н. э. стал свидетелем гибели собственного флота в битве при Саламине. В трагедии Эсхилла «Персы», повторяющей этот сюжет, Ксеркс рыдает над своей потерей.

55. Макреди, Вильям Чарльз (1793—1873) – выдающийся английский актер, особенно знаменитый своим исполнением шекспировских ролей. Ближайший друг Диккенса, Макреди убедил его выступить с чтением собственных произведений.

56. Галлам, Генри (1777—1859), – английский историк, автор трудов «Взгляд на состояние Европы в средние века» (1818), «Введение в литературу Англии XV—XVII вв.» (1837—1839).

57. Роджерс, Сэмюэль (1763—1855) – английский поэт, в основном, однако, прославившийся остроумными, колкими высказываниями по разным поводам.

58. Маколей, Томас (1800—1859) – английский эссеист и историк, сотрудничал в «Эдинбургском обозрении».

59. «Зигфрид, могучий кузнец...» – герой древнегерманского эпоса. Зигфрид выковал свой богатырский меч Нотунг из обломков меча своего отца.

60. Эмерсон, Ральф Уолдо (1803—1882) был знаменитым поэтом и выдающимся философом Америки своего времени, представителем идеалистического направления «трансцендентализма» (вера в высшие духовные ценности). Эмерсон печатался в органе американских трансценденталистов журнале «Циферблат», который редактировала Маргарет Фуллер, также приезжавшая к Карлейлю. Позднее Эмерсон сменил ее на посту редактора «Циферблата».

61. Уголино – повелитель Пизы, в 1288 году был за деспотизм заключен вместе с двумя сыновьями и внуками в башню, где томился голодом. Историю Уголино рассказывает Данте в своем «Аду».

62. Пиль, Роберт – неоднократно (1842, 1844) вносил изменения и ограничения в хлебные законы; после неурожая картофеля в Ирландии добился полной отмены пошлины на зерно в 1848 году.

63. Кромвель, Генри (1628—1674) – сын Оливера Кромвеля, лидера английской революции и Реформации, унаследовал пост отца как главы республики, но не сумел удержать власть.

Проблема гибели республики и роль в этом Генри Кромвеля спорна до сих пор.

64. Клаф, Артур Хью (1819—1861) – второстепенный, но «умный поэт», как называет его писатель Грэм Грин. Упомянутое далее стихотворение Клафа «Не говори, что пользы нет в борьбе» стало во время второй мировой войны символом сопротивления англичан фашизму.

65. О'Коннор, Фергус (1794—1855) – один из вождей чартизма, первоначально единомышленник О'Коннела (см. комм. 79). С 1847 года член Палаты общин английского парламента, в 1848 году представлял парламенту петицию чартистов.

66. Вождь французской революции Максимилиан Робеспьер, сын провинциального адвоката, и сам начинал свою деятельность с адвокатской службы.

67. Бокль, Генри Томас (1821—1862) – английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии». Резкий тон Карлейля объясняется тем, что Бокль осуждал пуританизм, сторонником которого являлся Карлейль.

68. «...писем Джуниуса...» – цикл политических писем, опубликованных в 1769—1777 годах в одном из журналов, содержащий резкие выпады в адрес некоторых лордов и короля Георга III с позиций вигов. Анонимный автор писем неизвестен до сих пор.

69. Беме, Якоб (1575—1624) – немецкий теософ и мистик.

Блейк, Вильям (1757—1827) – английский поэт и художник. Писал на религиозные и мистические сюжеты.

70. «...в тунике Несса...» Кентавр Несс, раненный отравленной стрелой Геракла, задумал жестокую месть: он отдал свою тунику, пропитавшуюся ядом, жене Геракла, сказав, что с ее помощью можно вернуть себе неверного мужа. Когда Геракл изменил жене, она послала ему тунику, и он умер от яда.

71. Спенсер, Герберт (1820—1903) – английский философ-эволюционист, объяснявший с точки зрения эволюции генезис наук, природу социального прогресса и проч.

72. Прерафаэлиты – группа художников и поэтов, последователей Карлейля и Рескина, стремившаяся возродить средневековые (дорафаэловские) приемы искусства, выражая таким образом протест против буржуазного прогресса. Парадоксальный результат их попыток создать дешевое производство отмечал Ф. Энгельс: изготовленные кустарным способом предметы обихода, предназначавшиеся для простых людей, становились достоянием богатых коллекционеров прикладного искусства.

73. Промышленная выставка 1851 года, состоявшаяся в Лондоне в Хрустальном дворце, была первой крупной выставкой такого рода в Англии.

74. Хрустальный дворец – культурный центр и выставочный павильон из стекла и металла, построенный в 1851 году в Гайд-парке в Лондоне специально для выставки. Его архитектура вызвала много споров. В 1854 году он был перенесен на другое место, где и сгорел в 1936 году. Это тот самый Хрустальный дворец, который послужил Достоевскому символом буржуазности в «Братьях Карамазовых».

75. «если не сладостный, то хотя бы теплый свет гения...» – здесь перефразируются слова современника Карлейля, поэта Мэтью Арнольда (1822—1888), говорившего со ссылкой на Свифта, что подлинная культура – это «сладость и свет».

76. Фитцджеральд, Эдвард (1809—1883) – поэт, прославившийся переводом Омара Хайяма, сделавший его достоянием европейской культуры.

77. «Опыт о свободе» Милля, в сущности, развивал идеи Карлейля и оказал на современников столь же сильное воздействие, как произведения Карлейля. В частности, Герцен, находившийся в Лондоне в момент выхода книги, прочитал ее и был под сильным впечатлением от нее. Он писал в

статье «On liberty»: «...спасибо тем, которые после нас своим авторитетом утверждают сказанное нами и своим талантом ясно и мощно передают слабо выраженное нами».

78. Генри Джеймс-старший (1811—1882) – американский писатель и теолог, последователь шведского визионера Сведенборга. Отец писателя Генри Джеймса и психолога Вильяма Джеймса.

79. О'Коннел, Дэниэль (1775—1847) – ирландский политический деятель, основатель Ирландской национальной лиги, руководившейся ирландским католическим духовенством. Под давлением ее агитации английское правительство пошло в 1829 году на провозглашение эмансипации католиков. Будучи избранным в парламент, О'Коннел добивался расторжения унии между Англией и Ирландией. Выступая от имени ирландской земельной и городской буржуазии, О'Коннел пользовался широкой поддержкой мелкобуржуазных слоев и агитировал на массовых митингах по всей Ирландии. Мелкобуржуазный демократизм О'Коннела, очевидно, и вызывал ярость Карлейля.

80. Лоуэлл, Джеймс (1819—1891) – американский поэт, эссеист и дипломат.

81. Уистлер, Джеймс (1834—1903) – художник, американец по происхождению, но жил преимущественно в Англии. Был предтечей импрессионизма.

82. Пейн, Томас (1737—1809) – выдающийся публицист-просветитель, своими памфлетами «Здравый смысл», «Права человека» и «Век разума» вдохновил две буржуазные революции: Великую французскую буржуазную революцию и американскую войну за независимость.

83. Стивен, Лесли (1832—1904) – критик, организатор литературной жизни, основатель английского Словаря биографий.

84. В эпистолярном наследии И. С. Тургенева сохранилась короткая записка к Карлейлю, на английском языке:

«Бомонт-стрит, 16, Мэрилебон.

Суббота, 29-го апреля 71.

Любезнейший г-н Карлейль,

Будете ли вы дома (в воскресенье) в 9 ч. вечера? Если я не получу ответа, буду полагать, что вы дома, и буду иметь удовольствие навестить вас.

Совершенно преданный вам И. Тургенев».

(И. С. Тургенев. Собр. соч. и писем в 15-ти томах. Л., «Наука» Письма,

т. XIII, с. 215, No 6224 (2668 а.) Состоялась ли именно эта встреча, неизвестно.

85. Монумент – колонна, воздвигнутая в Лондоне вблизи Лондонского моста в память о пожаре 1666 года.

Taken: , 1

Основные даты жизни и творчества Т. Карлейля

1795, 4 декабря – В семье Джеймса Карлейля и Маргарет Эйткин родился сын Томас.

1805 – Начало учебы Томаса в Аннанской семинарии.

1810, ноябрь – Поступает в Эдинбургский университет.

1818, осень – Встреча с Маргарет Гордон.

1818, ноябрь – Карлейль переезжает жить в Эдинбург, оставив место учителя в Киркольди.

1821, май – Встреча с Джейн Бейли Уэлш.

1823—1824 – Выход в свет «Жизни Шиллера», первого опубликованного произведения Т. Карлейля.

1824 – Смерть Байрона.

1824, июнь – Карлейль с Буллерами переезжает в Лондон.

1826, 17 октября – Свадьба Джейн Уэлш и Томаса Карлейля.

1828, весна – Переезд в Крэггенпутток.

1831, август – Закончен «Сартор Резартус». Поездка в Лондон.

1832 – Смерть Гете. Смерть отца Карлейля.

1833 – Эмерсон в Крэггенпуттоке. «Сартор Резартус» начинает выходить в «Журнале Фразера».

1834, июнь – Переезд в Лондон, в дом No 5 по Чейн Роу.

1834, декабрь – Смерть Ирвинга.

1836 – Закончена «История Французской революции».

1839, март – Встреча с Гарриет Беринг.

1839, май – Представление в парламент первой петиции чартистов. Карлейль пишет «Чартизм».

– Прочитан курс лекций «Революция в современной Европе».

– Прочитан курс лекций о героях и героическом.

– Лекции о героях и героическом выходят из печати.

– Политические стачки и волнения рабочих.

– Написание «Прошлого и настоящего».

1845 – «Письма и речи Оливера Кромвеля с толкованием» выходят в свет.

1847 – Второй приезд Эмерсона.

– Путешествие по Ирландии.

– «Современные памфлеты».

лето – Германия.

декабрь – Смерть матери.

1857, май – Смерть Гарриет Беринг.

1858—1865 – Выход в свет «Истории Фридриха Великого».

1866, апрель – Т. Карлейль – ректор Эдинбургского университета.

Смерть Джейн.

1881, 4 февраля – Смерть Т. Карлейля.

1881 – Выход в свет «Воспоминаний».

Taken: , 1

Краткая библиография

Карлейль Т. Герои и героическое в истории. Публичные беседы Томаса Карлейля. Пер. с англ. В. И. Яковенко. Изд. Ф. Павленкова. Спб., 1891.

Карлейль Т. Исторические и критические опыты. М., 1878

Карлейль Т. Sartor Resartus. Жизнь и мысли герр Тейфельсдрекка. 3 т. Пер. с англ. Н. Горбова. М., 1831, 2-е изд. М., 1904.

Карлейль Т. Прежде и теперь. Пер. Н. Горбова. М., 1906.

Карлейль Т. Французская революция. П., 1907.

Works of Thomas Carlyle. Vol. 1—30, 1896—1905.

Letters of Thomas Carlyle. 1826—1836. Vol. 1—2. London—New York, 1888.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Томас Карлейль. «Современные памфлеты. No 1. Современная эпоха. No 2. Образцовые тюрьмы».— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7.

Ф. Энгельс. Положение Англии. Томас Карлейль. «Прошлое и настоящее». Там же, т. 1.

В. И. Ленин. Тетради по империализму. — Полн. собр. соч., т. 28, с. 497, 509.

История английской литературы, т. 2, вып. 2. М., 1955.

Кареев Н. И. Томас Карлейль. Его жизнь, его личность, его произведения, его идеи. Спб., 1923.

Неманов И. Н. Субъективистски-идеалистическая сущность воззрений Т. Карлейля на историю общества. — «Вопросы истории», 1956, No 4.

Яковенко В. И. Т. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность. Спб., 1891. (Жизнь замечательных людей, биографическая библиотека Ф. Павленкова, вып. 80).

Collis J. The Carlyles. London, 1971.

Clubbe J. ed. Carlyle and his Contemporaries. Durham, 1976.

Dyer I. W. A Bibliography of Thomas Carlyle's Writings. Portland, 1928.

Froude J. A. Thomas Carlyle. A History of the First Forty Years of His Life. 2 vol. Longmans, 1882.

Froude J. A. Thomas Carlyle. A History of His Life in London. 1834—1881. 2 vol., Longmans, 1884.

Garnell R. Life and Writings of Thomas Carlyle. London.

Gascoyne D. Thomas Carlyle. London — New York, 1952.

Larkin H. Carlyle and the Open Secret of His Life. New York, 1970.

- Lea F. A. Carlyle, *Prophet of To Day*. London, 1943.
Morrison N. B. *True Minds*. London, 1974.
Sanders C. R. *Carlyle's Friendships and Other Studies*. 1977.
Shepherd R. H. *Memoirs of the Life and Writings of Thomas Carlyle*. 2 vol.
Allen, 1881.
Wilson D. *The Life of Thomas Carlyle*. Vol. 1—6. New York, 1923—1931.
Young L. M. *Thomas Carlyle and the Art of History*. London, 1939.
-
-

notes

Примечания

Taken: n1, 1

1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 513.
Taken: n2, 1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. т. 1, с. 572.
Taken: n3, 1

«Laissez faire» – «предоставьте свободу действий» – формула буржуазных экономистов, сторонников свободной торговли и невмешательства государства в сферы экономических отношений.

Taken: n4, 1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 576, 584—585.
Taken: n5, 1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 583, 593—594.
Taken: n6, 1

6

Там же, с. 588.
Taken: n7, 1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 595—597.
Taken: n8, 1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 275—276.
Taken: n9, 1

Радаман – в древнегреческой мифологии сын Зевса и Европы, один из судей в мире мертвых.

Taken: n10, 1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 277—278.
Taken: n11, 1

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 589.
Taken: n12, 1

Там же, с. 595.
Taken: n13, 1

Цит. по: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 576—578.
Taken: n14, 1

14

Risum teneas – не смейся (латин.). – Примеч. коммент.
Taken: n15, 1

Disjecta membra – разрозненные обрывки (латин.). – Примеч. коммент.
Taken: n16, 1

Mauvaise honte – ложный стыд (франц.). – Примеч. коммент.
Taken: n17, 1

«A l'amista» – к дружбе (исп.) – Примеч. коммент.
Taken: n18, 1

Кабриолет по-английски – gig, отсюда и выдуманные Карлейлем слова «гигманизм», «гигманист». – Примеч.
Taken: n19, 1

Femme Incomprise – нецененной женщины (франц.). – Примеч.
КОММЕНТ.